

СТРАШНЫЙ ПАРИЖ

В.РУДИНСКИЙ

СТРАШНЫЙ ПАРИЖ



Москва
«Звонница — МГ»
1995

ББК 84 Р6
Р 83

Владимир Рудинский

Страшный Париж. Автор предисловия Н.Пальцев — М., Звонница—МГ, 1995.

ISBN 5-88093-016-5

Книга выходца из России, живущего во Франции Владимира Рудинского впервые была издана за границей и разошлась мгновенно.

Еще бы, ведь этот уникальный, написанный великолепным языком и на современном материале, «роман в новеллах» можно отнести одновременно к жанрам триллера и детектива, эзотерики и мистики, фантастики и современной «городской» прозы, а также к эротическому и любовному жанрам.

Подобная жанровая полифония в одной книге удалась автору, благодаря лихо «закрученному» сюжету. Эзотерические обряды и ритуалы, игра естественных и сверхъестественных сил, борьба добра и зла, постоянное пересечение героями границ реального мира, активная работа подсознания — вот общая концепция книги.

Герои новелл «Любовь мертвеца», «Дьявол в метро», «Одержимый», «Вампир», «Лицо кошмара», «Египетские чары» — автор, детектив Ле Генн и его помощник Элимберри, оказываясь в водовороте загадочных событий, своими поступками утверждают — Бог не оставляет человека в безнадежном одиночестве перед лицом сил зла и вершит свое высшее правосудие...

В тексте книги сохранена авторская орфография и пунктуация.

Р $\frac{4702011102000}{98А(03) - 95}$ Без объявл. **ББК 84 Р6**

ISBN 5-88093-016-5

ЦВЕТА ТУМАНА
или
НЕСКОЛЬКО СТРОК О «СТРАШНОМ ПАРИЖЕ» И ЕГО АВТОРЕ

Случайно на ноже карманном
Найди песчинку дальних стран —
И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман!

Александр Блок

Есть, думается, определенная закономерность в том, что книги, подобные этой, приходят к российскому читателю именно сейчас, когда в умах и сердцах по-настоящему мыслящей и чувствующей части нашей читательской и зрительской аудитории происходит неспешное, углубленное, сосредоточенное накопление культурно-эстетической информации. Происходит, действенно и убедительно споря с вызывающими проявлениями нового бескультурья в обществе, наконец-то отрешившемся от идеологического догматизма, наглядно свидетельствуя, что ни одно духовное семя, в те или иные времена заброшенное в искони плодородную, надо признать, на редкость плохо и небрежно возделываемую, российскую почву, не пропадает втуне.

И.Бунин и В.Набоков, Н.Гумилев и В.Ходасевич, Д.Мережковский и З.Гиппиус, П.Флоренский и Н.Бердяев, И.Ильин и Л.Шестов; эти гигантские фигуры и имена, возвращающиеся в наш культурный обиход после более чем полувековой «паузы», говорят сами за себя. А сколько еще других! Всего за одно десятилетие они составили толстый том библиографического справочника, сухие строки которого звучат для слуха каждого русского сладкогласной музыкой*.

Запоздало покаюсь в невольной своей вине: сложись обстоятельства чуть иначе, и справочник этот оказался

*«Литература русского зарубежья возвращается на родину». Выборочный указатель публикаций. 1986-1990. М., «Рудомино», 1993.

бы богаче еще на одно неординарное писательское имя. Это имя (точнее, литературный псевдоним) — Владимир Рудинский.

Мне не доводилось встречаться с ним лично, хотя волею случая и по инициативе моей доброй знакомой случилось обменяться с ним несколькими письмами. А начало нашему эпистолярному знакомству положила книга под интригующим названием, любезно присланная мне автором и лежащая ныне перед читателем. Первоначально она увидела свет два года назад за многие тысячи километров от невских берегов, где родился ее автор после октябрьского переворота, но до того, как великий град Петра стал градом Ленина.

Выходец из интеллигентной дворянской семьи, Владимир Рудинский с ранних лет обнаружил склонность к изучению иностранных языков. И скорее закономерностью, нежели случайностью, явилось то, что, с немалой пользой для себя проучившись несколько лет на филологическом факультете Ленинградского университета (где в числе его учителей были такие корифеи тогдашней академической науки, как В.Ф.Шишмарев и Г.А.Гуковский, С.С.Мокульский и А.А.Смирнов), он с блеском окончил его в канун Великой Отечественной войны, специализируясь по испанскому языку и литературе, готовился к кандидатской диссертации по творчеству Кальдерона... А потом оказался в числе многих тысяч граждан, в судьбы которых круто и необратимо вмешалась стихия грозной Истории.

Ее своевольная прихоть в год окончания второй мировой войны привела его в Париж, ставший затем на полвека постоянным прибежищем и средой обитания молодого русского филолога с неутолимым интересом к лингвистике и несомненными способностями к литературе и журналистике. В послевоенные годы, в поте лица зарабатывая на пропитание, он, можно сказать, на чистом энтузиазме окончил одно из престижнейших в Западной Европе высших учебных заведений — парижскую Школу Восточных Языков — и в дальнейшем посвятил себя труднейшей задаче: исследованию проблем австронезийс-

ких языков (или, проще, группы языков, на которых говорит население ряда стран Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского бассейна). Не мне судить о значимости внесенного ученым в науку индивидуального вклада; скажу лишь, что статьи его публиковались в лингвистических журналах, выходящих в разных странах и на разных языках. И можно лишь посетовать на то, что на творческий «вызов» своего парижского собрата не слишком спешат откликнуться отечественные языковеды. Увы, не первый и не последний случай в практике современной науки...

Впрочем, филологические штудии В.Рудинского никоим образом не ограничивались лингвистикой. Его блестящей эрудиции, широте его культурных интересов трудно не позавидовать. С неменьшим знанием дела, вкусом и интуицией писал он и о «кельтских мотивах в русской литературе» (так озаглавлена одна из интереснейших его статей), о многих ярких явлениях русской словесности в прошлом и настоящем. Последнее, впрочем, вплотную смыкает его как ученого с публицистом и прозаиком.

Перечень периодических изданий русского Зарубежья за сорок послевоенных лет, где появилось и продолжает появляться его имя, оказался бы слишком длинен для этих кратких заметок; достаточно сказать, что из уст наших соотечественников, в последние годы, спасибо перестройке и гласности, все чаще наезжающих в Москву и Санкт-Петербург, не раз доводилось слышать о нем как о строгом, взыскательном рецензенте с точным пером и не менее проницательном мемуаристе. Заинтересованное внимание русскоговорящей зарубежной аудитории привлекли к себе и от времени до времени появляющиеся на страницах периодики изящные новеллы-миниатюры В.Рудинского, по преимуществу романтико-психологического и фантастико-детективного свойства.

Из россыпи этих, создаваемых на протяжении долгого времени миниатюр, главным связующим звеном между которыми становятся образы двух персонажей-расследователей: инспектора Ле Генна из «Сюртэ Насиональ» и его помощника с экзотическим именем Элимберри — «двойников» бессмертных конан-дойлевских

Шерлока Холмса и доктора Ватсона, воскресших в облике эксцентричных бретонца и баска на почве французской столицы и провинции в середине нашего беспокойного столетия, — сложился «Страшный Париж»: исполненное таинственности, неожиданности и напряженного драматизма повествование, структурно тяготеющее к ставшей ныне едва ли не раритетом форме «романа в новеллах», которой, заметим в скобках, воздавали должное, в числе прочих, такие крупные мастера художественной прозы, как Шервуд Андерсон и Уильям Фолкнер.

Впрочем, если вглядеться поглубже в родословную этих постоянных героев книги, наделенных, как и ее автор, острым даром аналитической дедукции, недюжинной эрудицией и столь же ненасытимой потребностью разгадывать самые неразрешимые, казалось бы, загадки, распутывать безнадежно запутанные клубки обстоятельств, то окажется, что Владимиру Рудинскому — литератору, герою-повествователю и даже активному участнику некоторых прелюбопытных «казусов» из области естественного и сверхъестественного (да, да; в ряде новелл «Страшного Парижа» он, «не таясь», выступает под собственным именем — и только нам с вами, дорогой читатель, ведомо, что это — литературный псевдоним нашего, не вовсе чуждого безобидного лукавства, современника) — несравненно ближе, нежели Конан Дойл и даже менее отстоящий от нас во времени «создатель» комиссара Мегрэ Жорж Сименон, художники принципиально иной образно-мировоззренческой ориентации. Это — творцы романтической и постромантической готики: Эдгар По, Проспер Мериме, Вилье де Лиль-Адан, Шеридан Ле Фаню, Брэм Стокер, Хауэрд Филипс Лавкрафт...

Ряд можно продолжить (он явно будет неполон без позднего Ги де Мопассана, а из русских — мастера изысканных, с налетом метафизической мистики, историй И.С.Тургенева). Дело, однако, не в именах, не в источниках художественных влияний, определивших писательскую манеру Владимира Рудинского: «литературная» лишь в той мере, в какой это обусловлено авторским замыслом, она при всей своей «игровой», рассчитанной прежде всего на

образованного, знающего цену писательскому слову читателя, природе совершенно самостоятельна и в чем-то неотразимо привлекательна.

В чем секрет этой привлекательности? В языке? В фабульной изобретательности? В «самоигральности» романного материала — всегда эффектного, экзотического, подчас пугающе инфернального? Или в том, что лежит по ту сторону сюжета, — своего рода жизненной установке автора?

В первую очередь в глаза бросается (мне, по крайней мере), конечно, язык романа: лаконичный, безупречно выверенный, отмеченный благородной сдержанностью (в котором, замечу, сам автор, судя по его письмам, не склонен усматривать ничего экстраординарного; но нам ли, москвичам и петербуржцам завершающегося десятилетия XX века, нам ли, обитающим в повседневной атмосфере какого-то варварского псевдокосмополитического арго, не оценить по достоинству всю его ароматность, его беспримесную чистоту, ненарушенность его экологии? Так радуешься свежему глотку родниковой — не из водопровода — воды). И все же язык — сколь угодно значимая, но оболочка чего-то другого, более важного.

Тогда, может быть, причиной — прелесть живой литературной игры, азарт угадывания «двойников» и «прототипов»? Безусловно, но лишь отчасти. Культурное поле навеиваемых теми или иными новеллами В.Рудинского ассоциаций — фольклорных, поэтических, живописных, кинематографических — и впрямь необозримо: вчитываешься, скажем, в «Руки из пустоты», «Лицо кошмара», «Наваждение», «Египетские чары», и в памяти возникают полотна Фюзели и фантазии Калло, офорты Домье и Гойи, и Дали с Бунюэлем, и Роберт Вине с «Кабинетом доктора Калигари»... Очаровываясь энциклопедической эрудицией автора, заражаясь вечно снедающим его интересом к эзотерическим обрядам и верованиям представителей разных культур и цивилизаций, не замечаешь, как, не отрываясь от книжной страницы, оказался пассажиром в захватывающем плаванье по разным этническим и историческим «рукавам» и «притокам» единой общечеловеческой Культуры —

культуры, не признающей расовых, религиозных или идеологических предпочтений, культуры, которой в принципе противопоказаны любые проявления национальной розни, шовинизма, тоталитаризма.

В этом пиршестве культуры, в кажущейся неконтролируемой игре естественных и сверхъестественных сил есть, однако, своя логика — логика страстного неприятия мирового Зла, тирании, произвола. Права, думается, известная представительница общественной мысли русского Зарубежья Д.Штурман, предостерегающая от поверхностного отождествления прозы В.Рудинского с нередкими ныне на Западе (а в самое последнее время и у нас) образцами «черной» погружающей читателя в пучину безверия фантастики и детектива.

«У Рудинского, — пишет она в предисловии к первому, зарубежному, изданию «Страшного Парижа», — альтернатива всегда есть: Бог не оставляет человека в безнадежном одиночестве перед лицом Дьявола». И, думается, не случайно, когда накопление отрицательной информации по эту сторону бытия достигает критической точки, в ход событий вмешивается «потустороннее» правосудие («Волшебный абажур»).

Впрочем, пытаться трактовать авторский замысел — занятие достаточно рискованное. А пытаться давать читателю «ценные указания» — дело и вовсе зряшное (и, слава Богу, нынче уходящее в область преодоленного — точнее, не без труда преодолеваемого нами, критиками, — прошлого). И все-таки, завершая эти беглые заметки, рискну поделиться своей — чисто субъективной, разумеется, — уверенностью. Перед вами — очень хорошо написанная книга.

И надеюсь — не последняя с именем этого автора на обложке. Уже созданного и еще не опубликованного Владимиром Рудинским (в том числе и в готико-фантастическо-детективном жанре), поверьте моему слову, достанет на несколько томов.

НИКОЛАЙ ПАЛЬЦЕВ

КОЛДУНЬЯ

Princezna Teréza má též taujuplnou onu moc — duše její mne navštivila
Julius Zeyer. «Teréza Manfredi»*

Париж — страшный город; и вовсе не тем адом апашей и проституток, о котором столько писали и пишут и будут писать люди, видящие только поверхность вещей. Есть иное: есть множество точек и целых кругов, соприкасающихся с настоящим, единственно реальным адом и перебрасывающим его влияние в земной мир. Сатанизм, бесконечное множество самых страшных и зловещих сект; отдельные люди и группы людей, знающих чудовищные тайны, живут здесь среди интеллигентов, аристократов и миллионеров, среди рабочих и бедняков.

Изредка, на научной лекции о черной магии, — на какую вы можете иногда попасть, заинтересовавшись названием вроде «Французский фольклор раннего средневековья» или «Религиозные обряды туземцев Мадагаскара» — перед вами вдруг приподнимается занавес... и вы смотрите во мглу... Хорошо, если спасительный испуг подскажет вам бежать без оглядки: у вас останется только на всю жизнь жуткое, отчасти приятное воспоминание и, может быть, сожаление, возвращающееся периодически в форме вопроса: — А что если бы я тогда?..

Но если вас охватит другое чувство, жгучее и пронзительное любопытство, влекущее так, как притягивает к себе пропасть, когда вы в нее смотрите с мостика без перил, вы всегда найдете подле своего локтя

* Княжна Тереза тоже обладает этой таинственной силой : ее душа меня посетила. Юлий Зейгер. «Тереза Манфреди». (*Здесь и далее прим. автора*)

человека... иногда любезного старичка или блестяще воспитанную пожилую даму, иногда очаровательную девушку... но во всяком случае такого человека, кто с величайшей радостью вступит с вами в разговор, завяжет знакомство и подтолкнет вас на путь, в конце которого вы лишь позже, много позже, когда у вас не будет силы ни вернуться вспять, ни остановиться, различите две кошмарно-грандиозные фигуры: смерть и безумие...

Париж служит центром не только для научных конференций по физике и химии; есть другие неудобопознаваемые науки, раскидывающие свою сеть по узеньким улочкам вдоль берегов Сены, по шумному Латинскому кварталу и по широким, залитым неживым электрическим сиянием бульварам. Здесь, случайно и неожиданно, вы можете услышать подробный и ясный, но чаще всего полный недоговоренностей рассказ о негритянских культурах в Центральной Африке, о приемах черных колдунов Бразилии, об удивительных обычаях инков в неприступных горных районах Перу... или о волшебных процедурах малайцев на острове Бали... и можете попасть по ошибке в магазин или ресторан, где на вас странно посмотрят, зададут несколько настойчивых вопросов, словно в ожидании условного ответа... и выпроводят вас деликатно и вежливо прежде, чем вы догадаетесь, что происходит в комнатах в глубине.

Здесь, остановившись перед витриной книжной лаки, вы можете остолбенеть при виде своеобразного подбора книг, трактующих исключительно об оккультизме, гипнозе, кровавых жертвоприношениях и ритуальных убийствах, о демонологии и о самых страшных извращениях человеческих страстей и человеческой мысли... войдите вовнутрь, если хотите (но мой совет: не входите никогда, если вы цените земное существование и спасение вашей души); заговорите с продавцом... он будет с вами внимателен и приветлив; если угадает в вас новичка, даст вам то, что вас может заинтересовать; если вы знаток, найдет вам редкое сочинение, которое вы давно ищете; непринужденно заведет с вами разговор о ваших интересах, предложит зайти еще... и, может быть, вы в конце концов увидите

перед собою, в погребе при магазине, или наверху в квартире хозяина, «Некрономикон» Абдула Аль Хазреда или «Unaussprechliche Kulte»* фон Юнтца, книги, которые, по секретному циркуляру, в национальных библиотеках европейских держав и Соединенных Штатов держатся в сейфах и показываются читателям лишь по специальному разрешению. Тот, кто их прочел (до конца их прочесть, впрочем, не у многих хватает мужества), смотрит на мир иными глазами, чем прежде...

Можете вы столкнуться с этим миром и иначе... страшное убийство, загадочное исчезновение молодой девушки или ребенка могут вас привести в контакт с полицией, и вы можете среди ее служащих с изумлением обнаружить людей с совсем особым взглядом на физические законы мира, выработанным долгими годами опыта, знающих, что убийство может быть совершено безо всякого оружия, одним усилием воли, что не всегда герметически закрытые окна и двери представляют препятствие для врага, что сумасшествие и убийство есть часто результат некоторых таинственных манипуляций самой жертвы или иных лиц, знающих, кому и для чего нужны бывают человеческая кровь и человеческие органы; можете узнать, что есть преступления, о которых почти ничего не говорится в печати (или то, что говорится, не имеет ни малейшего отношения к действительности), хотя против виноватых принимаются решительные и нередко эффективные меры.

И, наконец, ваш доктор или ваш священник знает иногда гораздо больше о потустороннем мире и его связях с нашим здешним бытием, чем вы способны предположить; только ни тот, ни другой вам этого в нормальных условиях не расскажут, храня свой профессиональный долг, и понимая, с одной стороны, какую роковую травму может оставить в вашем сознании не в меру откровенный рассказ об опасностях, ежечасно грозящих нашему психическому и физическому здоровью, а с другой, «что есть вещи, о которых и знать не должно доброму христианину».

---

* «Несказуемые культы»

Я никогда не стремился соприкоснуться с этим подземным слоем столицы мира; но судьба меня с ним упорно сталкивала. Занятие языками и отчасти культурой востока приводили меня к изучению вопроса о языческих религиях... в фолиантах этнографов и старинных рукописях, интересовавших меня в чисто лингвистическом отношении, я то и дело встречал то откровенные, иногда отвратительные описания ритуалов и воззрений той или иной древней и загадочной расы, то добросовестно записанную формулу заклинания, где половина обычно непонятна, а от вразумительной части чувствуешь, как шевелятся корни волос. Странным образом, после них многие аналогии в европейских суевериях и приметах сделались мне ясны, и некоторые места в наших русских и западных писателях и поэтах получили для меня неизвестный раньше смысл.

Молодой малаец, которому я перевел однажды «Песнь торжествующей любви» Тургенева, со знанием дела пояснил мне кое-что из описанных там кудеснических операций... и никак не хотел поверить, что Тургенев никогда в жизни не посещал Явы; но на некоторые мои вопросы он не захотел ответить, и в его узких умных глазах мелькнуло что-то, отчего я не решился настаивать.

В южно-американском фильме я был поражен, когда передо мною на экране промчались страшные видения амфитеатровского «Жар-Цвета», и о них же мне напомнили отрывки из древнейших абиссинских хроник в одном труде по истории Эфиопии. А «Семейство вурдалаков» я не раз имел случай вспомнить; не говоря о том, что мои приятели-сербы рассказывали мне, как очевидцы, я слышал странные отклики с другого конца мира — по всему индонезийскому архипелагу pontianak и pelesit, не менее лакомые до крови, чем их балканские собратья, создают сходные ситуации, не раз поражавшие испанцев на Филиппинах, англичан на Борнео, голландцев на Суматре...

Мне случалось с удивлением убедиться в том, что о шаманах северной Сибири, якутских и особенно

чукотских, существует целая литература, что о них советский профессор Тан-Богораз, бывший политический ссыльный, дает совершенно нематериалистические подробности в своих описаниях быта палеоазиатских народностей, и что их ничем не объяснимые с естественной точки зрения чародейские опыты простираются в одну сторону до Гималаев и полинезийских вулканов, в другую — до Юкатана и Анд. Русский художник, изъездивший глубины Монголии, рассказал мне о том, что видел...

Читатель может найти нечто сходное в книгах польского путешественника Фердинанда Оссендовского... и некоторые отрывки из Всеволода Соловьева и даже Крыжановской, всегда казавшиеся мне неудержимым фантазированием, вдруг представились моим глазам как бледные и беспомощные попытки переложить на бумагу неподдающуюся описанию реальность.

Но с потусторонним миром я встретился не через посредство кого-либо из моих восточных знакомых. Они вообще не склонны рассказывать свои секреты белым людям, ни тем, которых, как почти без исключения всех западноевропейцев, они ненавидят, ни еще более тем, кого им случается полюбить — в отношении русских это с ними как раз нередко бывает. В последнем случае они молчат потому, что не знают, как на нас может подействовать посвящение, и не станет ли оно для нас трагичным. Вековая мудрость подсказывает им, что перед лицом таинственного человек со светлой кожей бессилен куда хуже, чем островитяне Тихого океана оказались перед гриппом, косившим насмерть целые деревни, и перед водкой, истреблявшей племена более жестоко, чем кровопролитные войны.

Черная или золотистая кожа — гарантия не только от солнечного удара и лихорадки; она защищает и от иного рода лучей и микробов. Почему? Более старая культура? Близость к природе? — Пусть это решают специалисты.

Но, между прочим, европейцы ли русские? И где вообще начинается психологически Европа? — На запад

от Балкан? — На восток или на запад от Финляндии, жителей которой по всему миру, верно, не без основания считают за опасных колдунов?

В сферу ведовства я вступил самым банальным и светским образом.

Мои соседи, муж и жена, милые и простые люди из новой эмиграции, стали меня как-то уговаривать пойти вместе с ними в гости к их знакомым, которым брались меня представить. Через полчаса я сидел напротив прелестной девушки, которую, если не считать красоты, отличали от любой другой только глаза... бездонные, как темный омут, с мягким и в то же время пугающим мерцанием в глубине; я никогда не испытывал такого необычного колебания, как в этот раз; мне хотелось в них смотреть без конца, и в то же время я не мог задержаться на них дольше мгновения, и мой взор опускался, как от удара палкой. В борьбе с противоречивыми и непонятными эмоциями, я почти не участвовал в разговоре между моими друзьями и хозяевами — девушкой (назовем ее Лидия Сергеевна) и ее матерью. А беседа была интересная. Она вертелась вокруг всего страшного, до которого мой приятель Энвер (к слову сказать, крымский татарин) и его жена были большие охотники, что они откровенно проявляли с наивным очарованием почти детской непосредственности. Лидия Сергеевна и ее мама не заставляли себя просить и рассказывали одну загадочную историю за другой — то, что с ними самими случалось, или о чем они слышали вообще; все было просто, так что понял бы и ребенок; но я время от времени настораживался от намека гораздо более глубокого и значительного, чем общий тон разговора. Что хозяйки (между прочим, носившие старинную дворянскую фамилию) были хорошо образованные и воспитанные женщины, я оценил сразу; но знание всего связанного с оккультизмом, пробивавшееся в их словах, меня все более удивляло.

— Погадайте нам, Лида! — вдруг экспансивно воскликнула Валя, моя соседка. — Я знаю, вас трудно уговорить... Ну, не нам, так новому гостю! Пожалуйста! А то он нам не поверит, что вы так все угадываете: пусть сам увидит...

Меня не очень привлекала такая перспектива, но темные глаза уже остановились на мне, и перед улыбкой, скользившей по тонким губам, мне было бы стыдно отступить и проявить свое беспокойство.

— Мне не интересно будущее, — бросил я, с некоторым вызовом. — Да лучше его и не знать... Но если хотите показать свою силу, скажите, где сейчас мои мысли.

Она легким движением руки переставила с соседней этажерки на стол маленький стеклянный шарик.

— Ваши мысли не так далеко отсюда... Я не вижу названия улицы, слишком темно, и я ее не узнаю... но вам надо сперва подняться по крутой лестнице... света нет... Потом коридор... как будто третий этаж? За столом сидит девушка...почти ребенок... белокурая головка, вьющиеся волосы с бронзовым отливом... Она смеется и болтает, говорит что-то о картинке, которую нарисовала... вон в углу ящик для красок, и он почему-то связан с вами... с ней за столом женщина, несколько похожая на нее, и мужчина... ему лет сорок, ей немного меньше... все пьют чай...

Меня так и обожгло. Этот образ, такой для меня бесконечно милый, все время был со мною... и сейчас, услышав о ней, у меня от нежности слезы выступили на глаза... но кто мог об этом знать? Люди, которых я впервые встретил? Даже соседям, как будто, ничего не было известно, хотя я прочел сейчас в глазах у Вали рождающееся подозрение. И, наконец, кто мог проведать о ящике для красок, одном из немногих подарков, который от меня согласились принять?

Необходимо было перевести разговор. Я с лихорадочной поспешностью, довольно некстати завел речь о какой-то книге, где есть сходное положение, стал рассказывать сюжет (никакой такой книги я не читал и наспех придумал ее содержание, что обмануло Валю и Энвера, но вряд ли хозяек), потом стал говорить о литературе вообще и в заключение попросил мне одолжить какой-нибудь роман, в то же время поднимаясь со стула, чтобы предотвратить дальнейшую беседу.

Взяв из рук Лидии Сергеевны протянутую мне книгу, от смущения даже не взглянув на нее, я сунул ее в карман и вместе с соседями отправился домой. Мы шли пешком — путь был недалекий, — и я всю дорогу шутил и смеялся, стараясь избежать расспросов о гадании, которые меня мало устроили бы.

Стояла теплая, даже жаркая летняя ночь, напоминающая мне чем-то белые ночи родного Петербурга... Был июль, когда в Париже даже и днем город пуст и тих, как могила... Мы засиделись в гостях, как водится у русских; была полночь, когда мы входили в наш отель. Моя комната находилась на нижнем этаже и выходила прямо во двор. Я мимоходом посмотрел на данную мне книгу: ни название, ни имя автора мне ничего не сказали — Lovecraft, «Supernatural Stories»* — бросил ее на стол, и, быстро раздевшись, свалился на кровать и заснул.

Проснулся я, не знаю через сколько времени, в самую глухую ночь, от чувства нестерпимого ужаса, какого не испытывал никогда в жизни, тем более гнетущего, что я совершенно не понимал его причин. Мне стоило большого напряжения пошевелиться; я почувствовал, что весь лоб у меня покрыт холодным потом, что сердце мучительно сжимается... вся комната была полна ужасом, словно вязкой, медленно движущейся массой. И я ощущал, что его волны идут от стола... от стола, где я вчера положил книгу... Какие-то слова молитвы пришли мне в голову и придали сил; я вскочил с постели и распахнул окно; теплый, но освежающий воздух, войдя в комнату, рассеял кошмар... там, через двор, рядом, за стеной спали люди, я не был одинок; на стене висела маленькая икона Серафима Саровского... Таков был мгновенный, нерасчленимый поток мыслей в моем мозгу, и через минуту мне стало совершенно непостижимо, чего я, собственно, испугался... мне было бы даже смешно, если бы память о пережитом чувстве не пряталась где-то в подсознательном, еще посылая по нервам последние всплески леденящей дрожи.

* «Рассказы о сверхъестественном».

Еще более нелепым мне все это показалось утром, при ярком солнце. Но когда я прочел рассказы Ловкрафта, я отчасти понял, что они могли наводить трепет. Миф о Ктульху, который спит на дне моря и общается с людьми через сны, когда ему удается поймать достаточно чуткую душу, и жуткие требования, предъявляемые им сновидцу... повесть о мышах в стене аббатства, где в подвалах веками совершалось нечистое служение матери богов Кивеле... о страшных жителях подземных пещер Новой Англии... о пришельцах с далеких холодных звезд... о Камоге, переносившем душу из живого тела в полуразложившийся труп...

С благодарностью вернув Лидии Сергеевне книгу, я попросил еще что-нибудь и стал в ее доме частым гостем. Запас страшных рассказов и романов был у нее, казалось, неисчерпаем. Большинство было куплено ею в Нью-Йорке, где она недавно провела год; она мимоходом обронила о своих знакомствах там среди негров, чутко откликающихся на наше славянское безразличие к цвету кожи, в числе которых она нашла много преданных друзей. Все то, что я читал прежде в этом жанре, в области художественной литературы, побледнело перед концентрированным мраком, сгущенным на страницах этих книг. Брэм Стокер, Шеридан Ле Фаню, Редиард Киплинг, Артур Махен... кое-кто из французов, Клод Фаррер, Жан-Луи Букэ... испанцы Рамон дель Валье Инклан и Густаво Адольфо Бекер, перуанец Вентура Гарсия Кальдерон...

Меня принимали любезно и мило; Лидия Сергеевна была очаровательная собеседница, но, как ни нелепо, мне бывало внутренне жутко оставаться с ней наедине. Я чувствовал, что если бы, например, погас свет, я был бы способен вскрикнуть от ужаса... И это после войны, где я принимал участие без особенной трусости и видел не только фронт, не только рушащиеся дома и охваченные пламенем кварталы Берлина и улицы Царского Села, месяцы и месяцы непрерывно лежащие под обстрелом советской тяжелой артиллерии, где вся мелодия дней и ночей была свист и разрывы, но и поля,

полные трупов, через которые можно было идти бесконечные часы, видя все ту же картину... И то сказать, тут было чувство опасности совсем иного рода: нездешней, нематериальной.

Лидия Сергеевна, прекрасно говорившая по-английски и по-французски, владела в отличие от этого испанским языком довольно слабо; она могла понимать смысл средней трудности текста, но не ладила ни с произношением, ни с грамматикой. Здесь у меня было преимущество: я когда-то — Господи, как давно! странно оглядываться на то, что было до войны, — специализировался в ленинградском университете по кафедре романских языков с уклоном на испанскую литературу, служил во время войны переводчиком при испанской Голубой Дивизии, и объяснялся на языке Сервантеса довольно бегло. Мы начали немного заниматься с Лидией Сергеевной, но на первом же уроке она через некоторое время отложила книжку и задумалась.

— Знаете — сказала вдруг она, — у меня иногда душа может оставить тело и улететь... Я будто сплю, но на самом деле я в другом месте. Есть один человек в Швейцарии, и он имеет власть надо мной. Когда он зовет, я не могу не последовать его зову... вот он и сейчас ждет меня... но я смогу придти только ночью...

Мне было не по себе. Сказать, что все это бред, было бы определенно невежливо... и, надо признаться, я сказал бы это без большой уверенности. Глаза, взор которых я так и не научился переносить, снова смотрели на меня, и в них играла легкая насмешка.

— Когда я возвращаюсь, я могу посетить любое место; я тогда свободна... Хотите, я приду к вам?

Мне, правду сказать, совсем не хотелось. Но я постарался рассмеяться и сказал:

— Мне будет очень приятно, без сомнения. Но, может быть, вернемся к тексту? Он, я вижу, вас не очень занимает; я и сам не особый охотник до Бласко Ибаньеса с его чрезмерным реализмом. Другой раз я принесу вам стихи Эспронседы; они, я уверен, вам понравятся; а у меня дома лежит его сборник.

Мы заговорили о чем-то незначительном.

Прошло три дня. Я был поглощен политической работой; она, это типично в русской эмигрантской среде, идет толчками, то затихая, то оживляясь. Выдался момент прилива; подготовлялся выпуск журнала, где я должен был участвовать, и на меня свалилась масса дела. Просидев однажды до полуночи в типографии, после того, как днем надо было мотаться по всему городу, собирая материалы у запоздавших сотрудников, я вернулся домой очень утомленным, прилег на минуту, не раздеваясь, и заснул крепким сном. Меня вернуло к сознанию легкое прикосновение. Я открыл глаза, но мне показалось, что я еще сплю. Склонившись надо мной, улыбаясь, стояла Лидия Сергеевна. Голубоватый свет озарял стены комнаты, струясь неизвестно откуда; я никак не мог понять, почему я вижу через нее стол и за ним окно во двор... Я прошептал что-то вроде «Боже мой», но гостья меня остановила.

— Я не боюсь молитвы, — сказала она, — но если вам неприятно, я могу уйти...

— Что вы, как можно... я только не ожидал...

Я встал, ожидая, что сейчас проснусь; но сон не рассеивался.

— Могу я предложить вам что-нибудь? Может быть, чаю? — насилу выговорил я, чувствуя нелепость происходящего, но в то же время и желание испытать, что же получится.

— Нет, благодарю. Сейчас я ничего не могу ни есть, ни пить.

Лидия стояла перед столом, в двух шагах от меня, и я отчетливо ее видел, несмотря на все попытки уверить себя, что это должна быть галлюцинация.

— Вот это и есть та книга, про которую вы мне говорили? — спросила она, словно с намерением вывести меня из затруднения, указывая на случайно лежавший на столе томик Эспронседы, и ее пальцы небрежно перелистнули страницы.

— Да, — ответил я, — внезапно идея пришла мне в голову, — прочтите кусочек вслух...

Ее голос, музыкальный и тихий, прозвучал в моих ушах; ей открылось начало поэмы «Студент из Саламанки»:

> Era más de media noche,
> Antiguas historias cuentan,
> Cuando en sueño y en silencio
> Lóbrega envuelta la tierra
> Los vivos muertos parecen
> Los muertos la tumba dejan...*

Мне не раз приходилось преподавать испанский язык, и мое ухо четко зафиксировало сделанные ею несколько ошибок; наиболее серьезная была та, что она произнесла сгутефт и вуофт с ударением на последнем слоге, как нередко случается с людьми, привыкшими говорить по-французски. Я, однако, ее не поправил, и Лидия положила книгу обратно на стол.

— Ну, — сказала она, — я вижу, что вы мне все-таки не особенно рады; а главное, вы устали, и я не хочу мешать вам отдохнуть. Да и мне пора...

К моему удивлению, она не повернулась к двери, а медленно двинулась вглубь комнаты. Заднюю стену у меня почти целиком занимает большое зеркало; но глядя на него сейчас, я увидел иное. Зеркало рисовалось окном или входом, я явственно различал ярко освещенную небольшую комнату, за ней другую, где словно бы мелькали танцующие пары. Фигура Лидии скользнула туда, и через мгновение она перешла порог... Почти тотчас же в комнату за зеркалом, казавшуюся маленьким салоном, вошел мужчина... Я никогда не видел его ни до, ни после этого, но и теперь тотчас же узнал бы его при встрече.

Высокий, смуглый, с густыми черными волосами и орлиным носом над маленькими темными усами, одетый в черное, как будто в смокинг, с несколько хищным выражением лица, он был похож на серба или болгарина; ему могло быть от тридцати до тридцати пяти лет. Он галантно склонился перед Лидией, словно приглашая

* Было позже полуночи, —
Гласит старинное предание, —
Когда земля окутана
Зловещим сном и молчанием,
Живые кажутся мертвыми,
Мертвые покидают могилы...

ее на танец; по движениям их губ я видел, что они говорят, но звук не доходил до меня; подавая ему руку, она обернулась ко мне и приветливо и слегка лукаво улыбнулась; затем оба исчезли в глубине.

Остолбенелый, я стоял перед освещенным входом, но мне казалось, что свет там внутри начинает тускнеть. Мной вдруг овладела дерзкая решимость и, сжав зубы, я сделал шаг вперед, в зеркало, инстинктивно зажмурившись, так как мне представилось, что сейчас я ударюсь о стекло. Но этого не произошло. Раскрыв глаза — до того я почувствовал только толчок, как бывает, если оступиться на лестнице — я увидел себя на бульваре. Казалось, я вышел из ближайшего дома. Этот дом, сообразил я, отделяет заднюю часть моего отеля от бульвара, где я находился. Что такое случилось? У меня немного помутилось в голове. Было начало зимы, а я был в одном пиджаке, с распахнутым воротом; ледяной, промозглый холод проникал до костей. Я пошел вниз, в направлении к ближайшей станции метро и мимоходом взглянул на висевшие возле входа часы. Было два часа ночи. Подгоняемый холодом, я быстро сделал два поворота, поднялся по улице круто вверх и через несколько минут был снова в своей комнате.

Тут мной овладело странное ощущение. Может быть...даже наверное... все это было только сном... зеркало, как прежде, мирно белело в глубине... на столе валялся раскрытый томик испанских стихов... На какой странице я его раскрыл с вечера, я не мог припомнить...

Мне было холодно, я был разбит усталостью, все вокруг было погружено в сон... Самым осмысленным было поскорее лечь; я начал стаскивать с себя одежду и кажется, заснул, как только скользнул под одеяло, прежде чем опустил голову на подушку.

Через два дня я снова был у Лидии.

— Вы заходили ко мне? — спросил я в разговоре, будто вскользь.

— Да, третьего дня. А вы не поверили? — усмехнулась она.

Я протянул ей книгу, которую держал в руке.

— Я вам обещал стихи Эспронседы. Вы помните, какое место мы читали вместе?

Она уверенным жестом перелистнула страницы и прочла:

Era más de media noche
Antiguas historias cuentan...

Что меня убедило больше всего, больше всех рациональных доводов, это то, что она снова сделала ту же ошибку в ударении в слове сгутефт. Я совершенно не желал никому, ни даже — может быть, особенно — самому себе показаться легковерным... Но какое же могло быть объяснение?

Живя в одном доме, мне случалось подолгу не видеться с Энвером; он возвращался домой вечером, а я в это время часто куда-нибудь исчезал. Но однажды я зашел к нему, и вместе с ним и его женою мирно сидел за чаем, разговаривая обо всех общих знакомых. Между прочим я спросил, давно ли он видел Лидию.

— Давно, — махнул он рукой. — Ты ведь знаешь, как трудно к ним попасть. Всегда надо заранее сговариваться по телефону, а иначе они могут сказать, что заняты... Чем они занимаются таким, что не могут впустить гостя? Ты знаешь, — понизил он голос, — мне думается: колдуют...

В дверь постучались. Мы все трое невольно вздрогнули.

Энвер открыл. На пороге стояла Лидия.

Нас выручила Валя, с искренней радостью и обычным для нее гостеприимством кинувшаяся обнимать, а затем усаживать посетительницу.

— Лидочка, как хорошо! А мы только что о вас вспоминали.

Как всегда в присутствии Лидии, разговор сам собою отклонился в сторону спиритизма и колдовства. Энвер сказал, что никогда не был на сеансе и не представляет себе, как это делается. Зашла речь о планшетках.

— Попробуем! — вырвалось у Вали.

Лидия пожала плечами, но, уступая, сказала, что довольно блюдечка, листа бумаги и какой-нибудь палочки или щепки. Через две минуты все это было на столе, и

вокруг блюдечка, на котором лежала длинная щепка, были написаны буквы алфавита.

Я положил руку на щепку; пальцы Лидии легко легли сверху на мою руку. «Тут не сплутуешь», — подумал я решительно про себя, и в то же мгновение щепка сама собой зашевелилась, щекоча мне ладонь.

— Что спросить? Спросим, кто с нами говорит! — предложила Валя, беря карандаш, чтобы записывать ответы.

Неровными толчками щепка несколько раз обошла круг взад и вперед, останавливаясь перед отдельными буквами: ИМИЛЕГИО.

— Никакого смысла! — огорчилась Валя.

Но я увидел, что значат эти буквы, и внутренне поежился:

«Имя им — легион».

— Попробуйте со мной, Лидочка!

Женщины соединили руки, и щепка на этот раз стала двигаться с лихорадочной быстротой — МСТИСМРТИКРВ —

Снова я первый угадал смысл:

— Месть, и смерть, и кровь.

— Кто? — спросила Лидия глухо.

Ответ был на этот раз дан во всех буквах.

— МОНАХ.

— Какое твое имя?

— ГРШНИК ЛЕОНИД, — ответило блюдечко, выпустив «е» в слове грешник, и замолчало.

Эта забава начинала действовать мне на нервы; Энверу, верно, тоже... Может быть, именно он весело сказал:

— А ну-ка, загадайте на меня.

— ДЖЕХЕНЕМ.

— Бессмыслица, как будто? — спросила Лидия.

Лицо Энвера пепельно побледнело; никогда я не видел его таким.

— Очень даже есть смысл. Это по-татарски значит «ад». Ну, кончаем! Так и вправду до плохого доиграешься...

Посидев еще немного, мы разошлись.

***

Что за связь существовала между Лидией и моим зеркалом? Я поворачиваюсь, оторвавшись от страниц рукописи, и мой взгляд упирается в его матовую, тускло поблескивающую поверхность.

Два раза оно оказывалось в центре странного и загадочного, внезапно ворвавшегося в мою жизнь. О первом случае я уже рассказывал. Вот второй... Однажды, когда мы собрались большой компанией у Лидии Сергеевны, зашла речь о гипнозе, и я рассказал, что, видимо, ему не поддаюсь, так как все попытки в этом направлении надо мной никогда не удавались.

— Есть простой способ, — сказала наша хозяйка, — который вы можете легко испробовать. Стоит только остановить взгляд на любом блестящем предмете, например, на зеркале, и смотреть, не отрываясь. Через несколько минут вы почувствуете результат.

На следующий день, утром, эти слова пришли мне на память, и я полубессознательно встал перед зеркалом и уставился в собственные, в нем отраженные зрачки. Сколько времени прошло, не знаю: я потерял о нем представление. Мною овладело ощущение стремительного падения в бездну. На дворе шумно играли дети, и их веселый крик вдруг стал от меня удаляться; я слышал его сперва издалека, потом перестал слышать совсем.

Сознание меня оставляло; своеобразное ощущение жути и влечения наводняло все мое существо... вдруг я отдал себе отчет, что глаза, смотревшие на меня из зеркала, не были больше мои; это были глаза Лидии... страшным усилием воли, я рывком отвел взор от стекла... это усилие было настолько реально, что я зашатался, потерял равновесие и опустился на стул. Шум со двора снова стал явственным; действительность вступила в свои права.

Русский Париж невелик; в нем все друг друга знают. Мне многое передавали о Лидии Сергеевне... но не буду повторять здесь чужих рассказов, которые увели бы меня слишком далеко; вдобавок, часть этих слухов слишком неправдоподобна, и читатель никогда не смог бы в них поверить.

***

Как-то раз я пришел к Лидии Сергеевне поздно и застал ее одну.

— У вас есть что-нибудь еще пострашнее? — шутливо спросил я, возвращая ей прочитанную книгу.

— Пожалуй.

Поставив книгу на полочку среди других, она скрылась за портьерой, в задней комнате, где я еще никогда не был, и вернулась с маленькой книжкой в руке. На ее губах играла обычная улыбка, но словно бледнее, чем обычно; и лицо ее было тоже бледней, чем всегда.

— Проглядите, если хотите. Только, я вас прошу, обещайте мне не читать, даже про себя, то, что там помечено, как «заклинание». Дело в том, что тогда что-нибудь может произойти, за что я потом буду себя упрекать. Есть силы, с которыми нельзя быть не осторожным.

Я внимательно рассматривал книжку, лежащую передо мной. На обложке колдун обнимался с чудовищно огромной жабой... Название было примерно «Околдовывание и расколдовывание на основе каббалы». То, что я прочел внутри, поразило меня смесью дикой непристойности и неистовых обещаний и угроз, торжественный тон которых рождал нелепое и непобедимое к ним доверие.

Трудно пересказать то, что я видел лишь одно мгновение. Сильнее всего мне врезалось в память несколько отрывков. Один из них гласил, приблизительно, следующее: «Половая любовь таит в себе огромную силу. В момент соединения женщины с мужчиной, когда возрождается древний андрогин, излучается колоссальная энергия, которую посвященный может использовать по своей воле. Чтобы достигнуть этого, нужно совершить все так: Женщина не должна быть профессиональной гетерой; тогда чары не имели бы силы. Мужчина не должен ее любить; это тоже парализовало бы колдовство. Он должен иметь над ней власть чарами, или обманом, принуждением или угрозой. Комната должна быть вся целиком обита черной тканью, и ни один луч света не должен туда

проникать извне. Маг и его жертва должны войти в комнату совершенно обнаженные, с разных концов, через разные двери. При входе маг должен произнести...»

Дальше шли детальные наставления, частью пугающие, частью неприличные, часто почти смешные детской мелочностью; все перемежалось заклинаниями по латыни и латинскими буквами на незнакомом мне языке, может быть, древне-еврейском. Кончалось указанием, как можно употребить полученную силу; один из первых способов был наслать порчу на врага, с предупреждением, что если тот сумеет защититься, гибель неотвратимо упадет на колдующего.

Другой отрывок давал средство для жены обеспечить себе верность мужа; условленное заклинание над клешней рака и наговоренным зеркалом могло сделать его бессильным по отношению ко всякой другой женщине...

— Конечно, — поясняла Лидия, — я держу эту книгу только, как орудие защиты; здесь указано, как можно обороняться от колдовства, и как можно вылечить околдованного...

Но мои глаза с неудержимой силой приковались к одному из параграфов:

«Средство заставить любую женщину себя любить. Нужно в присутствии любимой, будто случайно, нанести себе рану так, чтобы струилась живая кровь, и если возможно, заставить ее эту рану перевязать, и сделать, чтобы кровь на нее упала. В этот момент надо тихо произнести такую фразу...»

— Вы обещали мне не читать заклинаний, — тихо, но твердо произнесла Лидия и вырвала у меня книгу из рук. Я хотел ее удержать, но на мгновение почувствовал непреодолимую физическую слабость... Она прошла не прежде, чем Лидия вновь вышла из-за портьеры, уже с пустыми руками.

— Послушайте, — сказал я, — дайте мне эту формулу. Одну единственную; мне не нужно ни богатства, ни власти, ни мести. Месть сладка, и власть над людьми опьяняет, и в богатстве есть наслаждение. Но все теряет

смысл для того, кто встретился с любовью. Нет опьянения, нет наслаждения, ни сладости на свете, которые бы сравнялись с тем, что она дарит. За нее отдашь все, богатства Голконды сложишь к ногам желанной, врага простишь и сойдешь с трона... Я верю в вашу силу; слишком много видел примеров, чтобы не верить. Скажите, за какую цену вы мне продадите этот секрет? Нет ничего, перед чем бы я остановился. Жизнь? Кровь до последней капли? За один день, когда бы она мне улыбалась и не вырвала свою руку из моей. Спасение души? За ее любовь... лучше этого не может быть рая; пусть на миг... счастье останавливает время и мгновение делается вечностью... Вы неумолимы? Какому бы богу вы не молились, если не ради жертвы Христа, сжальтесь надо мною во имя мук Люцифера... он ведь тоже страдал... Я бы не просил вас, если бы у меня была надежда; не просил бы, если бы имел еще силу переносить эту боль. Но я сделал все, что могу придумать, и думать больше не могу, так как горю в огне. Я буду вашим рабом и не отвергну никакого условия.

С мрачным выражением Лидия покачала головой.

— Нет. Приворот никогда не приводит к добру. И вам надо избегать ее дороги; когда ваши пути сходятся, это вам не приносит добра. Помните ли вы вашу прошлую жизнь? — Она испытующе глядела на меня. — Замок в Ирландии? Озеро вокруг? Зеленые берега Эрина? Отца Майкеля? Неужели вы все забыли, Джеральд? Вы сами должны знать, что вам дала ее любовь и за что вы несете карму...

Какие-то неясные образы заполняли мое сознание, врываясь туда насильно, против моей воли.

Она сказала — озеро? Этот странный сон, который я с детства видел, который врезался мне в память, как кусочек жизни: серебряная рябь на широкой водной равнине, камыш у берегов, из которого я вывожу лодку... замок на островке поднимает кровли в первых лучах зари... Замок, берег моря, старый монах... с ума я сошел, чтобы поддаваться внушению?

Все эти воспоминания — просто арсенал из бесконечного количества исторических романов; жизнь одна — та, которую я так нелепо теряю.

— Будь проклята прошедшая жизнь! — крикнул я, не стараясь удержать голос. — Я не хочу о ней помнить, если она была, не хочу за нее платить ни полушки. Все ее счета оплачены. Я вижу, вы просто не можете ничего. Вся ваша власть — химера, пустой набор слов. Даже совета вы дать не в силах, когда наступает тяжелый час. Что же, — кончил я уже тихо, — оставим эту тему.

Огромные глаза, которые меня всегда манили и пугали, были совсем близко от моих.

— Вы просите у меня то, чего я не могу и не хочу вам дать, — сказал тихий, но ясный голос. — «Так она говорила тот раз, во сне», — мелькнуло у меня в голове. — Но все то, от чего вы отказываетесь, я могла бы вам дать: власть, богатство, силу расплатиться злом и добром со всеми, с кем захотите. Если вы окончательно откажетесь от нее... а она, все равно, никогда не будет вашей... и если хватит мужества в вашей груди...

Бешенство, какое я испытывал всего несколько раз в жизни, от которого весь мир заволакивается красным светом, все мускулы в вихре нервной силы могут сделать в десять раз больше обычного, и сердце толкает одному идти на войско врагов, охватило меня. Бешенство, которое даже вернуло мне хладнокровие и от которого мой голос звучал ровно и сдержанно, словно откуда-то издалека.

— Лучше смерть от любви к ней, чем счастье с первой красавицей мира. Кроме нее, мне не надо никого и ничего на свете. Но кроме, как за ее любовь, ни за что иное в подлунной я не стану рисковать душой; спасибо за доверие, но этот путь не для меня. От него пахнет серой. Господь да простит мне мои грехи и ошибки; да будет Его милосердие со мной, если не в здешней, то хоть в будущей жизни.

Наступило тягостное молчание.

Я хотел бы вернуть свои слова. За что я обидел девушку, которая по-своему желала мне добра, вся вина которой, может быть, в чрезмерной и ложно направленной экзальтации и живости воображения?

***

Наше прощание было холодным. Их дверь мне больше никогда не раскрывалась. Единственный раз мне пришлось еще встретиться с Лидией Сергеевной года через два, по поводу самоубийства ее подруги Елены. Я поймал ее у выхода из ее квартиры, и мы говорили по дороге. Следуя за ней, я очутился за городом и среди улиц, которые мне казались неизвестными, хотя этот район предместья был для меня привычным. Повсюду было темно, ни звука, ни огонька; только шуршали листья и свистел ветер поздней осени. И вдруг из-за какого-то поворота мы сразу вышли к громадному, ярко освещенному зданию. Лидия Сергеевна вежливо со мной простилась и вошла...

Я поколебался уходить: любопытно, что это за дом? Но вынырнувший из подъезда черный карлик с таким злобным подозрением повернул ко мне свои белки, что я почти невольным движением свернул за угол, сделал десяток шагов... и потом, как ни старался, не мог вернуться на прежнее место...

Кругом все спало, не проходило ни души, и я почти отчаялся найти дорогу домой, как вдруг, точно волшебством, уперся прямо в бараки парижской выставки, которые, я бы подумал, были от меня отделены несколькими километрами.

Много раз потом, гуляя в этих местах, я пытался отыскать ясно запомнившийся мне большой дом, горевший в ту ночь сотнями огней, как на иллюминации. Нигде в Ванве, Исси де Мулино или Малакове мне не попадалось похожего здания.

РУКИ ИЗ ПУСТОТЫ

Мирозданием раздвинут,
Хаос мстительный не спит...
А.К.Толстой. «Дон Жуан».

— Здравствуйте, профессор.

— А! Мой дорогой Ле Генн! Какой добрый ветер вас приносит? Но садитесь, садитесь же. Хотите, я распоряжусь, чтобы принесли чаю?

— Благодарю вас, друг мой. Сперва давайте поговорим о делах. Да... а дело-то состоит в том, что я желал бы знать, в каком положении больной, которого к вам доставили в пятницу.

— Номер 38? По правде говоря, я еще не могу сказать вам ничего окончательного. Этот случай нельзя назвать простым. Пациент, доктор Ферран, был довольно хорошо известен в своем кругу, но не широкой публике. Он работал над опытами, кажется, в высокой степени любопытными, в области химии и психологии... в весьма специальной сфере.

— Да, я в курсе его изысканий.

— Так? Что до меня, я о них имею самое общее представление, и они меня главным образом занимают с точки зрения того, как они могли отразиться на состоянии больного. Первое предположение, естественно напрашивающееся, для объяснения тяжелой нервной депрессии и мании преследования, которыми страдает Ферран, это — искать корней в остром переутомлении. К этому близко и другое, высказанное моим помощником, мнение, что он испытал сильный моральный шок, проще говоря, был чем-либо испуган во время своих экспериментов; или, возможно, пережил серьез-

ное разочарование, убедился, что его труд пропал даром и не дал никаких ценных результатов.

Профессор Морэн на минуту остановился. Ле Генн с живым интересом ждал продолжения.

— У меня, однако, возникла другая гипотеза, которая, впрочем, пока еще ничем не доказана, — снова начал затем психиатр. — Мне думается: не является ли причиной недуга какое-либо химическое средство, которое доктор Ферран умышленно или непроизвольно принимал при своих опытах? Это могли бы быть, скажем, пары или вещество, проникающее через кожу; но, еще скорее, он мог нарочно поглощать определенный препарат, стремясь выяснить его действие на организм... и злоупотребил им, не рассчитав свои силы. Конечно, я сделал все для исследования его желудка, крови, функций... и признаться, пока, хотя признаки и недостоверны, они скорее поддерживают меня в данном направлении. Следовало бы хорошенько обследовать его лабораторию...

— Вы правы, профессор. Но между тем я хочу посмотреть самого больного. У вас не будет возражений?

— Конечно же нет, мой милый инспектор. Угодно вам, чтобы я вас проводил?

— Если это вас не стеснит.

***

Худощавый коренастый мужчина с густой щеткой жестких волос, бывших прежде черными, но сейчас от проступившей в них седины принявших какой-то железный отблеск, сидел на койке, сцепив кисти рук у себя на коленях. Его лицо, с квадратным подбородком, острым носом и тонкими губами, было, вероятно, умным и волевым в обычное время; но сейчас на нем читались такие растерянность и страдание, что Ле Генн невольно подумал, что именно подобное выражение ждешь встретить у заключенного в камере для умалишенных.

— Мне очень неприятно вас беспокоить, доктор, — осторожно начал, когда они остались вдвоем, посетитель, на которого, казалось, больной не обратил никакого внимания, — в момент, когда вы нездоровы и нуждаетесь

в отдыхе. Я надеюсь, однако, что вы меня извините: я прихожу по поручению начальства, как чиновник...

Ле Генн протянул было свою визитную карточку, но Анри Ферран только скользнул по ней безучастным взглядом, не изменяя позы.

— Министерство внутренних дел, — продолжал инспектор, — чрезвычайно заинтересовано теми исследованиями, которые вы вели, и придает им особое значение, считая, что они могут явиться фактором, имеющим сыграть важную роль в жизни страны.

На этот раз больной поднял на сыщика глаза, в которых отразилось мучительное томление.

— Мне поручено просить вас изложить, хотя бы в общих чертах, суть ваших работ и основные результаты, которых вы достигли. Я уверен, что вы, как лояльный гражданин и патриот, не откажетесь поделиться со мною вашими открытиями, тем более, что я уполномочен вам гарантировать полный секрет и обещать поддержку правительства для ваших дальнейших научных поисков.

Ученый заломил руки, и его лицо болезненно исказилось.

— Все совершенно бесполезно, — отозвался он глухим голосом. — Вполне бесполезно... Мои опыты оказались успешны; о, более успешны, чем я бы желал! Я открыл нечто потрясающее... нечто страшное... Но какой прок сообщать об этом публике, человечеству, хотя бы специалистам и правителям? Сообщать о кошмарной, неумолимой опасности, нависшей над нами, сторожащей нас на каждом шагу и против которой мы все равно не в силах бороться? Пусть лучше никто ничего не знает; зачем отнимать у людей возможность хотя бы короткие дни прожить весело и спокойно? Пусть лучше я один буду посвящен в тайну, буду нести гнет ужаса за весь мир... Тем более, что — как знать? — быть может, пройдут еще и годы, и десятки лет, пока мы подвергнемся их нападению.

Ле Генн слушал с напряженным вниманием, тщетно усиливаясь понять.

— Но, послушайте, доктор, — рискнул он наконец, видя, что Ферран остановился, — насколько бы ни была серьезна та угроза для человечества, о которой вы говорите, не лучше ли раскрыть на нее глаза, если не всем, то авангарду людского рода, по меньшей мере? Ведь с какими трудностями человек ни справлялся за время своего существования на земле! Кто скажет? Может быть, и теперь, мужественно взглянув в лицо предстоящему испытанию, мы найдем способ его отвести...

Слова инспектора, видимо, произвели большое впечатление на доктора Феррана, который сделал несколько судорожных движений, и затем решительно нагнулся вперед, в направлении к своему собеседнику, и заговорил, понизив голос почти до шепота, быстро и почти не делая пауз;

— Пожалуй, что вы и правы. Лучше будет, если я вам все расскажу и сниму с плеч ответственность. Она для меня одного слишком тяжела. Вообразите себе, — пока оставлю в стороне способ, — что я установил, что рядом, бок-о-бок с нашим миром, существует иной, незримый нам, но отделенный от нас лишь тонкой, хрупкой стенкой, подобной стеклу или слюде. И за ней обитают чудовища более отвратительные и свирепые, чем все, что мы знаем на нашей планете, более неумолимые, чем самые кровожадные дикари, и в то же время одаренные большей интеллектуальной мощью, чем все наши мудрецы, и обладающие культурой, значительно высшей, и значительно более древней, чем наша... Покамест, они не хотят вмешиваться в наши дела — а они-то нас знают, и за нами следят! Но в любой момент их намерения могут перемениться, и тогда... о тогда...

Ферран вдруг вскочил с койки, и его руки нервным движением протянулись вверх, потом постепенно опустились, Ле Генн почувствовал с нетерпимой ясностью, что он ощупывал пальцами стену, словно бы тянувшуюся наискосок через комнату, подобно наклонной крышке мансарды. Он с внутренней дрожью на миг интуитивно ощутил, что под ногтями больного скрипнула тонкая материя, похожая на целлюлозную пленку.

— «Четвертое измерение»?.. Вогнутое пространство?.. — шевельнулось у него в мозгу. — Но ведь это в совсем другом смысле!

Между тем Ферран распрямился во весь рост, его лицо словно бы просветлело, и он снова повернулся к своему гостю.

— Да, я должен вам все рассказать, передать вам формулу моего состава и способ его употребления. Вы вернули мне веру в человеческий гений: надо, чтобы было сделано все для защиты нашей расы и нашей культуры... И моя обязанность поведать обо всем, что я узнал, как можно скорее, пока не поздно: иначе они постараются мне помешать... Ведь они за мною, за нами всеми, непрестанно следят... Слушайте же: в основу моего изобретения легла работа над химическим анализом элемента, которому в науке дано имя...

Что произошло затем? Всю дальнейшую жизнь Ле Генн не мог не только связно рассказать, но даже и явственно вспомнить...

Он вдруг увидел, как откуда-то из пустоты, из пространства, словно сквозь два отверстия в прозрачной бумаге, в холсте кулис, просунулись две гигантских черных руки, и их толстые пальцы сжались вокруг горла Феррана, речь которого прервалась в леденящем хрипении нестерпимой физической боли и нечеловеческого испуга...

Инспектор сорвался со стула и бросился ему на помощь. Но в тот же миг его отшвырнуло назад точно бы волной воздуха, как бывает при разрыве снаряда, или при яростном урагане... Бретонец упал, больно ударившись головой об стену и затем об пол.

В глазах у него помутилось от дурноты, но он видел все же, как тело Феррана приподнялось на несколько шагов от земли и корчилось короткие мгновения в последней агонии, а потом тяжело, как мешок, свалилось на паркет...

В ту же минуту дверь распахнулась, и в комнату вбежали профессор Морэн и его ассистент...

Первый же взгляд сказал им, что все попытки вернуть к жизни Феррана были бы напрасны; у него были сломле-

ны шейные позвонки, но он еще до того умер, очевидно от удушья, а возможно, и от разрыва сердца...

Что до Ле Генна, он через пару минут вполне пришел в себя. Все трое могли еще заметить в центре комнаты странное движение воздуха и что-то похожее на клубящийся туман, который впрочем быстро рассеялся, и странный, замораживающий холод, тоже однако уступивший место нормальной температуре, да еще какой-то неопределенный, ни на что непохожий запах, растворившийся постепенно в воздухе...

Таким образом министерство осталось в неведении относительно практических достижений доктора Феррана в его странных исследованиях. Были бы шансы допытаться до истины, разбираясь в рукописях и материалах в лаборатории, где он работал; но там произошла не совсем понятная катастрофа, и взрыв уничтожил все, что могло бы помочь следствию. Эксперты высказали предположение, что при опечатании помещения в нем остались вещества, подвергавшиеся какому-то опыту, и следствием реакции, продолжавшейся несколько дней, и явилась эта катастрофа.

ЛЮБОВЬ МЕРТВЕЦА

Amar después-de la muerte. *

Pedro Calderon de la Barca.

Я возвращался домой последним метро. Поезд был почти пуст, особенно к концу пути, и я оставался единственным пассажиром в своем вагоне. Поэтому мое внимание невольно остановилось на девушке, которая вошла на одной из последних станций и, не взглянув на меня, села в противоположном углу.

Ей могло быть года двадцать два. Я сразу припомнил эту стройную фигуру, этот нежный овал лица. Года два тому назад одни мои знакомые, очень милая молодая пара, которые позже уехали в Америку, представили меня ей на каком-то балу. Мы обменялись всего двумя-тремя словами, и с тех пор я ее больше не встречал. Однако ее имя и фамилия сохранились где-то в глубине моего сознания.

При обычных условиях я не позволил бы себе напомнить моей случайной спутнице о своем знакомстве, слишком беглом и уже далеком. Ничто на свете не могло бы меня испугать больше, чем мысль, что меня примут за не в меру назойливого ловеласа. Но, кидая на нее время от времени взгляд, я все больше чувствовал, что она находится во власти тяжелых переживаний — горя, заботы или страха, — целиком ее поглощающих и застилающих окружающий мир. Она сидела неподвижно, склонив голову на грудь, так, что волна темно-каштановых волос падала вперед на высокий лоб,

* «Любовь после смерти» (название одной из лучших драм Кальдерона)

опустив глаза, длинные ресницы которых кидали тень на побледневшие щеки; тонкие, нервные черты ее лица казались скованными глубокой задумчивостью. Конечно, беспокоить человека в такие моменты неделикатно... но, с другой стороны, не бывает ли иногда участие, от кого бы оно ни исходило, драгоценно именно тогда, когда нас мучит какой-либо тяжелый и неразрешимый вопрос, как это, видимо, было с моей попутчицей?

Поколебавшись несколько минут, я сделал над собой усилие, пересек вагон и поклонился.

— Извините меня... Мне кажется, меня с вами когда-то познакомили Черняковы.

Девушка подняла на меня взгляд; по ее губам скользнула бледная улыбка.

— Да, как же, я вас помню. Как они поживают, Черняков и его жена? Давно ли вы имели от них известия?

Я опустился на сидение напротив нее, и некоторое время наш разговор вращался вокруг общих знакомых. Как только этот сюжет был исчерпан, я сказал:

— У вас неважный вид, Елена Георгиевна. Вы похудели и побледнели за то время, что я вас не видел. Вы переутомились? Или были нездоровы?

— Нет, это не усталость и не болезнь... это другое, — ответила она словно рассеянно и на мгновение замолчала, как будто ее мысли унеслись куда-то далеко. Потом она внезапно подняла на меня синие и лучистые глаза; в их глубине я прочел страдание, от которого по моему собственному сердцу струей прошла боль.

— Вам не покажется странным, — продолжала она, словно принимая внезапное решение, — если я расскажу вам одну историю?

— Ничуть, — ответил я ровным тоном. — Мне самому несколько раз в жизни случалось рассказывать о себе, своих мыслях и интимной жизни людям, случайно встреченным в дороге, чужим и незнакомым... рассказывать так откровенно, как я не мог бы никому из близких... И всегда после этого я чувствовал большое облегчение.

Поверьте, я сохраню в секрете все, о чем бы ни шла речь, и, если смогу, с удовольствием вам помогу.

Елена помолчала мгновение, а затем, вместо рассказа, задала мне вопрос, прямой и быстрый, как удар ножа.

— Вы были знакомы с Рахмановым?

— Да, — отозвался я, не задумываясь. — Среди людей, активно участвующих в политической работе, молодых и энергичных не так много, и с большинством из них мне приходилось встречаться. Мы с ним даже были друзьями. Правда, последнее время он отошел от политики и словно замкнулся в себе; мы виделись реже и отдалились один от другого... Конечно, если бы я знал тогда... Но его самоубийство было для меня совершенной неожиданностью.

Вдруг я почувствовал, что вся кровь бросилась мне в лицо; попытался удержаться — и покраснел еще больше. Я вспомнил слухи, что Рахманов покончил с собой из-за несчастной любви... никто не мог назвать точно женщину, бывшую причиной его смерти, но сейчас я внезапно понял, что она сидит напротив меня... хуже того — она отгадала все мои мысли...

По счастью для меня, поезд остановился; за окном в электрическом свете тянулась длинная и пустая площадка конечной станции. Мы вышли. Казалось естественным, чтобы я проводил Елену Георгиевну. Наверху лестницы нам навстречу пахнул сырой осенний ветер, со свистом несший вдоль широкого бульвара пожелтевшие листья. Довольно долго мы оба молчали, и лишь когда мы уже повернули вбок, в узкую и извилистую полутемную улицу, я собрался с духом возобновить разговор.

— Поверьте, я понимаю, Елена Георгиевна, как вам тяжело; но вы не должны слишком мучить себя... Ведь в конце концов вам совершенно не в чем себя упрекнуть. Нельзя себя принудить, и если вы не могли его полюбить...

— Я не говорю, что я не могла, — ее голос прозвучал глухо, словно издалека; она шла рядом со мною, но только когда мы проходили мимо одного из редких фонарей, я

различал во мраке бледное лицо, на котором были видны сейчас не столько страдание, как усталость и задумчивость.

— Меня пугала его любовь, ее сила... Я чувствовала, что он живет мной одной, что я стала для него всем миром... и мне было страшно принять его любовь... мне казалось, что он потребует от меня слишком много... А вот в то же время другие могут любить весело и без усилия... тогда мне казалось, что мне больше нравится другой, на которого мне теперь и смотреть не хочется.

— Женщины всегда предпочитают самого ничтожного из своих поклонников, и того, кто любит их меньше всех, — не сумел я удержаться от горькой фразы и пожалел о ней, почувствовав дрожь, которая прошла по тонкой фигуре возле меня. Но Елена продолжала свой рассказ, словно не слушая меня.

— Теперь, после его смерти, я чувствую, что я его любила, что я только одного его и могла любить. Вот уже два месяца, а я только и могу думать о нем, день и ночь вспоминать каждое его слово, каждое движение... Мне кажется, что он все время около меня, и жизнь для меня все больше теряет смысл без него...

Ее голос звучал однотонно, будто она говорила во сне, будто она обращалась к самой себе и ей было безразлично, слушает ли ее кто-нибудь или нет.

— Что же делать, — сказал я почти резко, — теперь единственное, что вы можете для него сделать, это помолиться за его душу. А вообще, вам просто надо сбросить с себя такие настроения... постарались бы, в конце концов, развлекаться, или сосредоточились бы на какой-нибудь работе.

— Я пробовала, — отозвалась Елена тем же тоном, — пробовала все... Но я могу молиться только губами, не сердцем... я в эти минуты вижу его перед собой, думаю, как мы могли бы быть счастливы, если бы... если бы все случилось иначе... и меня охватывает отчаяние, гнев... бесполезный, бессильный. Нет, какая уж тут молитва... А развлекаться... мне на балу чудится, будто я смотрю на всех издалека, из другого мира... из

могилы... нет, я попыталась один раз себя принудить веселиться, и больше не буду. Быть одной все же легче... Но это еще не все, — вдруг перебила она себя, словно возвращаясь к сознанию, — я хотела вам рассказать другое.

На мгновение она замолчала, словно споткнувшись о невидимое препятствие, потом продолжала:

— Я была сегодня у одного человека... о нем говорят, что он колдун. У меня есть подруга, она давно мне про него рассказывала, но я никогда не хотела к нему пойти... потому что я считала, что все это или обман, или грех и что-то скверное... Но теперь мне показалось, что он сумеет мне что-нибудь посоветовать.

— Боже мой! — воскликнул я, — этого еще не хватало! Обращаться к какому-то шарлатану! Да неужели вы, с вашим образованием и воспитанием, можете верить в такую чушь?

— Он не произвел на меня впечатления шарлатана. Трудно мне рассказать... Нас провели в его кабинет... он встал из-за стола нам навстречу... мужчина лет сорока, среднего роста, смуглый, черные волосы, с сединой... Глаза... Это, кажется, у Тургенева у кого-то из героев «колючий» взгляд? Не враждебный, но словно проходящий насквозь. Он ни о чем меня не спросил, взглянул мне бегло на руки и нахмурился (я знаю, что у меня короткая линия жизни: это мне уже не раз говорили гадалки), посмотрел мне в глаза... и так взглянул, будто кто-то стоит за мною... по его лицу что-то прошло, словно страх; он сделал даже шаг назад, и потом сказал... Он какой-то левантинец и по-французски говорит хотя и ясно, но со странными оборотами, иногда употребляя не совсем обычные слова... Он сказал: «Я вижу, что с вами происходит нечто страшное, но мне невозможно вам помочь. Чтобы вырваться от той власти, какая над вами, нужно большое усилие с вашей стороны, или помощь человека, который бы вас любил больше жизни... или священника, человека святой жизни... Молитесь — это лучшее для вас»... Я внутренне удивилась:

какой он колдун, если советует молиться? Он, наверное, угадал мои мысли, и на них ответил: «Я — вне религии, но не против нее — смотрите, вы видите эту книгу?» — Я заметила на столе Евангелие. — «Откройте и прочтите, что вам выйдет». Я открыла и прочла: «Соблазны должны войти в этот мир, но горе тому, через кого они входят». «Но зачем гадать по этой книге? — продолжал левантинец. — К чему вмешивать ее в наши мелкие и суетные дела и страсти? Есть иной путь. Всякое вдохновение от Бога: поэт — тот же пророк. Сегодня ночью раскройте книгу любого поэта: до трех раз вы получите ответ на ваш вопрос о том, что с вами происходит. А потом действуйте, как сердце вам подскажет». Он отказался взять от меня деньги, хотя вообще их берет, и мне показалось, что он боялся коснуться того, что шло от меня, и ему хотелось поскорее со мной проститься. Я сейчас от него: вы поймете сами, что на душе у меня неспокойно.

В голосе ее звучало мучительное томление, и мне сделалось нестерпимо жалко эту девушку, которая очутилась перед лицом роковых вопросов. В непроизвольном порыве я взял ее под руку.

— Елена Георгиевна, вы не должны думать обо всей этой ерунде. Надо отдохнуть, стряхнуть с себя такие мысли, и вы увидите, что скоро все пройдет, как дурной сон, и вы будете снова здоровы и счастливы. Жизнь быстро вас утешит, если вы оставите этот дурман; пусть он рассеется, как гнилой туман с болота...

Моя спутница вдруг остановилась и высвободила руку.

— Вот мой дом. Мы пришли.

Я растерянно стал бормотать слова прощания, но она меня удержала.

— Зайдите ко мне.

— Но удобно ли в такой час?

— Я живу с матерью, и она теперь работает ночью, а соседи не будут знать, да им и все равно. Поверьте, что мне сейчас ничего не может быть хуже, как остаться одной. Посидите со мной несколько минут: мне так будет легче.

Я не возражал больше, и мы вошли. Повернувшись к двери налево от главного входа, Елена Георгиевна щелкнула ключом, потом выключателем, и провела меня в изящную комнату, обставленную несколько лучше среднего эмигрантского уровня. Я сел на диван около маленького круглого столика, хозяйка — напротив меня. Она достала из ящика письменного стола коробку папирос, предложила мне, нервно закурила сама, глубоко затягиваясь; через несколько минут ее рука потянулась к полочке с книгами у стены, рядом с нами.

— Я хочу попробовать, — сказала она таким тоном, что я понял бесполезность ее отговаривать. — Вот на этой полке у меня собраны одни русские поэты; на той, ниже — иностранные. Посмотрим, что они мне скажут.

Она раскрыла книгу и начала читать; с первой строки ее лицо побледнело, и голос задрожал:

Пускай холодною землею
Засыпан я,
О, друг, всегда, везде с тобою
Душа моя...

— Это страшно! — прошептала девушка, словно обращаясь к самой себе.

Я постарался рассмеяться самым натуральным образом.

— Дорогая Елена Георгиевна, если вы берете Лермонтова, вы всегда должны быть готовы к романтическим излияниям в этом роде. У него ведь на каждом шагу и Демон, и Ангел Смерти, и Азраил... и Черный Монах... и кинжал, и отрубленные головы... и слова, которые «текут холодным ядом»... Решительно, вам еще выпало довольно скромное место. А если бы вы гадали по поэту повеселей, смысл предсказания оказался бы совсем иной.

Казалось, мои слова произвели на Елену некоторое впечатление. Она задумалась, потом сказала:

— Возьмите сами с полки любую книгу наугад, раскройте и дайте мне.

Под ее внимательным взглядом я выбрал небольшого формата томик; протягивая его ей, я заметил на корешке надпись: «Полежаев». Глухо, словно издали,

словно против воли, но со странной выразительностью прозвучал голос Елены:

Кто видел образ мертвеца,
Который демонскою силой,
Враждуя с хладною могилой,
Живет и страждет без конца?
В час полуночи молчаливой
При свете сумрачной луны,
Из подземельной стороны
Исходит призрак боязливый,
Бледно, как саван роковой,
Чело отверженца природы,
И неестественной свободы
Ужасен вид полуживой.

Струйка леденящего холода, словно снеговая вода, пробежала по моему позвоночнику; мне вдруг почудилось, что в комнате потемнело и контуры всех вещей заволоклись дымом; какое-то затхлое дыхание ощутимо повеяло передо мной. Елена взглянула на меня, будто ожидая новых успокоений, но у меня язык просто не поворачивался; наступившее молчание стало невыразимо тягостным.

— Ну вот, я возьму на этот раз Пушкина; он один из самых светлых и бодрых поэтов на свете... и из самых лучших... увидим его ответ на мои вопросы...

Большой фолиант, уютный, таящий в себе память тысяч любовных прикасаний, тихо лег на столик, покрыв его наполовину. Решительным жестом Елена распахнула книгу:

О, если правда, что в ночи,
Когда покоятся живые,
И с неба лунные лучи
Скользят на камни гробовые,
 О, если правда, что тогда
 Пустеют тихие могилы —
 Я тень зову, я жду Леилы:
 «Ко мне, мой друг, сюда, сюда!»

Я не сразу решился поднять глаза на Елену; должен признаться, меня пугало различить на этих живых, непрестанно меняющихся чертах, к игре которых я уже

привык, выражение отчаяния, выражение человека, кому прочли смертный приговор; самое скверное, это что я не находил больше никаких аргументов к опровержению этого дикого гадания. Когда же я все-таки посмотрел на нее, я увидел совсем другое, пожалуй, худшее; унылый, спокойный взгляд, в котором пробивалось непонятное удовлетворение и полное фатализма спокойствие; можно было подумать, что она рада тому, что, наконец, все сомнения рассеяны, правда ей известна, и она знает теперь, что нужно сделать.

— Если уж допускать осмысленность подобных предсказаний, давайте и я попробую, — прервал я молчание, придавая своим интонациям, насколько мог, бодрый характер и придвигая к себе Пушкина. — Только у меня, по правде сказать, личной жизни почти нет: она вся сплетается с политической борьбой. Посмотрим, сумеет ли мне Александр Сергеевич что-нибудь сообщить на этот счет!

Я перевернул несколько страниц, выбрал одну из них, бросив наугад взгляд, и мое внимание остановилось на строках:

Товарищ верь! Взойдет она,
Заря пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна...

На этот раз я улыбнулся вполне искренно.

— Теперь вы можете убедиться, Елена Георгиевна, насколько нелепо значение, которое мы придаем этой глупой забаве. Мне, монархисту, выходят слова об «обломках самовластья». Смешнее, более некстати, право, уже ничего не может и быть.

Но Елена покачала головой, серьезно и задумчиво.

— В наши дни, да еще среди нас, эмигрантов, если говорится о самовластьи, без труда угадывают, о каком. Я рада за вас, и вообще рада: лучше предсказания, пожалуй, не придумаешь на заказ. Однако, если уж на то пошло, загадайте о вашей личной судьбе.

Для разнообразия я вытащил с нижней полочки маленький томик Альфреда де Виньи в элегантном черном переплете.

Мне попалась «Смерть волка»;

Le loup le quitte alors et puis il nous regarde,
Les couteaux lui restaient au flanc jusqu'a la garde,
Le clouaient au gazon tout baigne' dans son sang,
Nos fusils l'entouraient en sinistre croissant.
Il nous regarde encore, ensuite il se recouche,
Tout en léchant le sang répandu sur sa bouche,
Et, sans daigner savoir, comment il a péri,
Refermant ses grands yeux, meurt sans jéter un cri *.

— Что же, — проговорил я после короткой тишины, поддаваясь обаянию несравненных александрийских строф, — это уже не предсказание, это совет... И совет подходящий. Да, я желал бы умереть так, стиснув зубы, как волк, в непреклонном бою, не убегая и не прося пощады...

Во взгляде Елены мелькнуло сочувствие; потом она медленно, словно нехотя, поднялась и протянула мне руку.

— Уже поздно; вам надо отдохнуть, да и мне тоже. Спасибо вам: мне приятно иметь подле себя друга в эти минуты: без вас мне было бы куда тяжелей. — Она сказала это тепло и по-товарищески, и в ее зрачках замерцал на мгновение мягкий свет.

Может быть, мне не следовало уходить. Если бы я остался еще с нею, многое могло бы измениться, и моя душа не знала бы теперь тех мучительных упреков, какие мне часто мешают спать по ночам. Но как я мог? Правда, в тот миг, когда я сжал в руке ее холодные тонкие пальцы, мною овладела такая безумная жалость и нежность к этой бледной синеокой девочке, что я с трудом подавил в себе желание взять ее в объятия, приласкать, как ребенка, поклясться ей, что моя любовь защитит ее от любого наваждения, не допустит никаких призраков до нее дотронуться, хотя бы все адские силы на меня восстали, что я заставлю ее забыть обо всем, и вырву ее у нее самой... Но мы все привыкли откладывать вещи на завтра. Разве я знал, что этого завтра не будет?

* Волк бросает загрызенного им пса и поворачивается к нам.
Ножи, всаженные по рукоять ему в бок,
Пригвождают его к окровавленной земле;
Наши ружья окружают его зловещим кольцом.
Посмотрев на нас, он ложится, облизывая кровь,
Покрывающую его морду,
И, не стараясь разобрать причину своей гибели,
Умирает, не издав ни звука.

***

Только что прошедший дождь освежил воздух, и я жадно втягивал его в легкие, словно вырвавшись из удушливой атмосферы; огоньки фонарей весело искрились в десятках луж на асфальте; вид глухого парижского тупика представился мне почему-то сказочно-прекрасным, будто я вернулся к жизни, выйдя из могилы; было сыро и холодно, но от ходьбы я быстро согрелся...

На следующий день, лишь только я позвонил у подъезда Елены, возбужденная консьержка мне сообщила, что ее уже нет в живых, и словоохотливо засыпала меня подробностями.

Помню, я слушал ее пораженный, прислонившись к стене, не в силах вымолвить звука... Мать, вернувшись с работы, нашла Елену мертвой в постели; около нее на столике флакон снотворного, чрезмерную дозу которого она приняла...

Инцидент наделал шуму и попал даже во французские газеты, где фигурировал под заголовком: «Несчастный случай или самоубийство?» Конечно, я скорее склонен думать, что это было самоубийство. Хотя иногда в мой мозг закрадывается сомнение: она ли сама пожелала уйти к своему страшному возлюбленному, или его рука, протянутая из неведомых пространств иного света, прикоснулась к стакану у ее изголовья?

ХРАНИТЕЛЬ

*Cave ne eas!**

В тот час, когда все улицы Парижа внезапно заполняются человеческой массой, непрерывным потоком льющейся из дверей различных учреждений, — в полдень, или, чтобы быть точным, в десять минут первого одного ясного и жаркого весеннего дня, на площадь Конкорд вышел из конторы общества «Эклэр Пюблисите» худощавый молодой человек среднего роста. Его лицо с черными живыми глазами было если не красивым, то привлекательным, но в этот момент на нем лежал отпечаток какой-то растерянности и нервности, выдававшей себя невольными движениями заложенных за спину тонких пальцев его рук и взглядом, которым он бродил по мостовой, низко опустив на грудь темнорусую голову.

Он весь вздрогнул, когда его внезапно окликнули по фамилии, и, подняв голову, с удивлением смерил глазами высокого светловолосого мужчину, остановившегося напротив него.

— Простите меня, мсье де Серпиньи, — учтиво сказал незнакомец, — инспектор Ле Генн из Сюрте Насиональ. Мне хотелось бы с вами поговорить. Неприятно занимать время вашего обеденного перерыва... Но, может быть, мы могли бы пообедать вместе в вашем обычном кафе? Или это вас стеснит?

По лицу Серпиньи на протяжении секунды прошла целая гамма чувств: изумление, испуг, вызов...

*Берегись, не ходи!

— Если разговор короткий... я думаю, что так? Зайдем в сад и там, на скамье, мы сможем беседовать не стесняясь, без свидетелей.

Через несколько минут они расположились в тени, на террасе Тюльерийского сада, высоко поднимающейся над улицей Риволи и безлюдными в этот час усыпанными гравием дорожками. Широкая площадка была пуста, лишь в отдалении одинокая старушка прогуливала двух собак...

— Итак, чем могу служить? — с недоверием и настороженностью, смешанными с любопытством, спросил молодой человек.

Его собеседник слегка склонил голову.

— Я надеюсь, вы извините меня, если некоторые из моих вопросов покажутся вам нескромными. Заверяю вас, вы в дальнейшем увидите, что я имею серьезные основания вам их задавать. Знакомы ли вы с мсье Анри Ламаром, архитектором?

— Да, сударь, несколько лет. Почему вас это интересует?

— Это имеет некоторое значение для последующего. Некоторое время тому назад вы представили мсье Ламару и его дочери некоего мсье Эдмона Берже, вашего товарища по лицею. Если я не заблуждаюсь, однако, мсье Берже никогда не был вашим близким другом... — в тоне инспектора прозвучал вежливый вопрос.

— Поскольку вы знаете, я не вижу нужды скрывать, что никогда не любил особенно Берже. Еще подростком, когда мы встретились с ним в лицее Мишле, он был плохим товарищем, всегда страшно самоуверенным и эгоистичным... Так это о нем вы хотите разузнать? За ним есть что-нибудь?

— Нет. Но вы, кажется, имели основания пожалеть, что ввели его в дом Ламаров?

Серпиньи поколебался; кровь на мгновение бросилась ему в лицо; потом он тряхнул головой и ответил прямо, почти резко:

— Имел. Я сделал серьезную ошибку. Он несколько раз ставил меня в неприятное положение, стараясь сделать меня смешным в глазах Габриэли, пользуясь тем, что я не всегда мог сдержать свое раздражение по поводу его шуток. А перед ее отцом... Он ловко подчеркнул мою мате-

риальную необеспеченность; хотя это далеко не правда: я как раз скоро получу повышение по службе, и он знает, что рано или поздно ко мне перейдет имение моего дяди в Пуату... Хотя все это не имеет отношения к делу.

— Больше, чем вы думаете. Несмотря на все эти обстоятельства, вы сохранили внешне приятельские отношения с Эдмоном Берже; и недавно вы предложили ему провести летом отпуск вместе в Бретани. В районе Керпен Ир, в Морбигане, если я не ошибаюсь?

Серпиньи не мог удержаться от жеста изумления.

— Это все верно; но как вы могли узнать? Разговор между нами был только вчера вечером. Или сам Берже..?

— Не торопитесь с заключением. По случайному совпадению, я знаю эти места. Вы там уже бывали?

— Да, прошлым летом.

— Живописный край, хотя довольно мрачный. Особенно хороши прибрежные скалы, с их отвесными кручами, откуда открываются такие красивые виды. Но они столь же опасны, сколь привлекательны: один неверный шаг в тумане, сорвавшийся на тропинке из-под ног камень... башмак, соскользнувший на мокром от дождя граните... и неосторожный путник летит вниз, в бездну, где его труп подберут лишь через долгие часы, среди обрызганных кровью валунов отмели... если его не унесет прежде море в час отлива...

Ле Генн пристально смотрел на гравий площадки, лежавшей перед скамьей, словно избегая встретиться глазами с Серпиньи, лицо которого побелело как лист бумаги.

— Легкий толчок... И освободиться навсегда от соперника, наказать человека, поступившего низко, оскорбившего и обманувшего своего друга. Но потом? Не будет ли его тень всегда стоять между вами и счастьем? Поверьте, мсье де Серпиньи, что я больше всего думаю о вашей собственной судьбе. Больше, чем об участи Берже, — которому в моральном отношении грош цена. И больше, чем об интересах правосудия, — это ведь, в конце концов, абстракция. Но вы происходите из семьи, в которой несколько сот лет принципы чести и веры стояли всегда на первом месте. Мне не

хотелось бы, чтобы вы в двадцать два года испортили навсегда жизнь одним неосторожным, но непоправимым поступком...

— Впрочем, — добавил он после короткой паузы, — я не думаю, чтобы вы это все же сделали теперь, когда вы знаете, что действительные причины подобного несчастного случая не остались бы втайне.

Молодой человек с трудом перевел дыхание и судорожным движением стал искать в кармане папиросы, которых у него не было.

Инспектор любезно протянул ему свои, чиркнул спичку и дружески ему улыбнулся.

— Нет, я этого не сделаю, мсье Ле Генн... И... спасибо вам. Это меня вы удержали на краю пропасти. Но скажите, каким образом, откуда вы могли знать? Знать то, что я только думал, никому не раскрывая, в чем самому себе не решался признаться?

В его взгляде, устремленном на Ле Генна, читалось что-то, похожее на восхищение.

— Теперь я могу сказать вам это, мсье де Серпиньи, так как у меня есть основание думать, что вы мне поверите. И я хочу, чтобы вы знали, что я явился на этот раз только орудием в руках Провидения. Три ночи подряд мне снился один и тот же сон: я видел утесы над Морбиганским заливом и двух молодых людей на тропинке. Видел, как один из них сталкивал другого в море, и его бледное, решительное лицо прочно врезалось мне в память. Ваше лицо, Серпиньи... И когда я встретил вас у входа в метро Конкорд, месяц тому назад, я не поколебался проследить вашу дорогу — все это часть моего ремесла — и навести справки... Вот почему я смог сделать вам предупреждение.

— Между прочим, — добавил он несколько минут спустя, — я выяснил попутно некоторые вещи о вашем приятеле Берже. Например, его связь с мадам Брейль, с которой вы тоже знакомы. Я думаю, эта история так или иначе дойдет до сведения мадемуазель Ламар. Женщины в таких случаях реагируют по-разному, но она, сколько я понимаю ее характер, отнесется к этому делу весьма сурово. Весьма вероятно, вы выйдете победителем из турнира, даже не прибегая к радикальным средствам...

ВАМПИР

Und zu saugen seines Herzens Blut.
Johann Wolfgang Goethe.
«Die Braut von Corinth»*

Странно, я не могу припомнить, от кого первого услышал о мадам Андриади. Я уже о ней кое-что знал, когда знакомая дама рассказала мне, что в церковь советской патриархии, на улице Петель, ходит женщина-вампир; что несколько лет назад она едва не погубила одну девушку, которую довела до нервного расстройства и которая спаслась из ее когтей лишь тем, что ушла в монастырь.

В этот период я был в наилучших отношениях с Лидией Сергеевной и, сидя через неделю или две у нее в гостиной, упомянул об этих случаях, отзываясь о них, как о явном и комичном вздоре.

Мать Лидии, Мария Борисовна, подняла на меня свои умные серые глаза, скрытые за большими очками.

— Я бы не решилась говорить так определенно, — сказала она. — Я угадываю, кто эта женщина. Ее зовут Юлия Васильевна Андриади.

Это был первый раз, что я услышал имя, которое теперь не мог бы, как бы ни хотел, никакими усилиями вырвать из памяти.

— Не может быть, однако, чтобы она в самом деле была упырем? — спросил я, стараясь выказать больше скептицизма, чем в реальности чувствовал. Я уже несколько лет жил в Париже и в глубине души отдавал себе отчет в том, что, когда речь идет об этом городе, есть очень мало вещей, о которых твердо можно сказать, что они невозможны.

*И его я высосала кровь. Гете. «Коринфская невеста».

— Я этого не стану утверждать, — отозвалась Мария Борисовна, — но я знаю, что доктор Сарматов два раза делал девушке, которой касается эта история, переливание крови и что он описывал случай, как небывалый в своей практике: вся кровь меньше, чем за сутки, исчезала, и на следующий день пациентка вновь стояла на пороге смерти, так как ее жилы оказывались почти пустыми. Вампир ли она или нет, но прошло уже двадцать лет с тех пор, как я встретилась с мадам Андриади в первый раз. За эти годы я стала из молодой женщины старухой, а она совершенно не переменилась. Иногда я замечаю, что она слабеет, а потом опять вижу ее помолодевшей, здоровой и веселой. В такие дни я думаю про себя: нашла себе новую жертву. Та девушка — не единственная, кому знакомство с Юлией Васильевной не принесло добра. Было другое происшествие, с молодой француженкой; та не сумела бежать, и умерла от разрыва сердца. Во всяком случае, эта дама у нас никогда не перейдет через порог, хотя ей, видно, этого и хочется... Одно дело — найти естественное объяснение; другое — наблюдать факты, делать из них выводы и вести себя осторожно там, где грозит опасность. И вам, — добавила она, наверное прочтя в моем взгляде любопытство, — очень не советую с ней знакомиться.

В этот момент я не собирался этого знакомства искать. Позже это оказалось для меня необходимым.

***

Бывают знакомые, с которыми интересно поговорить о литературе, с другими о политике; бывают такие, с которыми приятно вместе развлекаться, и такие, у кого всегда можно получить хороший практический совет. И бывают такие, самые драгоценные, с которыми просто приятно побыть вместе.

От одной очень умной женщины, Натальи Николаевны Лобановой, я когда-то услышал рассуждение, сперва поразившее меня своей зловещей и циничной формой, но которое я впоследствии находил чем позже, тем более верным и глубоким.

— Мы все, — сказала она, — или вампиры, или жертвы вампиров. Почему нам порой нестерпимо тяжело с человеком, как будто не говорящим и не делающим нам ничего неприятного? Почему после иной встречи мы чувствуем себя разбитыми, почти больными? И в то же время четверть часа с другим, даже не особенно близким человеком, придают нам бодрость на целый день? Дело в том, что одни поглощают нашу жизненную энергию, а другие пополняют. Флюиды одних мы бессознательно, с жадностью пьем, другие пьют наши. Вы жалуетесь на беспричинную усталость и меланхолию: я могу вам их объяснить. Среди кого вы вращаетесь на ваших политических собраниях и заседаниях? Вокруг вас старики, почти сплошь одинокие и бездетные, близкие уже к могиле, но полные еще честолюбия и вожделений, цепко хватающиеся за жизнь. Они высасывают наши силы; вот почему вы чувствуете себя за год постаревшим на десять лет; и если вы не перемените среду, вы рискуете заболеть... если не хуже... Да, я знаю, вы скажете, что есть люди, которые взаимно приятны; что же, это случай, когда излучения одного пополняют силы другого и наоборот. Так и бывает, например, всегда при счастливой любви.

Флюиды, которые я встречал в маленькой квартирке около метро Коммерс, были для меня, должно быть, очень благоприятны. На ее пороге, от одной приветливой улыбки хозяев или вернее хозяек, у меня на душе становилось спокойно и ясно, и меня охватывало почти физическое ощущение тепла и уюта.

Надежда Андреевна была еще молодая женщина, хотя и старше меня, и принадлежала к той же единственно близкой мне среде новой эмиграции, на личном опыте изведавшей прелести советского рая и великодушие демократических держав. Но, как часто бывает среди нас, никакие затруднения не оказались для нее непреодолимыми. Не имея ни копейки, в чужой стране, не зная языка, — устроить себе бумаги, найти службу, работать целый день и всегда быть готовой поболтать и посмеяться, — все это было ей нипочем. Старые эмигранты дивились, кто дружески, кто с завистливой

враждебностью, на ее несокрушимую и веселую жизнеспособность.

Я был знаком с Надеждой Андреевной всего три года, но мне казалось, что ее дочку Любу я знал чуть ли не с колыбели. Может быть, потому, что за это время, с двенадцати до пятнадцати лет, она так сильно выросла у меня на глазах. Мне довольно было взглянуть на ее черную челку и большие и наивные глаза, чтобы скинуть с плеч все заботы и испытывать только желание шутить и дурачиться, словно я становился ее ровесником; и я мог часами безо всякой скуки слушать ее щебетание, где забавно мешались русские слова и французские, чаще всего о последних фильмах, большую часть которых она не видела, но хотела бы посмотреть. Сколько бы у меня ни лежало денег в кармане, я еще никогда не входил в эту комнату, под самой крышей ветхого старого отеля, без коробки конфет или хотя бы плитки шоколада; ни за что не хотел бы потерять удовольствие поглядеть, как все это быстро исчезало под ее зубами.

В этот вечер мне пришла нелепая идея развлечь Надежду Андреевну и Любу страшным рассказом (обе, а Люба особенно, как почти все девушки, обожала жуткие истории), и я передал им все накопленные мной сплетни о мадам Андриади. Только встретив расширившиеся от ужаса карие глаза девочки, я спохватился, что на этот раз пересолил.

— Мама, а что если она придет сюда? — совсем по-детски спросила Люба.

— Да неужели вы всерьез поверили в такую сказку? — поспешно откликнулся я. — Все это я только придумал, и таких женщин вообще нет на свете, и уж конечно в Париже. Можно ли себе вообразить вампира, катающегося в метро, звонящего по телефону, ходящего в кинематограф? А знаете, по дороге к вам, я заметил афишу нового фильма с Сесиль Обри... вы его уже смотрели?

Прием подействовал, и к концу вечера я мог еще раз просмотреть альбом Любы с коллекцией всех кинозвезд обоего пола, прослушать ее план написать роман с

похищениями и убийствами на каждой странице и обсудить, куда она поедет с мамой в путешествие на вырученные от издания деньги.

Только когда я был на полдороге домой, я заметил какое-то беспокойство, постепенно пробивающееся через приятное настроение, смесь веселья и нежности, которые я унес с собой с темной улочки близ Коммерс. Что это за тень омрачала мои мысли? Я взглянул внутрь себя, и вдруг мне ясно вспомнились объяснения из какого-то старого оккультного романа: «Вампир в первую очередь выбирает жертв среди тех, кто знает о его существовании и его боится. Страх, и вообще всякая постоянная мысль о нем, передается ему даже на расстоянии и служит нитью, привязывающей и ведущей к жертве: тем более, что, по странному свойству человеческой натуры, к этому страху нередко примешивается любопытство, и даже желание увидеть чудовище...»

— Надо будет поменьше читать дряни, — лениво подумал я, — начинает мне действовать на нервы. Это все влияние Лидии Сергеевны...

***

Прошло больше трех недель, пока я собрался посетить Надежду Андреевну. В маленькой каморке было в этот летний день жарко, но я почувствовал, что рука Любы, которую я пожимал, непривычно холодна, и, взглянув на нее внимательнее, удивился происшедшей в ней перемене. Ее румяные щеки были бледны, как алебастр, глаза казались больше от синих теней возле них, круглое личико удлинилось, став тоньше и словно задумчивее. Но больше всего меня взволновало неуловимое выражение в ее чертах... какая-то смесь апатии, затаенного страха и покорности, скрытые в глубине и лишь проблесками появившиеся на поверхности.

— Что это с вашей дочкой? — спросил я у Надежды Андреевны.

На лице у той мелькнуло беспокойство, но она быстро его подавила.

— Должно быть, растет слишком быстро. Говорят, малокровие и нервы. И правда: по ночам кричит, вскакивает или не может заснуть. А я, как нарочно, сплю как сурок, особенно когда наработаюсь. Что это тебе сегодня снилось, Любочка?

— Ужасно противное... Больше всего летучие мыши снятся, а иной раз черные кошки. Но знаешь, мама, сегодня мне это не снилось: я проснулась и увидела на подоконнике большого черного кота. И так напугалась, что бросила в него книгой, и сегодня утром побежала за ней во двор и нашла ее под нашим окном.

— Откуда бы это? В отеле как будто ни у кого такого нет... С крыши из другого дома, верно. Надо, пожалуй, закрывать окна на ночь, да ведь душно... А впрочем, чего же бояться кошек?

— Я не боюсь, только не пойму, откуда у меня на шее вот эта царапина? Третьего дня вечером не было, а утром видите, какая?

— Лучше закрывайте! — поддержал я, чувствуя, что бледнею. — Ну а вы что же, Любу послали к доктору?

— Как же, к Сарматову. Мы давно у него лечимся. И знаете — такой чудак! — что он прописал? Говорит, пусть непременно ест побольше чесноку. Уж я ее никак не могу заставить.

— Я не буду, мама! — закричала Люба. — Надо мною уже все девочки в школе смеются. Ни за что больше в рот не возьму...

Меня взяло раздумье. Насколько чеснок помогает от малокровия — я не очень хорошо знаю, но что он на Балканах и в Средней Европе считается лучшим средством для отогнания нечистой силы, это я помнил определенно. Рецепт доктора Сарматова показался мне при данных обстоятельствах весьма уместным...

— Вот что, Люба, — сказал я как мог убедительно, — докторов всегда надо слушаться. На следующей неделе я спрошу Надежду Андреевну, все ли вы выполняли, и если да, принесу вам коробку (самую большую, какая найдется в магазине) тех конфет, что вы больше всего любите.

— Pâtes d'amande, alors!*

— Ладно.

Выходя от Надежды Андреевны, я задержался в темном коридоре, отломил кусочек извести там, где знал, она осыпалась, и начертил им на дверях моих друзей пентаграмму. По счастью, я хорошо помнил ее форму. Но окно? В нем-то, кажется, и опасность...

***

Старого доктора Сарматова я разыскал без труда. Его добрая половина эмиграции знала и любила. Я почувствовал себя сразу хорошо и просто с этим милым русским интеллигентом, напомнившим мне живо врачей, друзей отца, которые, бывало, у нас собирались за столом в годы моего детства. Представившись как старый знакомый Надежды Андреевны, я сказал, что беспокоюсь о здоровье Любы и хотел бы знать точнее, что у нее такое.

Доктор слегка пожал плечами.

— В данный момент ничего серьезного. Острое малокровие и немного нервы не в порядке. Может быть, от переходного периода; весьма вероятно, что через месяц будет здорова. С другой стороны, я не уверен, что нет какой-нибудь другой причины и не возникнет осложнений. Надо немного подождать. Пока не нахожу ничего опасного ни в легких, ни с сердцем, — и, поколебавшись, он прибавил: — перемена климата могла бы быть бесспорно полезна, да ведь трудно в наших эмигрантских условиях...

— Видите ли, доктор, — начал я невинным тоном, — я себя упрекаю за одну неосторожность, и хочу вам ее изложить. Я недавно рассказал при Любе одну историю, которая, боюсь, произвела на нее слишком сильное впечатление и могла тяжело подействовать на ее психику.

И я в подробностях передал врачу толки о мадам Андриади.

Его лицо омрачилось, как может быть бывало, когда он должен был поставить неприятный диагноз.

* Тогда миндальных!

— Ваша неосторожность, пожалуй серьезнее, чем вы думаете. Если бы тут вопрос был только в психической травме! Но есть и другое. Ах, не в первый раз попадается на моем пути эта Андриади...

— Будем говорить начистоту, доктор. Я не могу допустить, чтобы на моей совести остался такой страшный упрек: быть виновником, хотя бы и неумышленным, подобной трагедии. Притом эта девочка дорога мне, как если бы она была моей дочкой или сестренкой. Расскажите мне все, что вы знаете. Так или иначе, я приму свои меры: но нам не повредит посоветоваться.

До позднего вечера сидели мы при лампе в холостяцкой квартире Сарматова: то понижая голос, то опять спокойным тоном лектора рассказывал он мне невероятные факты из своей практики; мы живо спорили над тем или иным определением в трактатах средневековых схоластов и юристов Ренессанса; обсуждали финские и румынские поверья, и все, сплетаясь клубком, вело нас к страшным техническим деталям предстоящей тяжелой работы, от которой уклониться не позволял долг...

***

В обычные дни я, если уж не мог миновать улицы Петель, переходил на другую сторону, чтобы не идти рядом с квадратным зданием с надписью славянской вязью: церковь советской патриархии в моем представлении была не храмом, а капищем, и, как я говорил друзьям, я не удивился бы, увидев, что в ней на алтаре сидит Сатана и помахивает хвостом.

Но в это летнее утро, я чинно стоял там на обедне, пристально разглядывая молящихся, которых было немного. Имея ее приметы, мадам Андриади я узнал без труда. В переднем ряду стояла среднего роста женщина с платиновыми, вероятно крашеными волосами. Несколько раз она оборачивалась, и я схватывал бледное лицо с ярко красными от губной помады губами: один раз их искривила усмешка, в которой было выражение до того жестокое и зловещее, что меня передернуло.

На вид случайный наблюдатель сказал бы, что это молодящаяся дама лет под сорок, которой в удачный момент можно дать и тридцать пять; но от Сарматова и Марии Борисовны я знал, что ей, во всяком случае, не меньше шестидесяти. В ней было что-то... ненастоящее. Не парик или вставные зубы или белила... нет, словно все ее тело было футляр, скрывающий нечто совсем иное, о чем я невольно думал, как о холодной и скользкой змеиной чешуе, как об оскаленных челюстях вечно голодного крокодила.

На улице, недалеко от выхода из церкви, я согнулся в галантном поклоне:

— Извините меня, Юлия Васильевна. Мне бы очень хотелось с вами побеседовать по одному делу. Здесь неудобно, но если бы я мог к вам зайти...

— Пожалуйста, буду очень рада, — кровавые уста улыбались на этот раз приветливо до слащавости, но оловянный взгляд, упертый в мои зрачки, был давящим и тяжелым. Я не опустил глаз.

— Только я так поздно кончаю работу... Вы не слишком рано ложитесь?

— Наоборот, очень поздно. Завтра, часам к одиннадцати вечера, хотите? Я тоже о вас слышала, мсье Рудинский, и с удовольствием познакомлюсь с вами ближе. Я живу...

Адрес и даже расположение квартиры были мне уже известны. Я принял необходимые меры предосторожности...

***

Я надвинул шляпу на глаза, но улица была совершенно пустынна: дверь большого дома не была заперта, и консьерж не взглянул на меня, когда я проскользнул мимо его комнаты к лифту. Квартира мадам Андриади занимала целый этаж, и никакие соседи не могли слышать моего звонка.

Она открыла мне сама: я знал, что горничная не остается на ночь. Под любезной маской я прочел не

радость, а торжество: ликование дьявола, вцепляющегося в беззащитную добычу...

Мы прошли несколько комнат, причудливо и довольно безвкусно убранных: аквариумы, статуэтки, ковры, тигровая шкура на полу... со стен смотрели маски монгольских злых духов, скалил зубы чудовищный бог смерти Кала Нага, плясала на большом панно кровожадная Кали в ожерельи из черепов...

— Садитесь и расскажите, чем я могу быть вам полезна, — улыбалась хозяйка. — Позвольте вам налить вина. Правда, какого оно красивого цвета?

В бокале пурпурная жидкость казалась кровью.

Я не мог отказаться: ледяная влага перехватила мне дыхание, потом обожгла, как расплавленная медь; но хозяйка налила себе из той же бутылки и медленно отпивала, глядя, как преломляются лучи света о рубиновую поверхность жидкости.

В моей левой руке был пакет, похожий на свернутый чертеж. Я положил его на буфет, извиняясь, что работаю по вечерам в чертежной конторе, и не имел возможности зайти домой; затем начал плести длинную историю о том, как много о ней слышал, как меня интересовали ее познания в оккультных науках, за пределами доступного простому смертному, как много мне могло бы дать знакомство с нею...

— Но я не отнимаю у вас времени? Может быть, вы могли бы провести его приятнее, чем слушая мои просьбы и вопросы? — перебил я сам себя через некоторое время.

— Нет, я не жалею для вас времени. Если бы не вы, я думала нанести сегодня визит одной молоденькой девушке... но я это сделаю позже.

— Да вы, кажется, отдаете предпочтение собственному полу перед мужским, Юлия Васильевна. Боюсь, что мы представляем для вас мало интереса, — под бледными фразами чувствовалось, как скрещивается сталь, как растут напряжение и угроза. Я перехватил между тем, несколько взглядов, брошенных хозяйкой на часы, где стрелка медленно ползла к двенадцати.

— Вы в принципе правы, — проговорила мадам Андриади небрежно. — Мы, женщины, ближе друг к другу, и нам легче одной от другой получать запас новых сил... моральных, конечно... чем от мужчин, которые совсем иные существа. Многие женщины, впрочем, в остальном похожие на меня, предпочитают чужой пол. Но мужчина, как вы, молодой, полный энергии, может заинтересовать и меня... надеюсь, наша встреча для нас будет успешной и приятной во всех отношениях. Вы хотите приобщиться к нашему миру? Раз вы приняли решение, будьте спокойны, я вам помогу... ничто меня от этого не удержит... моей воле нет препятствий, как той стрелке, которая сейчас показывает двенадцатый час.

Гибким движением мадам Андриади поднялась на ноги и, обходя длинный стол, двинулась ко мне. В ее походке было нечто танцующее... но более похожее на ритуальные пляски востока, чем на европейские танцы... и в то же время нечто грозное неотвратимое.

— Вы войдете в наш мир, раз вы вошли в мои покои. Я вам подарю наши радости и нашу силу. Радость летать в лучах луны, чувствовать горячую кровь на губах, любить любовью, которая убивает... бросать вечный вызов Богу и природе, таинственно общаться с теми, кто живет в великой бездне... Ты замышлял меня погубить, но, безумный, ты встал на путь, которого не хотел. Никто не видел, как ты вошел, и не увидит, как ты выйдешь... И если ты выйдешь, то будешь уже иной.

Ее руки вытянулись ко мне, лицо озарилось странным экстазом, придавшим ему демоническую красоту, глаза сияли... зубы под раздвинувшимися губами, большие, белые, блеснули, как клыки...

— Ты думал об этой девочке... Но она моя... Потом, может быть, в нашем мире, ты встретишь ее...

Пальцы, как когти, тянулись к моим плечам: я отступил на шаг к буфету. Из горла существа передо мной (я бы не мог назвать ее Юлия Васильевна или мадам Андриади — это был бы нонсенс) вырвался клокочущий смех.

— У тебя нет оружия... и никакое оружие мне не опасно... ни нож, ни пуля...

Нельзя было терять ни секунды. С тем хладнокровием, которое является вдруг в минуту величайшей опасности, когда всякое движение делается быстрым и точным, я в одно мгновение сорвал и сбросил на пол толстую желтую бумагу, и в моих руках остался деревянный кол с остро заточенным концом.

— Ведь дерево, не сталь... да еще осина... — мелькнуло у меня в мыслях — если бы подлиннее, удобнее бы бить... — но тело уже пригибалось, и, сжав свое оружие в руках, я ударил изо всей силы снизу вверх и справа налево. На десятую секунды, застывшую в моем сознании, лицо передо мною изобразило невероятный страх, какого нельзя ни видеть, ни описать на лице обычного человека... Острие вонзилось в мясо, и бредовая фигура передо мной обрушилась на спину...

Ничего за все мое существование не было кошмарнее тех нескольких минут, которые последовали за этим... Я иногда теперь вздрагиваю в веселой компании, бледнею во время путешествия в автобусе, не могу заснуть из страха, что снова увижу во сне то, что мне неумолимо рисует память... Минуты, когда, склонившись над лежавшим навзничь трепещущим ужасом, я налегал всем своим весом на кол, пока не услышал глухой удар дерева о дерево...

И несколько минут потом... Как я смотрел на посинелое лицо у моих ног, подвергавшееся странной метаморфозе... Платиновые волосы на моих глазах превратились в седые лохматые космы... лицо еще молодой женщины превратилось в страшную маску древней старухи... И не прошло пяти минут, как в комнате ясно стал ощущаться все усиливающийся трупный запах.

Это было слишком много для меня. Потушить свет я не был в состоянии, ибо пройти в темноте мимо того, что лежало на полу во все растущей луже крови — словно вся кровь жертв рванулась на свободу — было бы свыше моих сил. Лучше сто смертей, чем это.

Амфилада, через которую я прошел меньше часа назад, представлялась мне лабиринтом: я безо всякой нужды ударялся о стены, спотыкался о стулья; словно для того, чтобы добраться до двери, нужны были века и невероятные, сверхчеловеческие усилия. И в то же время я знал, знал инстинктом, что пока не перейду порога, мне грозит страшная и все приближающаяся опасность.

Выходя на улицу, я уловил слабый, далекий звук раскрывшегося внутри окна...

***

— Asseyez-vous, monsieur Roudinsky. Une cigarette?..

— Merci, monsieur.*

Инспектор напротив меня был старше меня всего на несколько лет, судя по внешности. Соломенные, гладко причесанные волосы, удлиненное лицо, спокойное, с интеллигентным выражением.

— Мы вызвали вас, — заговорил он ровно, — не с целью вас арестовать. Наше правосудие преследует за убийство человека; но есть существа, которые по своей сущности не принадлежат к людскому роду и не могут находиться под защитой государственных законов, тем более, что они являются самыми лютыми врагами граждан, интересы коих наше правительство призвано опекать. Полицейские архивы сохраняют процессы времен инквизиции; и хотя широкая публика не знает и ни при каких условиях не может узнать об этом, опыт, в них заключенный, слишком драгоценен, чтобы мы могли им пренебречь. Действуя самостоятельно, вы брали на себя тяжелую ответственность; но исключительность обстоятельств вас извиняет. Я желал вас видеть только для того, чтобы, во-первых, вы не думали, что от французской полиции можно что-либо скрыть, и, во-вторых, для того, чтобы, если вам еще придется столкнуться с подобными явлениями, вы бы знали, что парижская префектура располагает специальным отделом и кадром испытанных

* — Садитесь, мсье Рудинский. Хотите папиросу?
— Спасибо, сударь.

служащих, которые могут, в случае необходимости, компетентным образом справиться с любым положением.

Он встал.

— Мадам Андриади умерла в результате собственной неосторожности, — его тон сделался официальным, — и мы никого не собираемся преследовать за этот прискорбный инцидент. Впрочем, — взгляд инспектора скользнул по десяткам дел, аккуратно расставленным по полкам его бюро, — это увы, не первый и не единственный случай в нашей практике. Я надеюсь, сударь, что вы сами взвешиваете необходимость хранить самое полное молчание о печальном событии, свидетелем которого вам выпало на долю стать.

Лицо чиновника осветилось улыбкой и стало более простым, человеческим и симпатичным. Он протянул мне руку, и я крепко ее пожал.

Такова была моя первая, но не последняя встреча с инспектором Ле Генном. Позже нам случилось познакомиться ближе.

ДАЧА В ЛЕСУ

They do it with mirrors.
John Collier*

— Еще раз, мой дорогой инспектор, я сердечно благодарю вас за то, что вы так мило и деликатно помогли мне выпутаться изо всех неприятностей.

Ле Генн слегка пожал плечами.

— Совершенно не за что, доктор. Я и не мог поступить иначе: ваше дело было совершенно ясным. Быть иллюзионистом, не значит быть шарлатаном, и я не считаю ваше ремесло менее почтенным, чем любое другое. Что до обвинений в черной магии, они оказались просто ни на чем не основанными. Признаться ли вам? — по губам сыщика скользнула бледная, слегка меланхолическая улыбка, — я был даже несколько разочарован.

Доктор Чандра Дас был, казалось, немного задет этими последними словами.

Собеседники, только что окончившие ужин, сидели за столиком в хорошем ресторане. Поколебавшись минуту, постукивая пальцами по углу стола, доктор, очень высокий и очень худой мужчина со смуглым лицом и длинными черными усами, сказал:

— Да, потому что вы видели меня только на сцене, где многое невозможно. Если бы вы захотели посетить меня в моем доме за городом, я бы вам показал вещи, которые вы никогда не назовете банальными... Да, может быть, поедем туда сейчас? В моем автомобиле путешествие не займет больше часу. Вы не торопитесь?

* Они это устраивают при помощи зеркал. Джон Колльер.

— Что же, я к вашим услугам, если только вы разрешите мне позвонить жене, что я задержусь. Она не удивится: бедняжка привыкла, что это со мной часто бывает.

Инспектор казался заинтересованным. Большой комфортабельный автомобиль плавно и быстро мчался через предместья Парижа, через простор лугов и рощ, через пригородные деревушки, и наконец остановился на широкой прогалине, окруженной лесом, в середине которой стоял просторный деревянный дом в стиле колониальных бунгало. Изумрудная трава поляны была усеяна цветами, нежный и пьянящий аромат которых особенно ясно чувствовался в этот вечерний час, когда заходящее солнце едва успело перестать нагревать землю, и от нее подымается словно бы вздох облегчения.

Ле Генн с наслаждением втянул в ноздри этот запах полей, вызвавший у него мимолетное и сладостное воспоминание о родной Бретани. Хозяин уже отпирал ключом наружную дверь, и, любезно взяв инспектора под руку, вводил его внутрь.

Бросив взгляд вокруг себя, Шарль Ле Генн увидел, что находится в круглой большой зале, однообразие гладких стен которой, облицованных блестящим серым камнем, он не мог сразу разобрать, гранитом или мрамором, прерывалось четырьмя запертыми дверьми; зато нигде не было видно ни одного окна. Но куда же делся доктор? Комната была пуста.

— Это не ахти какой хитрый фокус, — подумал про себя Ле Генн, и от скуки продолжал рассматривать помещение. Теперь его удивило то, что в свете вделанных в стены светильников, вроде больших лампад, он различил над собой круглый свод, представлявшийся глазу бесконечно далеким. Ему ясно вспомнилась плоская удлиненная форма дома, как он его видел снаружи, с его крышей с гребнем.

Поскольку хозяин не возвращался, прождав несколько минут, бретонец решил попробовать наудачу одну из дверей. Она не была заперта и легко поддалась под его рукой.

Жаркое, ослепительное солнце полудня, ударившее в лицо молодому сыщику, заставило его на мгновение отступить назад, но, взяв себя в руки, он снова шагнул через порог.

Он стоял теперь на небольшом балкончике, и под ним, видная с бесконечной высоты, шла прямая, как стрела, и вся в движении, как полноводная река, широкая улица большого города. По ней непрерывным потоком стремились автомобили, и хриплый вой их гудков бессвязным гулом доходил до его ног. Люди ползали взад и вперед, подобные черным насекомым. Напрягая глаза, инспектор смог рассмотреть вдали рекламы, мерцающие синим и красным цветом, но все, что он мог на них разобрать, как слова «Люкс» или «Регина», ничего не сказали ему о том, где он находится. Во всяком случае, это не был Париж; взгляд Ле Генна нигде не встретил ни безобразной махины Эйфелевой башни, ни элегантного контура Сакре-Кер. Да и где в Париже есть такое застывшее море небоскребов, какое представилось сейчас его зрению?

С балкона, окруженного железной решеткой, накаленной летним зноем, был только один выход, через дверь, которой он пришел, и Ле Генн, мучимый любопытством, решил вернуться обратно, чтобы искать объяснений. Едва он вступил снова в полутемный зал, как дверь сама собой мягко затворилась.

Ле Генн дернул за ручку соседней, отделенной десятком шагов. Странное зрелище открылось перед ним. Всего в нескольких метрах начинались отвесные кручи, уходящие ввысь; каменистые стены обрыва запирали горизонт и справа, и слева, со всех сторон. У себя за спиной он увидел такую же голую скалу, с пробитой в ней дверцей, похожей на вход в пещеру. Ле Генн почувствовал себя на дне глубокого ущелья, в каком-то диком, бесплодном краю. С тихим шумом крыл огромные птицы парили на полутемном еще небе... Откуда-то из-за гор медленно вставало солнце; только его первые лучи озарили вершины, придавая им буро-красный цвет, в котором бретонцу почудилось что-то

угрожающее и грубое. Мрачный, наводящий жуть пейзаж страны без людей, отголосок древнего, исчезнувшего мира, мира ящеров и ихтиозавров... Какие-то черепа лежали в дюжине шагов от двери, но Ле Генну было почему-то страшно к ним прикоснуться. На что похож этот ландшафт? Анды, Кордильеры? Глухой угол Перу или Юкатана? Все более томительное чувство овладевало душой инспектора, и сам не зная как, он отступил вновь в глубину залы и захлопнул дверь.

Все те же полутьма и молчание, в которых его шаги гулко звучали по мраморному полу. Любопытство не угасло в сердце Ле Генна, и он, переведя дух, подошел к третьей двери.

Безграничная водная гладь открылась его взору. Темная, чуть колышащаяся поверхность отражала в себе мириады звезд, и лунный свет бежал по ней бледной дорожкой. В отдалении, где-то на конце мира, горело несколько неподвижных желтых огоньков, окна чьего-то спокойного жилища. Было тепло, и веявшая от озера прохлада отрадной свежестью ласкала щеки. Ле Генн нагнулся и погрузил руки в темную влагу. Чуть заметные волны тихо плескались у самых его ног, всего на несколько сантиметров ниже порога. Невыразимый покой веял от этой безмолвной картины. Ле Генн попробовал оставить дверь открытой, но не успел он отойти, как она захлопнулась, словно под движением невидимой мощной руки...

Последняя дверь... Едва она растворилась, как жгучий холод пронизал все тело Ле Генна. Ослепительно белая снежная равнина искрилась под лучами зимнего солнца и мучительно резала глаза... на краю горизонта черной каймой тянулись леса, и из них до слуха сыщика вдруг донесся протяжный заунывный вой, заставивший его вздрогнуть. Дул стремительно усиливающийся ветер, который, не прошло и двух минут, стал поднимать облака снежной пыли. Несколько хлопьев ударили в лицо Генну и упали на мраморный пол. В своем легком пиджаке, он начал дрожать всем телом и, после недолгого колебания, тщательно закрыл дверь, надавив на нее тяжестью корпуса.

— Простите, что я вас оставил одного, мой дорогой инспектор!

В колеблющемся свете лампад, в середине комнаты выросла длинная фигура Чандры Даса. На миг Ле Генну показалось, что все, что он сейчас пережил, было сном. Но на полу, у двери, еще не растаяло окончательно несколько снежинок на поверхности медленно растекавшейся лужи...

— Я был занят приготовлением к оккультным опытам, которые собираюсь вам показать. Простите, если заставил вас ждать. Идемте, все готово...

Бледный инспектор подавил внутреннюю дрожь.

— Благодарю вас, доктор, но я с наибольшим удовольствием вернулся бы сейчас в Париж. Если возможно отложить ваши эксперименты до другого раза...

Белые зубы мага блеснули в торжествующей улыбке.

— Само собой, друг мой, как вам угодно: я всегда буду рад вас видеть в любое время, а сейчас сочту за честь доставить вас домой на моей машине. А может быть, мы заглянем по дороге в какое-нибудь казино или мюзик-холл? Еще не так поздно, и мне бы не хотелось с вами слишком скоро расстаться...

Какой милой показалась взгляду Ле Генна мягкая французская природа, цветущие кусты, засеянные поля, тропинки, весело разбегающиеся под древесной сенью; словно он вернулся из долгого и опасного путешествия по далеким странам... по далеким странам? больше того: из иного мира...

МЕЛКАЯ НЕЧИСТЬ

Ведь у нас в Киеве все бабы, которые сидят на базаре, — все ведьмы.
Н.В.Гоголь. «Вий».

На лето Париж замирает и пустеет; тоска и скука излучаются от раскаленных мостовых на улицах, не оживленных ни пешеходами, ни автомобилями. Оставаться в нем в течение июля и августа тяжело, и потому я с радостью принял приглашение Ивана Ивановича Сорокина провести на его даче несколько дней, суливших мне краткое избавление от вида все тех же самых пейзажей большого города, каменных зданий, асфальта, витрин...

С Иваном Ивановичем я был связан совместной работой по устройству литературных лекций и общими взглядами на ряд политических и научных вопросов. Много лет назад он — не знаю, как это случилось — приобрел участок земли под Парижем, и теперь ему пришла мысль организовать там лагерь для тех, кому дела или средства не позволяли уехать на лето подальше. Расположенный в лесу, на холме, участок был живописен и давал иллюзию почти первобытной глуши, хотя от столицы его отделял какой-нибудь час пути.

Не думаю, чтобы Сорокины получили большую прибыль от лагеря. Те три или четыре дня, что я там пробыл, в нем находились, не считая самого Ивана Ивановича, его супруги и их племянницы, лишь несколько человек, преимущественно женщин. Одну из этих дам мне назвали при знакомстве Валентиной Семеновной Орловой. На вид ей нельзя было дать больше сорока лет, ее несколько ниже среднего фигурка

была еще стройна, и можно было подумать, что в молодости она была красива. Еще и сейчас она была бы, пожалуй, привлекательна, если бы ее лицо не напоминало остренькую крысиную мордочку каким-то трудно уловимым выражением хищности и хитрости, а может быть, и жестокости.

Не вызвали у меня симпатии и ее по-актерски аффектированные манеры, — она сразу сказала мне, что она артистка, — и обороты речи, типичные для полуинтеллигента, стремящегося показать свою принадлежность к высшему обществу.

Зато разговор с ней перешел на далеко не банальный сюжет. Не помню как, речь зашла о ее недавнем путешествии в Бразилию — в подлинности ее пребывания там меня тотчас же убедили случайно проскользнувшие в ее рассказе два-три португальских слова — и об ее столкновении с макумбой. Читатель, вероятно, знает, что такое макумба? Это негритянская секта в Южной Америке, близкая по своим обычаям к сектам вуду в северной и центральной. Во всех них, привезенные из Африки негритянские суеверия, сохранившись веками в глубокой тайне, переплелись с традициями индейцев, исчезнувших с лица земли антильских племен и с европейскими идеями молитвы и ворожбы. Свирепый и кровавый характер их ритуала не раз описывался в статьях и даже романах (возьмите «Поклонники змеи» Густава Эмара), но белым, кажется, никогда до конца не удавалось проникнуть в суть их мировоззрения, не удалось даже определить, имеем ли мы дело с культом дьявола или стихийных сил.

Для Валентины Семеновны деятельность колдунов макумберра и их паствы была вещью повседневной, кусочком быта. Она спокойно рассказывала, как в первые же дни по приезде ее выгнал из удачно найденной, дешевой и удобной квартиры мулат, которому самому хотелось ее занять, при помощи магических приемов, вызвавших у нее до смерти ее перепугавшие слуховые и зрительные галлюцинации. О том, как специальные священники при церквах разбирают род наведенной на того или иного из прихожан порчи и

подают советы, как от нее освободиться. О том, как ее подругу-артистку едва не довели до гибели, подсунув ей наговоренное платье.

— Надев его, она вдруг почувствовала, будто ей грудь и спину пронзают иголки. Сняла и посмотрела: нет ничего. Через день ей стало плохо, пошла горлом кровь. Врач сказал, что у нее чахотка в последней стадии. По счастью, она нашла патера, умевшего бороться с чарами макумбы: он научил ее, что надо делать, и все прошло. Доктор с изумлением говорил потом, что при новом снимке, каверны в ее легких сами собой исчезли, что с медицинской точки зрения было поразительно... А приворот там производится на каждом шагу. Я много раз наблюдала случаи. Самое страшное, это если девушку сразу пытаются приколдовать двое мужчин: она неизбежно сходит с ума...

Увлекшись, Валентина Семеновна начала было рассказывать мне о своем вступлении в макумбу и участии в полуночном радении, даже о нарочно сшитом для этого платье... но внезапно остановилась и резко перевела разговор на другую тему, обмолвившись, впрочем, что связь с друзьями в Бразилии поддерживает и посейчас.

За те дня три, что я остался в лагере, я мог оценить, что Валентина Семеновна не пользовалась у прочих обитателей большой симпатией. Резкий характер и высокое о себе мнение никак не способствовали ее популярности, и, проведя с ней несколько недель вместе, почти все с ней были холодны и ее избегали. Было, впрочем, одно исключение, которое в моих глазах многое говорило в пользу мадам Орловой и заставляло извинить ее весьма заметные недостатки.

Племянница Ивана Ивановича, Саша, была довольно жалкое существо. Какой-то зловещий наследственный или приобретенный в первые годы жизни дефект задержал ее развитие так, что, не будучи вполне слабоумной, она оставалась в свои двадцать с большим лишком лет на уровне, обычном для детей в одиннадцать или двенадцать. Мучительно заикающаяся, дурная собой

и неуклюжая девушка явно страдала болезненной застенчивостью и избегала разговора с чужими; даже с дядей и теткой, несмотря на их заботливое отношение, она все время дичилась и жалась.

Валентина Семеновна сумела, однако, преодолеть робость Саши и с первых дней по своем приезде, как мне рассказывали, с ней подружилась. Может быть, потому, что ей было приятно, чтобы ей восхищались, а у прочих людей в здешнем маленьком мирке она подобных чувств отнюдь не находила. И в этом смысле она не прогадала. Саша, не привыкшая к ласке и дружбе, привязалась к ней, как собака, и окружала ее страстным поклонением; вместе они ходили гулять, рядом сидели за обедом и в отсутствии Валентины Семеновны Саша не переносила ни одного о ней плохого слова; после сделавшейся у нее истерики, когда какой-то новичок бросил об ее подруге неосторожную шутку, никто при ней больше не решался затрагивать предмет ее обожания. Немудрено, что в день отъезда Валентины Семеновны в Париж, случайно совпавший с моим, бедная девушка с утра утирала глаза и громко шмыгала носом, и лишь многократные обещания ее приятельницы, что осенью и зимой они будут там часто видеться, положили некоторый предел ее огорчению.

Путешествие в поезде не было особенно скучным, так как рассказы Орловой были не лишены интереса, несмотря на их претенциозность, а самая эта претенциозность меня порой забавляла. Зато, прибыв в город, эта милая дама так ловко попросила меня донести ей чемодан — «тут рядом, в двух шагах», — что я не сумел отказаться и потом в душе проклинал ее всеми известными мне словами, втаскивая тяжеловесный сундук на шестой этаж по крутой и узенькой лестнице.

— Ну вот я и дома, — с радостью сказала Валентина Семеновна, когда я уперся в конец коридора под самой крышей, — зайдите на минутку отдохнуть.

Отдохнуть было не лишним. Отирая пот со лба, я вошел в маленькую комнатку, из тех, какие отводились прежде для прислуги в чердачных помещениях. Некото-

рым преимуществом этого жилья, кроме его относительной дешевизны, было, как выяснилось из болтовни хозяйки, готовившей тем временем чай, что остальные комнаты по всему этому этажу пустовали или служили как чуланы и кладовые, так что никакие соседи не причиняли беспокойства.

Сидя на продавленном диванчике, занимавшем полкомнаты, сильно вытянутой в длину, я не без любопытства оглядывал полки с книгами (не подумал бы, что Валентина Семеновна охотница до чтения) и какие-то реторты и химические приборы. Один угол был скрыт за пестрой занавеской, в другом громоздилось несколько ящиков.

Меня отвлекли от наблюдений вопросы хозяйки. Она объясняла мне, что написала роман в автобиографической форме, который хотела бы непременно издать, и допытывалась, не согласился бы я перевести его на французский язык. Подумав, я принял ее предложение. Время у меня было, переводами я занимался часто, и, хотя мадам Орлова предлагала более чем скромную цену, даже такие деньги мне могли оказаться кстати. Сговорившись с нею и выпив чаю, я ушел, положив в карман объемистый манускрипт, который я проглядел, вернувшись домой.

Сочинение было довольно сумбурное и, главное, написанное ужасным русским языком, где, прежде чем переводить, каждую фразу необходимым оказывалось исправить и перестроить. Что до содержания, в нем трудно было провести грань между правдой, которая явно имелась, — и фантастикой, которой тоже вполне хватало. Если верить всему, рассказываемому здесь, биография автора была достаточно бурной и романтической.

Родившись где-то на юге России, в результате драмы между родителями, с покушением матери на убийство отчима, героиня этой истории в раннем детстве попала на воспитание в монастырь, где аскетизм и лицемерие обитательниц в равной мере ее оттолкнули не только от них, но от религии вообще, к которой у нее навсегда остались страх и враждебность. Позже она стала артисткой и, еще совсем молодой, ухитрилась попасть в фаворитки к эмиру Бухарскому, из азиатского

дворца которого позже сбежала, увозя подаренные им драгоценности на огромную сумму. Все свое богатство она, впрочем, потеряла в вихре революции, успев, однако, еще до того выйти замуж за одного легкомысленного офицера из княжеского рода. В гражданскую войну она безумно влюбилась в одного молодого чекиста и, после брака с ним, встречалась с видными советскими сановниками вплоть до Ленина; вместе они изъездили всю Россию, но, в конце концов, наскучив большевистским бытом, Валентина Семеновна, при помощи фиктивного брака с иностранцем, выбралась за границу.

Это было, однако, еще не все. На протяжении книги повсюду разбросаны были намеки на оккультные занятия автора, то наивно откровенные, то чаще приглушенные. Выходило, что князь женился на ней под влиянием гипноза; ее интрига с иностранцем удалась в силу их общего увлечения спиритизмом; способность внушения много раз выручала ее из-под следствия при Советах и помогала ей совершать самые странные вещи, вроде исцеления больного параличом или усыпления явившегося к ней для обыска комиссара.

О подробностях я имел случай не раз разговаривать с сочинительницей. Рукопись ее я получал по частям; по частям же она мне и платила, торгуясь при этом, как конский барышник; по поводу необходимых изменений она с живостью спорила и давала советы; об отдельных местах приходилось спрашивать у нее разъяснения. Часто заходила речь об оккультных науках. От этих разговоров у меня создалось странное впечатление.

Валентина Семеновна напоминала мне «ученика мага» из известной легенды. Она была человек малообразованный и не очень умный, хотя и не без природной хитрости. Знания ее были хаотичны и лишены как системы, так и глубины. Но в то же время какие-то обрывки спиритических приемов, астрологии, хиромантии были ей известны. Какое отношение они имели к ее профессии иллюзионистки, затрудняюсь сказать. Во всяком случае, даже фрагменты оккультизма в руках женщины безо

всяких моральных устоев и с большой жадностью к жизни, какой была Валентина Семеновна, казались мне довольно опасной игрушкой, особенно принимая во внимание ее слепое доверие к своей силе.

Может быть, мне не следовало придавать всему этому никакого значения, но были некоторые моменты, поколебавшие мой первоначальный скептицизм. Однажды Орлова сняла с полки и показала мне большую книгу в черном переплете; это было старинное французское издание, где на основе астрологии предсказывалось будущее. Для каждого случая давались две координаты: точная дата рождения и созвездие, к которому оно относилось. И я должен признать, что предсказание судьбы и, особенно, определение характера, как я ни проверял на десятках знакомых, всегда оказывались в общих чертах правильными.

Валентина Семеновна хвалилась, что знает секрет эликсира молодости, даже посвящала меня в свои трудности доставать все необходимые ингредиенты — например, дикий виноград, который она только после долгих поисков обнаружила где-то под Парижем; я посмеивался, пока мне не пришлось как-то помочь заполнять анкету для визы в Америку, и я ахнул при виде стоящего у нее в паспорте возраста, выражавшегося, как говорит Зощенко, «почти трехзначным числом».

Рассказывая, в промежутках между проверкой рукописи, одно свое приключение, — как она опоила понравившегося ей молодого человека любовным зельем, а потом внезапно почувствовала к нему полное отвращение; как он ее преследовал везде и в конце концов, выведенный из себя ее холодностью, дал ей удар ножа; — Валентина Семеновна, видимо, прочла недоверие на моем лице и, приоткрыв платье, показала мне невдалеке от сердца глубокий шрам со всеми признаками зажившей раны, — вероятно, ужасающей, — нанесенной холодным оружием.

Все это, ясное дело, само по себе ничего не доказывало. Но, взятое вместе, оно порождало во мне непреодолимое сомнение: может быть, тут что-то и есть?

Какое-то темное снадобье с дурманящим, но не неприятным запахом все время варилось у нее на газовой плите или отстаивалось во флаконах; какие-то травы сушились под потолком; несколько раз я перехватывал взглядом каббалистические чертежи и раскрытые книги, трактующие о мрачных вопросах демонологии. Стеклянные шары, череп, гадальные карты — все это имелось у Валентины Семеновны, и я подозревал, что гадание было одним из ее главных источников существования.

Между тем, ее материальные дела шли скверно. Я не мог подать ей большой надежды на издание ее книги; мне оно представлялось более чем проблематичным. Со сценой у нее тоже ничего не выходило. Скопленные деньги кончались, и она все чаще в беседе с горечью говорила о том, как тяжело в ее годы, после роскоши, какую ей случалось видеть, остаться почти в нищете безо всяких надежд в будущем.

Раз я в шутку спросил ее, почему бы ей не делать золото, если она посвящена в секреты алхимии. Но она ответила вполне серьезно, что это возможно, но очень трудно и требует предварительных расходов, какие она не в состоянии произвести сейчас.

— Есть другой путь, — сказала она задумчиво; хотя она отвернулась, я заметил на ее лице колебание и словно испуг, — есть. Я не хотела, но... Послушайте, — переменила она тон, начав говорить решительно, словно бросаясь в пропасть, — у вас много знакомых среди молодежи. Найдите мне какую-нибудь девушку... или даже молодого человека, но лучше девушку... в возрасте так до двадцати лет... хорошо бы достаточно нервную и впечатлительную, не слишком крепкого здоровья... и непременно невинную. Ей ничего не будет, но мне необходим медиум; тогда я найду способ получить деньги... узнаю, где они лежат, и как их взять; даже сделаю так, что мне владельцы сами отдадут. Но нужен подходящий организм: пожилые люди не поддаются внушению; ясно видят только те, кто сохранил чистоту;

а дети, если и видят, не умеют рассказать... Помогите мне, отыщите мне медиума, — никто не будет знать! — а я с вами поделюсь богатством...

От возмущения я на минуту даже язык потерял.

— Да за кого вы меня принимаете? — взорвался я потом, придя в себя, — как вы осмеливаетесь мне предлагать подобные вещи? Чтобы я участвовал в таких темных делах... С ума вы, что ли, сошли?

Валентина Семеновна рассмеялась ненатуральным смехом.

— Я же пошутила! Какой вы еще ребенок! Неужели вы могли подумать это серьезно? Вы меня в самом деле считаете за волшебницу! Теперь я вас поймала. Но вернемся к нашему переводу. Как вы передали последнюю фразу в пятой главе? Она очень важна для всего рассказа.

У меня не было никакой уверенности, что она вправду шутила. В особенности после того, как, прощаясь со мной, она еще раз вернулась к теме и пробормотала:

— Жаль, что вы не хотите прийти мне на помощь. Ну, я знаю, что мне надо сделать... Не хотела, но ничего не остается...

И на ее лице застыла зловещая решимость, запомнившаяся мне навсегда.

***

Как-то вечером, выходя от Валентины Семеновны, я встретил около ее дома женщину, и мне почудилось, что я узнал жидкие волосы и отсутствующий взгляд Саши; однако, в темноте, не был уверен, что ошибся, а когда спросил у Валентины Семеновны, видятся ли они между собою, она очень живо заявила, что не встречала «бедную девочку» с самого своего отъезда из лагеря.

***

Об этой случайной встрече я упоминаю недаром. Последующие обстоятельства заставили меня вспомнить и многократно думать о ней. Постараюсь, сколько могу, связно эти обстоятельства здесь изложить.

Перевод шел к концу; он мне порядком надоел и, желая поскорее освободиться, я стал работать быстрее и, к немалому своему удовольствию, написал заключительную фразу на несколько дней раньше намеченного в последнем разговоре с Орловой срока. Зная, что она обычно по вечерам дома, я решил съездить сейчас же к ней, отдать рукопись и забрать причитающиеся мне деньги, которые как раз были мне нужны; и через полчаса, часов в шесть вечера, я уже поднимался по лестнице ее дома.

На дворе стояла зима. В узеньком коридорчике было совсем темно; слабый свет лампочки с трудом позволял видеть общие контуры предметов; царила тишина, какая бывает в нежилых зданиях, и я невольно ступал осторожно, стараясь не шуметь. По мере того, как я приближался к двери Валентины Семеновны, до моих ушей стал доходить какой-то необычный звук; я инстиктивно еще замедлил шаг и прислушался. Из-за двери несся странный речитатив, стремительный и в то же время заунывный; и я узнал голос Орловой, но тон меня поразил. В нем была монотонная страстность; словно говорящему хотелось бы как можно скорее произнести нужную формулу, словно в то же время он старался говорить четко и боялся ошибиться хоть в слове.

— Что она твердит такое? — подумал я невольно. — Стихи читает? Учит роль?

Подойдя ближе, я был еще больше удивлен, различив, что она говорит по-португальски. Голос то делался громче, то затихал до шепота, так что я не мог все разобрать; кроме того, мне показалось, что в португальскую речь вплетаются имена и целые фразы на каком-то совсем ином языке. Но кое-что я все же понял.

— Serpente velha...cabra negra... mãe de mil cabritos... (гроздь странных имен) te invoco pelo sangue duma pomba, pelo animo duma virgem te invoco...* — За дверью на мгновение послышалось хлопанье крыльев и крик какой-то птицы; заклинание перешло в непонятное бормотанье.

* Старая змея... черная коза... мать тысячи козлят... призываю тебя кровью голубки, призываю тебя душой невинной девушки...

Я почувствовал, что войти сейчас невозможно; что лучше не стучать в эту дверь. Что бы там за нею ни делалось, мое присутствие будет не у места. Мне пришла в голову мысль зайти позже и, совсем уже на цыпочках, я двинулся обратно к лестнице. Последнее, что я уловил после минуты гробового молчания, был другой голос, который начал говорить, будто отвечая заклинательнице; слов я не мог разобрать, заикающийся, мучительно прерывающийся голос был мне вроде бы знаком, но в нем было теперь нечто жуткое, нечто леденящее кровь, так что я его не признал и бессознательно ускорил поступь, стремясь уйти от его звука...

***

Часа через два я вернулся. Не было причины ехать домой, не отдав рукописи, да и чувство жути у меня вытеснилось любопытством. Выпив чашку кофе в ресторане, прочитав журнал, погулявши по улице, я снова оказался в том же чердачном коридорчике. На этот раз все было тихо. Я постучал.

— Кто там? — нервно отозвался голос Валентины Семеновны.

Я назвал себя и объяснил, что мне надо.

— Сейчас...

Но прошло несколько минут, прежде чем дверь приотворилась. Лицо Валентины Семеновны, покрытое темными тенями, казалось мертвенным.

— Я не могу вас сейчас принять, — объяснила она через порог, — зайдите в другой раз... Я не совсем здорова... Вы принесли рукопись? Хорошо, давайте... Вот деньги...

Через узкую щелочку мои глаза с жадностью обшаривали комнату, где горела под абажуром настольная лампа, бросая вокруг себя слабые лучи красноватого цвета. Это было неудобно и абсурдно, но я не мог удержаться... И, с точностью фотографического аппарата, мой взгляд зарегистрировал целый ряд вещей, которые не дошли в тот момент полностью до моего сознания. Наполовину скрытый под диваном таз, полный темной красной

жидкости и выделяющиеся на ее фоне белые перья, видимо, голубя... и неподвижная фигура на диване, как будто женщины, вытянувшейся во весь рост, неестественно оцепенелой в неудобной позе...

— Благодарю вас... Я надеюсь, мы еще увидимся...

И дверь закрылась перед моим носом.

***

Должно быть, недели через две мне случилось зайти по одному делу к Ивану Ивановичу. В беседе он упомянул о «постигшем его горе», и я заметил траурную ленту на его пиджаке.

— Что случилось? — спросил я с беспокойством и сочувствием.

— Разве вы не знаете? Наша бедная Саша скончалась в прошлое воскресенье... Все было так ужасно! Она пропала из дома и не приходила два дня, а потом ее нашли на улице совершенно потерявшей рассудок и в страшном истощении. Все, что делали ее родители, было напрасно; никакой доктор не сумел помочь, и она через пять дней умерла, причем все время бредила о каких-то ужасах. Бог весть, откуда ей такое могло прийти в голову? О змеях, о черных козлах, о зарезанных голубях... Так тяжело моему бедному брату; хотя, конечно, с ее болезнью ей жизнь тоже была нелегка. А я ждал вас видеть на похоронах, — в голосе Ивана Ивановича прозвучал легкий упрек, — другие бывшие наши лагерники пришли. Особенно тронула нас всех мадам Орлова: принесла огромный букет и казалась так сильно потрясенной...

***

Видеть снова Валентину Семеновну у меня не было теперь нужды; признаться, не было и охоты. Но русский Париж мал; в нем все со всеми встречаются. Я столкнулся с ней недавно на Елисейских Полях, у входа в большой магазин, когда она садилась в автомобиль. Я плохой ценитель женских туалетов, но мне все же кинулось в

глаза, что такие меха, такое колье, какие были на ней, мало кому доступны.

— Здравствуйте! — сказал я светским тоном. — Как вы ослепительны сегодня. Ваши дела изменились к лучшему?

Под маской краски лицо женщины покраснело так, что ее карминовые губы слились с фоном щек и подбородка.

— Да, мне удалось получить очень удачный ангажемент. Теперь я могу жить совсем иначе, чем прежде.

— Я был так огорчен узнать о смерти Саши, — бросил я небрежно и достиг эффекта, которого ждал: она побелела так, что ее рот теперь можно было принять за пятно крови на снегу.

— Ужасно, ужасно... Но простите меня, я должна торопиться, — Валентина Семеновна посмотрела на изящные часики, — я, кажется, скоро покидаю Францию; но, может быть, еще вернусь, и нам приведется встретиться.

Я поклонился и проводил взглядом ее элегантный «кадильяк», умчавшийся по направлению к площади Конкорд.

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ

He vek digor ha leun a wad
Hag he reun louet gand ann oad.
Barzaz Breiz*

— Господин Орест Полихрониадес?

— Да, я к вашим услугам. С кем имею честь говорить?

Двое мужчин смерили друг друга глазами, стоя в вестибюле, сверкающем мрамором, у подножия широкой, величественной лестницы, устланной ласкающим взгляд своими яркими цветами восточным ковром. Хозяин был высокий полный брюнет с оливковой кожей и классическими чертами лица, вероятно бывшего в молодости очень красивым, но обрюзгшего теперь, когда ему перевалило за пятьдесят. Посетителю было лет тридцать, и он, кроме роста, ничем не походил на Полихрониадеса, худощавый, с бледным лицом скандинавского типа и светлыми золотистыми волосами.

Вежливо поклонившись, гость протянул хозяину визитную карточку, на которой тот прочел: «Инспектор Шарль Ле Генн, особый отдел, служба национальной безопасности».

Усилием воли Полихрониадес подавил недовольство и, любезным жестом предложив полицейскому следовать за собой, провел его вверх в роскошно убранную большую комнату, где оба уселись в удобные кресла.

— Мне очень жаль вам сообщить, сударь, что, согласно постановлению министерства внутренних дел, вам предлагается в трехдневный срок покинуть пределы Франции.

---

* Его пасть раскрыта и полна крови,
А шерсть побелела от старости.
Бретонские песни.

Это было уже слишком для самообладания его собеседника.

— Как? Что за чушь? По какому праву? — выпалил он, задыхаясь.

— Это очень неприятно, мсье. Но я не советую вам настаивать на объяснениях, которые могут оказаться тягостными для нас обоих. Заверяю вас, что министерство имело свои основания. Занятия оккультизмом сами по себе не запрещены законом... но три случая самоубийства в вашем интимном кружке, равно как и внезапное душевное заболевание мадемуазель Терновской, заставили наше бюро предпринять следствие; мне не хочется углубляться в детали, вроде происшествия с детьми мсье Депрео...

— Все это ни в какой мере не может служить основанием, — прорычал сдавленным голосом Полихрониадес, утирая лоб.

Лицо инспектора стало более суровым.

— Мсье, в вашем кружке широко применялись различные наркотические и возбуждающие средства. Часть из них имеют слишком экзотический и недостаточно изученный характер; но некоторые недвусмысленно упомянуты в своде законов. Этого вполне достаточно для предания вас суду, если вы не хотите оценить нашу деликатность и добровольно принять наше предложение оставить Францию.

Грек словно что-то проглотил и с большим усилием придал своей физиономии сладкое выражение.

— Мой дорогой инспектор, вы, я вижу, человек светский, с тактом и опытом. Не может быть, чтобы мы не отыскали выхода из положения, если это дело находится в ваших руках. Это может потребовать расходов, вполне естественно, но я готов...

Ле Генн сделал рукой короткий жест.

— Бесполезно продолжать разговор. Я вас известил о решении властей, и если вы ему не подчинитесь, к вам будут применены меры принуждения.

Полихрониадес, позеленев, сорвался с места, вне себя от гнева.

— Вы себе позволяете со мной говорить в таком тоне? Это вам дорого обойдется. Я вас научу оскорблять людей, за которыми стоят силы, вашему петушиному умишке непонятные...

Инспектор Ле Генн медленно поднялся на ноги.

— Обращаю ваше внимание на тот факт, что угрозы государственному чиновнику при исполнении служебных обязанностей предусмотрены уголовным кодексом, а насилие против него составляет серьезное преступление.

— Насилие? — захихикал грек. — Вы сейчас увидите кое-что из области насилия!

Он метнулся к двери; в комнате вдруг погас свет; раздался звук повернутого в замке ключа.

Во мраке, в середине незнакомой комнаты, перед лицом неясных угроз молодой сыщик не чувствовал себя особенно уютно, тем более, что в папке Полихрониадеса в полиции хранились некоторые сообщения, от каких и у неробкого человека волосы могли встать дыбом. Главное же, за несколько лет своей блестящей службы в «Сюртэ Насиональ» Ле Генн выработал в себе безошибочную способность предчувствия, и сейчас что-то определенно говорило ему, что на него надвигается большая опасность.

Предупреждением послужил новый звук ключа в замке, за которым, впрочем, ничего не последовало. Инспектор инстиктивно отступил вглубь комнаты, подальше от двери.

Она неожиданно растворилась, и на пороге появилось совершенно фантастическое создание. Это был огромный железный волк: Ле Генн видел, что это было живое существо, видел свирепый взгляд маленьких красных глаз, но в то же время ясно слышал металлический звон и различал черные стружки стальной шерсти, покрывавшей зверя; весь он был раскален до красна и ярко светился, разгоняя тьму в комнате; там, где его лапы касались паркета, от полированного дерева шел дымок, и, когда он вступил на ковер, отчетливо почувствовался запах паленых тряпок.

Ле Генн даже не схватился за револьвер, лежавший у него в кармане. С быстротой соображения, типичной

для него и бывшей главным из его плюсов в житейской борьбе, он раскрыл перочинный нож и, упав на одно колено, очертил вокруг себя по паркету замкнутую кривую, стремительно повторяя слова, силу которых он знал.

Круг был совсем мал. Когда чудовище подошло близко, оно остановилось, со страшным звуком лязгая стальными зубами, словно упершись в незримую стену, и медленно пошло по окружности. Смрадное дыхание повеяло на Ле Генна, от чего он едва не лишился чувств, и его обдало нестерпимым жаром; он заметил, что с левой стороны его пиджак, в нескольких сантиметрах от которого прошла морда волка, начал тлеть.

Зверь несколько раз вставал на задние лапы и всей тяжестью бросался вперед; но какая-то сила отбрасывала его обратно; слышно было, как металл глухо ударяется об эластичное препятствие. Две или три минуты вернули Ле Генну хладнокровие, и он перешел в наступление, начав повторять все те заклинания, какие показались подходящими к случаю. Когда он стал произносить молитву против negotium perambulans in tenebris *, волк отскочил на несколько шагов, и инспектору показалось, что его накал сразу сильно ослаб; железо на его боках местами потемнело.

Ле Генн вспомнил тогда о заклятии Мерлина против дракона; бретонец из кантона Трегер, он твердо помнил эти друидические триады на кельтском языке своего детства. Их короткий ритм упал на железное наваждение будто сокрушительные удары молота; видно было, как оно извивалось, словно под неумолимым бичом.

Его свет постепенно мерк, и вдруг оно исчезло, растворилось во мгле. Но Ле Генн продолжал чувствовать вокруг себя присутствие невидимых враждебных сил; внутреннее зрение, внутренний слух передавали в его мозг картины жестоких лиц, на резкие черты которых падали гривы черных волос, тянущиеся к нему когти, звук хлопающих крыльев, темных как ночь... Оставаться без конца в каббалистическом кругу? Немыслимо.

* От вещи, во тьме приходящей.

Закусив губы, бретонец шагнул во тьму. Пока комната была освещена, он схватил ее расположение, и его рука сейчас, потянувшись к стене, где, как он прежде заметил, висело оружие, сомкнулась на рукояти старого меча, который он с беглого взгляда оценил как относившийся к пятнадцатому веку.

От этой рукояти, от христианской эмблемы ее эфеса, волна мужества прилила к сердцу Ле Генна. Повторяя молитву «Exsurgat Deus et dissipentur inimisi Ejus»*, он крестообразными ударами со страшной мощью рассекал воздух, и свист звучал в его ушах дикими стонами и воплями неземных тварей. Один из размахов раздробил электрическую лампу, другой разрубил лакированный столик, от третьего полетели брызгами куски разбитого оконного стекла... Но инспектор чувствовал, что он приближается к двери, и был прав. Он распахнул ее страшным ударом эфеса, от которого дерево треснуло, и с невероятным облегчением оказался на ярко освещенной площадке лестницы, затем, через минуту, в передней.

Все было пусто, нигде ни души...

Бретонец спохватился, что держит в руке длинный рыцарский меч, и бросил его на мраморные ступени.

Но, прежде, чем он выпустил эфес из пальцев, он сделал открытие, которое его потрясло. Весь широкий клинок толедской стали был покрыт кровью, медленно капавшей с острия на пол...

***

О том, что с ним произошло в доме Полихрониадеса, инспектор Ле Генн не упомянул в своем служебном рапорте.

Орест Полихрониадес вылетел на следующее утро на аэроплане в Каир, и следствие по его делу было прекращено.

---

* «Да воскреснет Бог, и да расточатся врази Его»

ЗА ГОРОДОМ

And all men kill the thing they love,
By all let this be heard...
Oscar Wilde
«The Ballad of Reading Gaol»*

За окном вагона проплывали поля и деревни, мелькали группы деревьев, словно уснувших под июльским солнцем. На мгновение потянуло прохладой от медлительной речки, следовавшей в течение нескольких минут полотну железной дороги, будто решив нам составить компанию. Я заметил знакомый белый мостик и закрыл книгу, которую держал на коленях, но уже несколько минут не читал, заглядевшись на эту мягкую, умеренную во всем французскую природу, как будто почти ту же, что и у нас, но неуловимо отличающуюся от нашей своим духом.

Сидевший напротив меня молодой человек в коричневом костюме повернул ко мне тонкое живое лицо. Стройный, среднего роста, гладко выбритый шатен, он показался мне довольно типичным французом, очевидно интеллигентным, может быть, студентом или служащим.

— Pardon, monsieur, la prochaine station, c'est bien la Valée Sainte Marie?

— Oui, — отозвался я, — et justement nous y arrivons.**

Маленькая, глухая станция была совершенно пуста под палящим полуденным зноем. Я перешел на другую сторону пути, и, оглянувшись на мгновение, заметил, что мой попутчик тоже вышел из поезда и остановился на платформе, словно ища глазами, у кого спросить дорогу.

* Свою любовь все убивают. Оскар Уайльд. «Баллада Редингской тюрьмы».
** — Простите, сударь, ближайшая станция, это будет Валле-Сент-Мари?
— Да, и мы как раз подъезжаем.

Мне в этом не было нужды. Я уже несколько раз бывал в Валле-Сент-Мари и знал, куда мне надо идти. Деревня осталась по ту сторону рельс, а на меня повеял свежий воздух леса.

Кремнистая тропинка передо мной шла круто в гору, обступленная по бокам высокими стволами сосен, корни которых то протягивались пешеходу под ноги, то поднимались высоко спереди, почти над головой. Известно, что запах действует на память сильнее, чем звук или вид. Этот аромат согретой летним жаром смолы мне остро напомнил родное Царское Село и его парки, под сенью которых протекли мое детство и юность. Но лишь на минуту, потом их стерли другие воспоминания, более недавние и более жгучие...

Девушка, которую я любил, уехала на каникулы, и передо мною была перспектива не видеть ее три месяца, тогда как за последнее время день или два без нее уже казались мне невыносимыми. В Париже мне все напоминало о ней; стоило выйти из дому, чтобы ноги выбирали улицу, которая должна была меня привести к кварталу, где она жила, где я с ней встречался, и где все вызывало в уме ее образ; и тогда на уста невольно теснились все те слова, что я мог бы ей сказать и не сказал...

Уехать из Парижа я не мог, и вдобавок даже пойти в гости было почти не к кому; все знакомые разъехались кто куда, рассыпались по лагерям, умчались, кто на Ривьеру, а кто и за границу.

Как о пристанище, я вспоминал о гостеприимном крове Ивана Ивановича Сорокина, устроившего недалеко от города, на земле, которую он когда-то купил, нечто вроде дома отдыха, куда можно было приехать на несколько дней, что было весьма удобно для людей, связанных службой или делами. Немалую роль в моем желании посетить дачу, стоявшую в лесу километрах в трех от деревни Валле-Сент-Мари, играла мысль увидеться с Леночкой, дочкой Ивана Ивановича, прехорошенькой, неглупой и дьявольски кокетливой молоденькой брюнеткой. Спешу заверить читателя, что у меня были с ней чисто дружеские отношения, сохранив-

шиеся с тех пор, года за два до начала рассказа, когда я учил ее испанскому языку. Мое сердце горело в это время на огне совсем другой страсти. Но именно это делало для меня заманчивой встречу с Леночкой. Она была подругой той, о которой я сейчас непрестанно думал, и, в силу ряда случайностей, доверенной моей любви. Если я не мог увидеть... я чуть было не назвал имя, которое мне и теперь еще слишком больно вспомнить... если я не мог ее увидеть, не было ли для меня первым удовольствием в мире по крайней мере поговорить о ней?

Задумавшись, я не заметил, как прошел остаток расстояния, и очнулся только когда передо мной открылась полянка, на которой стоял деревянный дом, обнесенный, вместе с садом и пристройками, полуразвалившимся плетнем. Едва я перешел за калитку, как по посыпанной желтым песком дорожке зазвучали шаги, и мне навстречу показалась длинная тощая фигура Ивана Ивановича, радушно со мной поздоровавшегося.

— А я как раз отправляюсь в деревню, сделать кое-какие закупки, — сказал он, — но, впрочем, я скоро вернусь; а вы пока пообедаете — мы только что кончили.

Говоря все это, он повернул назад, и, обогнув дом, мы вышли на площадку, где стоял во дворе большой стол, за которым сидело целое общество.

Мой взгляд скользнул прежде всего на милую головку Леночки, ее мелко вьющиеся глянцевитые черные волосы, лукавые темные глазки и раскрывшиеся при виде меня в приветливую улыбку пунцовые губы.

— Вы уже знакомы с Лешей и Сергеем Васильевичем, — констатировал между тем хозяин, — а это вот Олег Мансуров; изучает геологию в Сорбонне. Леночка, посмотри, чтобы Владимира Андреевича накормили как следует, а я пока пойду. Будьте как дома!

И, блеснув пенсне и тряхнув козлиной бородкой, Иван Иванович исчез за углом.

С Лешей Липковским я был действительно знаком, но видел его здесь без особой радости. Это был коренастый и довольно полный молодой человек лет двадцати восьми

с рыжеватой шевелюрой и светлыми усиками. Он работал в газете «Русская Заря», где вел спортивный отдел и время от времени составлял мелкие заметки на различные темы. Это давало ему право на звание журналиста, каковым он весьма гордился. Мне бывало забавно, когда его при мне величали литератором, а иногда и писателем, но он принимал это звание вполне всерьез, и умел держаться с апломбом, производившим на публику впечатление, особенно на прекрасный пол, успехами у которого Леша немало чванился.

Гораздо более симпатичным показался мне другой гость Сорокиных, которому меня только что представили. Худой, очень высокий, с густыми черными как смоль волосами, узкий в плечах и груди, с едва пробивающимися темными усами, Олег Мансуров выглядел неловким и робким. Пожав мне руку, он бросил на меня исподлобья быстрый взгляд черных южных глаз, словно прикидывая, могу ли я быть опасен. Мне ситуация сразу стала достаточно ясна, и то, как его взор позже непрерывно следил за каждым движением Леночки, отражая восторг и страдание, только подтвердило мою мысль.

Третий мужчина за столом, Сергей Васильевич Тарасевич, был по профессии инженером и занимал важный пост в какой-то французской фирме. По русским масштабам он был человеком более чем состоятельным и приезжал в Валле-Сент-Мари не иначе как на собственном автомобиле. Я смутно слышал, что он пережил недавно какую-то семейную драму, в результате которой развелся с женой, но подробностей я не знал, да и не очень ими интересовался. Вряд ли Сергею Васильевичу было более сорока пяти лет, но не только двадцатилетней Леночке, но даже и мне, которому тогда только что исполнилось тридцать, он представлялся стариком, чему способствовали его сутуловатая чрезмерно полная фигура, медлительная речь и общее впечатление флегматичности и вялости, которое он оставлял.

— Ну, — подумал я, — неудачно я попал. Столько народу! При них мне с Леночкой никогда не удастся поговорить наедине. И, словно чтобы усугубить мое

недовольство, гравий на дорожке вновь захрустел под чьими-то шагами, и на повороте появился мой сегодняшний спутник по поезду.

Леночка выпорхнула ему навстречу и весело защебетала по-французски.

— Марк! Как я рада вас видеть! Как это мило, что вы приехали; а я уж думала, что вы забыли о моем приглашении. Господа, — повернулась она к нам, — позвольте вам представить Марка Вернье, моего коллегу по Школе Восточных Языков.

Новоприбывший уселся рядом со мной; Марья Семеновна, помогавшая Ивану Ивановичу (он с год тому назад потерял жену) по хозяйству, принесла мне и французу суп и бифштексы, которые мы принялись уничтожать, чувствуя себя несколько неловко среди остальных, уже покончивших с едой.

У меня не было большого аппетита, и процесс насыщения не мешал мне следить за происходящим вокруг с праздным любопытством человека, смотрящего на борьбу, не связанную с его собственной судьбой и интересами. Прибытие Вернье явно не понравилось ни Липковскому, ни Мансурову и произвело в ходе общей беседы курьезное изменение. До того оба молодых человека то и дело перемежали русские слова французскими, а то и вовсе переходили на парижский диалект, более им привычный, и разговор вращался вокруг последних фильмов и спорта. Теперь же они стали вдруг, словно следуя немому договору, с полным согласием говорить только по-русски и даже перешли на чисто русские темы, что почти автоматически приводит всегда к политическим вопросам.

Вернье остался, таким образом, начисто исключенным из разговора и, видимо, это переживал, если судить по движениям его ножа и вилки, которые я, сидя рядом с ним, мог хорошо рассмотреть.

Липковский оживленно ораторствовал между тем о каком-то очередном выступлении Керенского, составлявшем тогда предмет всеобщих споров.

— Что бы там ни говорили всякие зубры, — небрежно изрекал он с неизменной для него абсолютной самоуверенностью, — я целиком разделяю взгляд редакции «Русской Зари», поместившей обращение Керенского и выразившей ему сочувствие. Чего вы хотите! Нельзя же стоять на месте. Смешно в наши дни думать, что еще можно вернуться к самодержавию, — да и зачем, когда именно против него столько лет боролись лучшие силы России? Конечно, для стариков, для которых все в прошлом, простительно мечтать о царе, но мы, молодежь, должны жить современностью, и для нас эти идеи просто нелепы...

Он на минуту остановился, чтобы мы могли восхититься его красноречием, и в этот момент Мансуров врезался в его рассуждения, словно удила закусив.

— А я так ни с одним вашим словом не согласен. Эти, как вы говорите, зубры, это была настоящая Россия, а не советская гнусность. И я, конечно, политикой не интересуюсь и мало в ней понимаю, но я сын русского офицера, который всю жизнь был верен царю, и я от него слышал, что наделал ваш Керенский. Если уж кому верить, я лучше поверю отцу, чем редакции вашей «Русской Зари»; я его не считаю глупее вас с вашими приятелями.

Я искоса поглядел на молодого геолога и подумал, что этот паренек мне решительно нравится. Под смуглой кожей вся кровь бросилась Мансурову в лицо, и он выпалил свои слова с тем азартом, с каким говорят застенчивые люди, когда их прорывает. Внезапно оборвав речь, он обратил глаза на Леночку, явно в поисках сочувствия. В нормальных условиях он мог бы его и найти, так как Иван Иванович был убежденный и правоверный монархист и дочь разделяла его взгляды, как я не раз имел случай убедиться. Но женщина не станет отталкивать интересного поклонника ради политики, и она коварно промолчала, загадочно улыбаясь обоим спорящим, словно их подзадоривая продолжать.

Липковский откинулся на спинку стула и грациозно помахал рукой в воздухе.

— В ваши годы, Олег, это уж прямо непростительно проповедовать такие отсталые взгляды. Мы с вами, я вижу, не сумеем сговориться; поищем лучше арбитра. К вам, Владимир Андреевич, я не буду обращаться, — елейно улыбнулся он мне, — вы человек партийный.

Замечу вскользь, что Липковский неукоснительно называл меня всегда по имени-отчеству, в чем я усматривал не избыток почтительности, а желание подчеркнуть, что я уже не молод и в кругу молодежи мне делать нечего. Что до себя самого, Леша принадлежал к тому сорту людей, которые в молодости видят нечто вроде пожизненного звания и готовы изображать молодежь вплоть до пятидесяти лет и даже дальше.

— А вот спросим Сергея Васильевича, — продолжал Липковский, — он специалист, и притом он здесь старше всех, раз уж вы, Олег, уважаете стариков больше молодежи. Ну-ка, скажите нам, какому политическому течению вы больше сочувствуете, Сергей Васильевич?

Инженер нехотя поднял взгляд с пустой тарелки, которую он, казалось, внимательно изучал, и промямлил:

— Я, собственно говоря, полагаю, что... по сути дела... самая лучшая партия — это так называемые солидаристы... они, видимо, больше всего ведут настоящей работы... и они, так сказать, вобрали все молодое и энергичное в эмиграции.

— Теперь все в порядке, — усмехнулся я. — Политический спектр зарубежья полностью представлен: монархисты, социалисты и солидаристы. Остается только подраться.

— О нет, ради Бога, не надо! — с комическим испугом вскричала Леночка, вскакивая, — лучше идемте гулять. Marc, venez faire un tour de la forêt!*

Вернье встал с явным облегчением, и Леночка подхватила его под руку. Липковский присоединился к ним, не дожидаясь приглашения, словно это подразумевалось само собою, и все трое направились к выходу.

Мансуров остался на месте, и я видел, как он попеременно и мучительно бледнел и краснел, пока решился встать и последовать за другими.

* Марк, идемте смотреть лес!

Они перешли теперь на французский язык, и Липковский, видимо, сказал что-то остроумное — слов я уже не разобрал — так как издали до нас донесся звонкий русалочий смех Леночки.

Я машинально проводил глазами розовое платье девушки между серым костюмом Липковского и коричневым Верньe, пока они скрылись за углом дома; их голоса продолжали еще доходить до нашего слуха несколько минут.

Мы с Сергеем Васильевичем помолчали, потом он зевнул, медленно поднялся со скамьи и, сказав, что пойдет поспать после обеда, направился в глубь сада; Иван Иванович там поставил для посетителей, которым в дни прилива публики не хватало места в доме, три палатки, где можно было с удобством провести ночь в эту жаркую пору. Предоставленный самому себе, я опустил голову на руки и снова отдался потоку мыслей, на время прерванному разговором. В городе меня мучила скука, переходящая в тоску; тут, среди зелени, под шелест листвы, вздрагивавшей при каждом движении теплого воздуха, меня томила щемящая грусть, вряд ли бывшая лучше.

Если бы она была со мной... Бросить все и поехать в лагерь, где она сейчас? Боже мой, я бы пошел туда пешком, если бы было надо. Но что из этого выйдет? Ничего хорошего... Я почувстовал себя еще более одиноким, чем в Париже и, встряхнувшись, решил, что лучшее, это пойти в лес на поиски остальной компании.

Почти у самых ворот я опять столкнулся с Сорокиным, возвращавшимся из деревни с сумкой за плечами. Как любезный хозяин, он проводил меня кусочек дороги, объясняя мне, как лучше идти, чтобы не заплутаться.

— Лес у нас небольшой, но потеряться в нем легко можно, так как на каждом шагу перекрещиваются дорожки, и разобраться в них довольно сложно. А если повернуть не в ту сторону, вы окажетесь в деревне или выйдете к озеру, километрах в пяти отсюда. Но вот я вам покажу одну вещь, которая вам поможет...

Мы вышли на прогалину в чаще кустарника; этот участок леса состоял из лиственных деревьев, в большинстве

своем молодых и невысоких, но так переплетенных ветками и росшими среди них кустами, что, оставив дорожку, через них трудно было пробиваться.

От места, где мы остановились, убегали в чащу, в разных направлениях, четыре дорожки, в точности похожие друг на друга. Иван Иванович указал мне у начала одной из них воткнутый в землю шест вышиной в человеческий рост, на верхушке которого развевался маленький бело-сине-красный флажок.

— Это вот указатель для тех, кто идет в мои владения. Сверните на эту тропинку, и вы прямо выйдете к нам. Дальше в лесу есть еще несколько таких перекрестков, но там разобраться проще, а когда вы выйдете сюда, вы теперь знаете направление. Ну, простите, что я вас покину: надо присмотреть, чтобы приготовили ужин и, вообще, чтобы все было в порядке.

Воспитанный в маленьком городке, где зелени, полей и лесов было сколько угодно, я относился всегда несколько иронически к горожанам, приезжающим на лоно природы и любующимся на травку, восхищающимся всяким кустиком и деревцом. Но сейчас я их отчасти понял, после долгого пребывания среди парижских мостовых. Свернув с тропинки, я пробивался между гибких ветвей, хлеставших по лицу и по плечам, ломая тонкие сучки, перепрыгивая через мелкие канавки, подчиняясь капризу уйти от всего, напоминающего о человеке, и в то же время бессознательно ища человеческого общества.

Как я убедился позже, я не мог, однако, присоединиться к компании гуляющих, потому что они все рассеялись в разные стороны. Довольно неожиданно для себя, проходя по краю глубокого оврага, я услышал вдруг женский голос, звучавший снизу и через сплошную стену зарослей; говорившие не могли меня видеть, ни я их, но я не мог не узнать голоса Леночки и не понять ее слов.

— Нет, Леша, — говорила она с негодованием, но без резкости, — вы не имеете права требовать у меня отчета; я делаю, что хочу. Я вижу, я была с вами слишком мила, и вы уже решили...

Я ускорил шаг, и голоса замерли в отдалении. Мне совершенно не хотелось подслушивать. Прогулка в одиночестве имеет свою прелесть, лес в глубине понравился мне еще больше, чем на опушке, и я бродил по нему два или три часа, останавливаясь в более живописных местах, возвращаясь назад, сворачивая то направо, то налево.

В конце концов, видя, что солнце клонится к закату, и вспомнив, что Иван Иванович не любит, когда гости опаздывают к ужину, я решил вернуться домой. Но, как я ни искал, я не мог обнаружить вехи с флажком и, очевидно, сбился с пути, так как через некоторое время оказался на опушке леса, над крутым обрывом, под которым раскинулась в долине деревушка, красиво подставлявшая лучам солнца свои черепичные крыши и белые стены; черной лентой вился мимо нее железнодорожный путь; и кирпичные здания вокзала отчетливо выделялись на краю поселка: узенькая белая тропинка змеилась под гору, ведя к засеянным полям и сливаясь где-то далеко внизу с большой дорогой, в свою очередь переходившей в главную улицу деревни.

Над обрывом, на самом зное солнца, только начавшего слабеть, сидела человеческая фигура, и, присмотревшись, я узнал Вернье, задумчиво сложившего руки на коленях.

— Алло, мсье Вернье! — окликнул я его приветливо. — Как вам нравится ваш уик-энд?

Он обратил ко мне задумчивый взгляд, в котором мелькнуло что-то вроде недоверия.

— По правде сказать, не особенно. Я тут оказался единственным иностранцем среди русских и чужим в компании близко знакомых между собою людей. У меня впечатление, что я здесь никому не нужен, да мне и самому несколько неловко. Мне думается, я не буду ждать ужина, а прямо отправлюсь на вокзал и вернусь в Париж. Вы не откажетесь передать мой привет хозяевам и поблагодарить за гостеприимство?

— Слушайте, — ответил я, — по-моему, вы поддались совершенно ошибочному впечатлению, и если

вы останетесь до завтра, то перестанете чувствовать какую бы то ни было неловкость и станете своим человеком в здешнем мирке. И притом, насколько мне известно расписание, на последний поезд в Париж вы уже опоздали и вам волей-неволей придется ждать до утра. Идемте лучше вместе домой.

Мои слова, как мне показалось, заставили молодого француза поколебаться, но, подумав, он покачал головой.

— Нет, я все же попробую справиться на станции. Если поезда в самом деле нет, тогда, конечно, придется вернуться к мсье Сорокину.

— Валяйте, — сказал я на это, — надеюсь, что вы еще не опоздаете к ужину.

Я снова углубился в лес и вскоре, на повороте одной из его дорожек, заметил впереди себя синий костюм, ускорив шаги, я догнал понуро шагавшего Мансурова. Мы двинулись дольше вдвоем, но все мои попытки завязать разговор были безуспешными.

Он мне отвечал односложными словами, явно углубленный в собственные нерадостные думы, и я нисколько на него не обижался, без труда угадывая все, что он переживает. Мне хотелось дружески сказать ему что-нибудь успокоительное, посоветовать не терять надежды или даже выразить удивление, что Леночка может интересоваться таким пустым фанфароном, как Липковский; но, в конце концов, мы с Мансуровым были едва знакомы, и он мог бы счесть подобное поведение за чрезмерную фамильярность. Поэтому я тоже замолчал, и мы вместе большими шагами двигались к дому Сорокина; Мансуров, видно, лучше меня помнил дорогу; через десять минут мы вышли на поляну, где развевался трехцветный флаг, и вскоре были уже у ворот нашего пристанища. Здесь к нам присоединился Вернье.

Вид у него был несколько смущенный, и я нарочно приветствовал его самым сердечным тоном.

— Вы оказались правы, сударь, — сказал он, — последний поезд уже ушел, и, — ничего не поделаешь, — я должен подождать до завтра.

— Вот и хорошо, — отозвался я, — оставайтесь с нами до утра, а то и дольше. Зачем вам, собственно, торопиться в Париж? Тут, в обществе, я уверен, мы весело проведем время.

В саду, за столом, где мы обедали, играли в шахматы Иван Иванович и Сергей Васильевич.

— Ну вот, еще пять ходов, и вы получите мат, дорогой Сергей Васильевич.

Сорокин был настроен благодушно и весело.

— А вы так гордились и считали, что мне с вами нельзя равняться. Видно, я оказался способным учеником... Нет, нет, как ни ищите, вы не найдете выхода из положения. А вот молодежь. Пора, пора, господа, уже следовало подавать ужин. Да где же Леночка? Еще гуляет с Лешей?

При этом замечании Мансурова всего передернуло. Вернье, ничего не понимавший, так как разговор опять шел по-русски, — не совсем тактично с нашей стороны, — обвел глазами присутствующих и заметно помрачнел, сделав, очевидно, вывод о том, кого не достает.

Мы уселись на скамьи. Завязалась новая партия в шахматы, опять клонившаяся к победе Ивана Ивановича, но в общем настроение было какое-то вялое, беседа не клеилась. Странно, когда вспоминаешь об этом, какое давящее чувство овладело всеми нами, словно на нас упала мрачная тень, словно нас угнетало уже роковое предчувствие того, что должно было произойти...

Иван Иванович несколько раз нервно заметил, что Леночка никогда раньше не запаздывала к ужину, и на одном из этих замечаний его прервал вышедший в сад Леша Липковский.

Нас всех поразило, что он пришел один, и Сорокин выразил нашу общую мысль, спросив его о дочери.

Липковский, казалось, был удивлен.

— Леночка? Да разве ее еще нет? Мы с ней разошлись в лесу уже часа два-три назад; и она собиралась идти прямо домой. Я успел дойти до озера, выкупаться и полежать на солнце, а ведь туда порядочно... Где же бы это она могла задержаться?

Сорокин покачал головой и сказал, стараясь не выдавать внутреннего беспокойства, что ему, впрочем, плохо удалось:

— Пожалуй, я схожу в лес ее поискать.

— Нет, — возразил я, вскакивая, — вы уже устали сегодня, Иван Иванович. Позвольте мне, я ее приведу.

Мансуров молча и решительно присоединился ко мне; за нами, потоптавшись минуту, увязался и Липковский.

Мы думали разойтись в лесу и двинуться в разных направлениях, перекликаясь погромче, пока не столкнемся с беглянкой или пока она не отзовется. Но мы не успели привести свой план в исполнение. Все разыгралось куда быстрее, чем можно было ожидать...

Почти на опушке леса, не доходя нескольких десятков шагов до шеста с флагом, я, по какому-то непонятному импульсу, которого сам не в состоянии был бы объяснить, свернул вбок, в кусты. Быть может, подсознательно мое внимание привлекла поломанная ветка или смятая трава... но есть ли смысл искать причину?

На маленькой прогалине за высоким кустарником меня встретило зрелище, от которого я оцепенел, о котором я стараюсь пореже вспоминать.

Посреди лужайки навзничь, слегка согнув ноги в коленях, лежала Леночка, и ее платье выделялось розовым пятном на фоне невысокой изумрудной травы... а по этому платью, с левой стороны, на ее груди темнело другое, большое красное пятно. Вечерело, но последние лучи заходящего солнца, пробиваясь сквозь ветви деревьев и кустарника, падали еще горячими стрелами на ее побледневшее лицо, и в струях света над ее глазами и губами плясала стая мошкары... почему-то именно эта деталь особенно леденящим ощущением прошла по моим жилам и разом заставила забыть о душной теплой атмосфере этого жаркого вечера, мало чем уступавшего полудню.

Как я ни был потрясен, что-то в моем сознании с фотографической четкостью зарегистрировало все, что находилось в поле моего зрения, не только тело девушки, — ни на минуту нельзя было сомневаться в том, что она мертва, — до последней подробности ее вски-

нутых темных ресниц и полураскрытого рта, но и фигуры моих спутников возле меня; окаменевшего, вытянувшись во весь свой рост, Мансурова с судорожно сжатыми челюстями и сдвинувшимися черными бровями, в которых сгустились гнев и ужас; болезненно побледневшее, растерянное лицо Липковского, как-то сразу сгорбившегося, и под которым, если мне не почудилось, ноги подгибались, с трудом выдерживая его вес.

Самый старший из всех, я боюсь, подал другим плохой пример. Откуда-то издалека до моих ушей вдруг донесся мой собственный изменившийся и прерывающийся голос, бессвязно говоривший, что тому, кто это сделал, я бы своими руками переломал его кости до единой, что его следовало бы наполовину сжечь на костре и живым зарыть в землю... Правда, я достаточно быстро опомнился, и эта дикая речь остановилась на полуфразе. Но было уже поздно.

Повернувшись к Липковскому, Мансуров со сжатыми кулаками бросил ему в лицо:

— Вы остались с ней наедине... Я видел, что вы отделились от француза... О, зачем она не послушалась меня... Но если это вы... если...

Физиономия журналиста изменилась под этим обвинением, и я почувствовал, как всякое сочувствие к нему отхлынуло от моего сердца. Вместо горя и испуга, его черты выражали теперь только отталкивающую злобу.

— Если вы следили за нами, рыцарь печального образа, — ответил он шипящим тоном, в котором издевательство теряло силу от прилива ярости, — вы многое могли видеть и слышать, что вам не понравилось. Мне-то было незачем ее убивать... А вы, если вам надоело исполнять смешную роль с вашей отвергнутой неземной страстью и вздумалось сыграть трагедию... вы можете дорого за это заплатить...

Я кинулся между ними:

— Побойтесь Бога, господа! в такой момент... разве мы имеем право сводить счеты между собой?

Однако удержать Лешу было нелегко.

— Вы, Рудинский, не изображайте миротворца... С какой стати вы хотите надо мной командовать? Вы тут не среди ваших монархистов, нечего корчить из себя вожака... И, между прочим, вы что-то подозрительно скоро нашли это место... Откуда вы знали о нем?

Стрела была ядовита. Но я справился с собой.

— Оставим это для следствия. Сейчас нужно известить Ивана Ивановича и вызвать полицию. Олег, можете вы посторожить здесь?

События последовавшего часа смешиваются в моей памяти, и только отдельные отрывки выделяются яркими бликами. Убитое, почти отупевшее лицо Сорокина при страшной вести... Вернье, предлагающий сбегать в деревню за жандармами... Липковский, с жестами и повышениями голоса рассказывающий инженеру свою версию событий...

Я словно пришел в себя только тогда, когда калитка приоткрылась и в сад, следуя за Вернье, проникли трое людей. Один, громоздкий и полный, был одет в жандармскую форму, но все мое внимание приковалось к шедшему с ним рядом высокому и худощавому мужчине с копной светлых волос. Неожиданно для себя я узнал в нем инспектора Ле Генна, с которым познакомился год назад, в связи с одним романтическим инцидентом, и потом завязал дружеские отношения.

У меня могло бы шевельнуться сомнение в том, как он отнесется ко мне при исполнении служебных обязанностей, но, прежде чем я это подумал, он с широкой улыбкой пожимал мне руку.

— Не ждал вас встретить здесь, Рудинский, но очень рад... Вы мне поможете разобраться в происшествии. Позвольте вам представить: бригадир Мартэн, доктор Рони.

Сказав несколько слов присутствующим, Ле Генн отозвал меня в сторону.

— Но как вы это оказались здесь так скоро? — спросил я его. — И почему вы занимаетесь этой историей? Ведь ваша специальность в полиции совсем иного рода?

— Случайность, дорогой друг. Она правит миром. Мне было поручено в этой деревне другое дело, целиком

в моей сфере, довольно запутанное, и для меня не очень интересное. Из-за него я больше недели живу здесь, и сегодня, когда бригадир, мой коллега, услышав о тягостном событии, попросил меня принять участие в следствии, я не отказался, так как порядком скучаю в этом глухом углу. Удачно, теперь я позабочусь, чтобы вас ничем не побеспокоили. Но расскажите мне, хотя бы в общих чертах, о сложившейся здесь ситуации.

В скупых словах, но стараясь не упустить ничего важного, я дал Ле Генну картину отношений в лагере. Он выслушал меня внимательно и молча; затем спросил у всех присутствовавших их имена, задал каждому два-три вопроса рутинного порядка и попросил меня проводить его на место инцидента. Доктор и жандарм пошли вместе с нами.

Мы нашли Мансурова, бледного как смерть, сидящим на стволе поломанного дерева в десяти шагах от трупа.

Ле Ганн задал ему пару вопросов и отослал в дом, к остальному обществу. Врач склонился над телом девушки, а Ле Ганн, попросив нас не двигаться с места, сделал несколько кругов около полянки, нагибаясь и рассматривая почву, останавливаясь и будто размышляя. Потом он вернулся к нам.

— Ну, что вы скажете, доктор?

Рони, пожилой человек с квадратными плечами и добродушным лицом, задумчиво покачал головой и начал осторожно, словно опасаясь сказать лишнее:

— Смерть последовала три или четыре часа тому назад, более или менее мгновенно, от удара колющим оружием, нанесенного почти параллельно земле, слегка сверху вниз, с большой силой, пробившего сердце и пронзившего корпус насквозь, выйдя под левой лопаткой...

— Это довольно неопределенно, дорогой мой, — перебил его Ле Генн несколько иронически, — не могли бы вы нам сказать, какого рода было это оружие? Что оно было колющее, я вполне в состоянии был догадаться.

Медик слегка развел руками.

— Это немножко странно, но я бы сказал, что это было копье... во всяком случае, нечто похожее...

У жандарма и, наверное, у меня тоже на лице отразилось удивление.

— Мы, однако, не на острове Фиджи, а? — задумчиво произнес инспектор. — Хотя и в Париже всякое бывает, — он бросил мне косой взгляд, и я, может быть, покраснел, схватив его намек на обстоятельства нашей первой встречи.

— Ладно. Мсье Рудинский, ничего, если я вас попрошу мне немножко показать лес и восстановить, по мере возможности, ваш маршрут в нем? А, вы, господа, подождите меня в доме.

— Самое трудное во всем этом, — сказал он, когда мы остались одни, — что мотивы к убийству были, равно как и возможность его совершить, по меньшей мере у трех лиц. И еще, если бы не мое абсолютное доверие к вам... другой мог бы не без основания заподозрить вас тоже. Мы ничего не имеем, кроме вашего слова, чтобы доказать, что у вас не было сентиментального интереса к жертве, и даже многое говорит в пользу подобного предположения; и поскольку вы были в лесу в одиночестве, вы вполне могли совершить это злодеяние без свидетелей. Но нет, нет... — остановил он меня, заметив мое движение протеста, — я вас целиком освобождаю от всякого сомнения. Беда та, что и без вас слишком много кандидатов на роль преступника. Вернье кажется очень милым мальчиком, но явно нервного, эмоционального характера, и, я уверен, был увлечен девушкой. Не удивительно, — его голос прозвучал серьезнее, чем все время, — она была очень хороша. Надо было быть зверем, чтобы... Но под влиянием ревности любой человек, даже мягкий и благородный по натуре, становится иногда зверем. Что до их отношений — напрашивается небольшое выяснение среди их товарищей по Школе Восточных Языков, но заранее убежден, что оно подтвердит мою гипотезу.

Ле Генн несколько минут смотрел вниз, под откос, на деревню — с высоты обрыва, где мы стояли, в сгущавшемся сумраке она сливалась в сплошную массу, — и мы снова повернули в чащу леса.

— Теперь, Мансуров, — продолжал сыщик медлительно, — этот прямо отлит, чтобы быть виновным. Подозрительный номер один... — Шарль Ле Генн взглянул мне в глаза и, должно быть, прочел в них сожаление; по его тонким губам скользнула улыбка:

— Вы уже видите его гильотинированным? Если бы у вас был опыт в полицейской работе, вы бы знали, до чего редко тот, на кого первым делом падает подозрение, оказывается виновным.

Мы направлялись теперь к даче Ивана Ивановича.

— Опять-таки, милый господин Липковский — я заметил, что он у вас не вызывает симпатии; политические расхождения, не так ли? — иностранцу очень трудно разобраться в этих нюансах; это тоже, между прочим, тернии нашего ремесла. У него бы не было никаких видимых причин к подобному акту кровавого безумия... не считая факта, что он о чем-то поспорил с предметом своей любви... перед самой ее смертью, если наш служитель Эскулапа не делает ошибки. Он не такого темперамента, как Мансуров, с его молчаливым обожанием и внутренней драмой, или даже как Вернье, с его артистической складкой и непрестанным волнением. Но он производит впечатление молодого человека с известным запасом жестокости, мстительным характером и, главное, с гипертрофией самолюбия... Да, да, самолюбие, — повторил, словно смакуя, инспектор. — Если его вдруг отвергли ради Мансурова, — который недурен и преданность которого могла растрогать любую женщину, — или ради Вернье, который, видимо, имел успех, — и если ему это было сказано достаточно прямолинейно, без обиняков, он мог впасть в состояние берсекерской ярости... Я вполне могу себе вообразить...

— Но, послушайте Ле Генн, — воспользовался я его минутным молчанием, — мы тут касаемся пункта, который меня прежде всего сбивает с толку. Что это за нелепость о копье? Если это Липковский... чем он мог ударить девушку? Я понимаю, нож... но не носил же он с собой пику?

— Нет, — отозвался мой собеседник почти рассеянно, — тут я не вижу особой трудности. — И, шагнув в сторону, он легким жестом сильной руки вырвал из земли шест, на вершине которого болтался русский флажок, — и повернул его параллельно земле на уровне груди. Моим глазам представился трехгранный остро отточенный железный наконечник.

— На металле не видно крови; она стерта землей; — голос Ле Генна принял тот полусонный, мечтательный оттенок, который, я несколько раз замечал, был типичен для минут, когда его мозг особенно напряженно работал, когда он приходил к решающим выводам о какой-нибудь запутанной и мрачной загадке, — но на нижней части древка, мне кажется, еще заметен красноватый отблеск. Вопрос химического анализа... Что до этой палки, — бретонец всадил ее точно в прежнее место, — в ней, очень вероятно, ключ ко всему. Догадался убийца или нет стереть следы пальцев? That is the question...*

Все население дачи, с прибавкой доктора и жандарма, теснилось вокруг того же самого стола, на котором теперь горела лампа; некоторые перекидывались словами, но при нашем появлении окончательно наступило тягостное безмолвие.

Ле Генн остановился в трех шагах от стола, положив руки в карманы и едва заметно раскачиваясь. Свет лампы вырывал из мрака его удлиненное лицо, тонкий нос, высокий лоб и внимательный взгляд серых глаз, поблескивавших порой, как обнаженная сталь шпаги.

— Господа, — начал он тихо, но ясно, — меня глубоко огорчает трагическое происшествие, приведшее меня в вашу среду. При создавшемся положении, я вижу свой долг в том, чтобы как можно скорее разрешить стоящую перед нами всеми задачу очистить невиновных от всякой тени подозрения и положить конец тому томлению, какое каждый из вас не может не испытывать. Извините меня, если я принужден буду задать некоторым из присутствующих еще несколько вопросов, являющихся формальностью, но без которых я не хотел

* Вот в чем вопрос...

бы все же обойтись. Мсье Сорокин, вы оставались в саду, после того, как вернулись из деревни?

— Да, — дрожащим голосом ответил Иван Иванович, казавшийся постаревшим на десять лет за один день, — мне надо было ответить на два деловых письма, и это отняло у меня часа полтора... а потом Сергей Васильевич, я хочу сказать мсье Тарасевич, проснулся и мы стали играть в шахматы.

— И мадам Иванюк (Это была фамилия Марии Семеновны) тоже не выходила из дому? Простите меня, мадам, чистая формальность... долг службы...

— Нет, никто не мог выйти; я работал тут, у стола, и если бы кто-нибудь воспользовался калиткой, он должен был бы пройти мимо меня; и я бы его, понятно, заметил.

— Благодарю вас. Мсье Тарасевич, — тон Ле Генна стал вдруг холоден и бесповоротен, — я полагаю, чистосердечное признание будет для вас самое лучшее. Даже если вы стерли след пальцев с копья... но я не думаю, чтобы вы успели... а при современном состоянии дактилоскопии отпечаток будет бесспорной уликой. Согласитесь, что при исследовании вашей жизни за последнее время мы найдем психологические данные, против которых вы будете бессильны бороться.

Десяток изумленных, застывших от испуга глаз повернулись к инженеру, вставшему на ноги. Его плотная фигура предстала нам вдруг агрессивной и угрожающей, какой мы ее никогда прежде не видели, и хриплый голос прозвучал страстью, перед лицом которой отступает все.

— Хорошо. Я не доставлю вам удовольствия выматывать себя двадцатичетырехчасовым допросом и применять ко мне всю вашу грязную систему легальных пыток, — он говорил по-французски совершенно правильно и без труда. — Мои нервы слишком много вынесли за последнее время. Да я и не знаю, хочу ли я еще жить? Да, я ее убил... бесполезно спорить, вы найдете отпечаток на шесте. Я только жалею, что я не убил этого пустоголового хвастуна тоже, — он швырнул Липковскому взгляд, от которого тот задрожал.

— Я был для нее достаточно хорош, когда тратил на нее деньги; ей нравился мой автомобиль, мое радио, театр и рестораны, куда я ее приглашал. И когда я ради нее развелся с женой... совершил преступление перед собственной совестью, перед женщиной, отдавшей мне свои лучшие годы... после надежд и обещаний, когда я готов был говорить с ее отцом... какой-то трус, мелкая дрянь без мозга и без воли, оказывается лучше меня, только потому, что он моложе... да, она сказала мне, что я слишком стар. Она не видела этого прежде? Слишком стар, чтобы быть игрушкой; мужчина в мои годы принимает любовь всерьез. Но если бы я знал, что вы меня поймаете... я бы ни за что не отказал себе в удовольствии тем же шестом проломить голову вот этому молодчику...

Минутная пауза была переполнена словно электрическим током, и даже дышать казалось трудным. Потом Ле Генн сказал, уже почти приветливо, с оттенком грусти:

— Мсье, правосудие взвесит тяжесть вашей вины и степень снисхождения, какой заслуживают испытанные вами переживания, побудившие вас к действиям, столь гибельным и печальным. Позвольте мне два-три технических вопроса. Где вы встретились в последний раз с мадемуазель Сорокиной?

Инженер грузно опустился на прежнее место, на котором соседи, Мансуров и Вернье, испуганно от него отодвинулись. В его интонациях появились обычные вялые нотки, словно буря уступила место штилю.

— С самого моего приезда, с утра, я искал и не находил случая поговорить с Еленой наедине. Для меня было притом неясно, избегает она меня или все это само так получается. После обеда я сделал вид, что иду спать, а вместо этого перелез через забор за палаткой, перепрыгнул через канаву и отправился в лес. Наверное, вы нашли мои следы в крапиве или в грязи у канавы. Но как было их уничтожить? И притом, тогда я еще не знал, что произойдет. Неожиданно быстро, в лесу, на поляне, где расходятся дорожки, я оказался лицом к лицу с Еленой. Тут-то она мне и сказала... не хочу

повторять всего... И она думала, что я это стерплю! — и в голосе инженера опять всплеснулась волна неистовой ярости. — Она повернулась ко мне спиной и хотела уйти. Я задушил бы ее, но мне на глаза попался шест... я вырвал его из земли... мне бросилось в глаза острие — до того я думал, что это будет просто дубина... и пошел за нею... она обернулась... ужас изобразился у нее на лице, и она пыталась меня остановить, что-то сказать... но меня и сам Бог в этот момент не остановил бы... я ударил ее и попал прямо в сердце... она упала на спину на краю дорожки... я бессознательно выдернул копье и бросил в кусты... потом оттащил труп подальше в заросли... В этот момент я услышал на поляне шаги, и взглянув, увидел, что это Рудинский. Он как будто искал вехи и не мог найти. Я испугался, что все раскроется, и у меня мелькнула безумная мысль наброситься на него сзади и убить; но я понял, что это было бы бессмысленно. Он повернул в противоположную сторону и скрылся из вида. Тогда я водрузил шест на то же самое место и возвратился прежним путем в палатку, а спустя некоторое время вышел оттуда, сделав вид, что только что проснулся, и сел играть в шахматы с Иван Ивановичем.

Когда жандарм увел Тарасевича и доктор ушел домой, Ле Генн предложил мне его проводить. Дорожка, по которой я пришел днем, совершенно по-новому выглядела под лунным светом, вся в таинственных тенях прямых сосен, кроны которых тихо перешептывались под прохладным ветерком.

— Я предчувствую, что вы хотите меня допросить, как я обнаружил преступника? — вздохнул инспектор с притворным смирением. — Пусть будет так. Первым делом, я в основном стрелял наугад. Никаких настоящих доказательств у меня не было. Следов, о которых Тарасевич вспомнил, я не видел, — и не так легко найти следы в траве, — а если бы и нашел, кто бы смог разобраться, когда он их сделал? Никому не запрещено по уголовным законам лазить через забор для прогулки в лесу. У меня было одно: психологическое убеждение, что убийца — он. Откуда оно взялось? Я им обязан

исключительно вашему рассказу о событиях, в котором вы с большой наблюдательностью подметили массу мелких, но очень важных подробностей. Так, вы указали, что инженер проиграл Сорокину три партии подряд, тогда как вообще он играет гораздо лучше, чем тот. Очевидно, он волновался. Но про убийство он не мог еще знать... Тут что-то требовало исследования. Затем, вы упомянули, что он разошелся с женой. Это обычно делается из-за другой женщины, и, когда речь идет о мужчине средних лет, нередко из-за молодой девушки. Тарасевич человек богатый — но почему-то постоянно ездил отдыхать в Валле-Сент-Мари. Он мог бы себе позволить куда более удобный и шикарный лагерь, при наличии автомобиля, даже оставаясь в русском кругу, я полагаю. Из собиравшегося здесь общества, по вашим рассказам, ему никто не мог быть особенно интересен, кроме мадемуазель Елены. Но открыто он за ней не ухаживал... На основе этих данных я построил свою теорию и рискнул на лобовую атаку, как видите, вызвавшую виновного на признание. Что же, — Ле Генн откровенно улыбнулся, — я поддержал честь парижской полиции в провинции: все следствие заняло не более двух часов. Теперь придется вернуться к моему делу о спиритизме... но оно почти закончено.

Мы попрощались в деревне, на пороге маленького отеля, где остановился Ле Генн, и я вернулся к Сорокину.

***

Удушливая жара сменилась грозой, и когда через два дня рано утром я возвращался в Париж, ливень хлестал струями в окна вагонов, и лишь смутные контуры деревьев, телеграфных столбов и зданий виднелись через густую пелену воды.

Вернье, внешне сохранивший полное хладнокровие, но время от времени нервно вздрагивавший, уехал еще накануне на рассвете, с первым поездом, а с двенадцатичасовым отретировался и Липковский, посеревший от переживаний, но оставшийся неприятным до самого конца.

Я остался еще на день, стараясь хоть немного успокоить Ивана Ивановича и помочь ему в его заботах. Во всем этом меня поддержал Олег Мансуров, ехавший теперь вместе со мной. Ему тяжело далась потеря, и последовавшее разочарование пришлось пожалуй еще горше. На такие натуры, с их искренним идеализмом, разрушение идеала действует хуже, чем смерть или разлука. Но он был еще так молод, что радость жизни и интерес к окружающему уже брали в нем верх над унынием. Мы весь предшествовавший день то и дело затевали разговор о случившемся, и с него несколько раз переходили на темы о политике, — и все более убеждались, что мы единомышленники, — на книги и искусство, обнаруживая много сходных вкусов, на общих знакомых, которых у нас оказалось немало.

Разговор продолжался в поезде, и, прощаясь на вокзале, мы условились встретиться в ближайшие дни. Приятное чувство, что я, кажется, нашел себе нового друга, сильно смягчало мрачное воспоминание об убийстве в Валле-Сент-Мари, как газеты, уже продававшиеся в киосках, называли рассказанную выше историю.

Я возвращался домой по широкому бульвару, осыпанному каплями дождя, отражавшими солнце, вспыхивая точно бриллианты. Свежий ветер был полон бодрости и казался пьянящим, как вино, уносящим заботы и печали с собою вдаль, снимая с души ее бремя. Раннее летнее утро — бывает ли более прекрасное время на свете!

— Я ее не увижу еще три месяца, — мелькнула знакомая тоскливая мысль, но какой-то другой голос подсказал: два месяца и двадцать дней... можно считать, два месяца с половиной... только два с половиной месяца, и я опять с нею встречусь! Она не умерла, как Леночка, не потеряна для меня навсегда... может быть, в отеле меня ждет ее письмо?

И я невольно ускорил шаги...

ДЬЯВОЛ В МЕТРО

There was a study called «Subway Accident», in which a flock of the vile things were clambering up from some unknown catacomb through a crack in the floor of the Boylston street subway and attacking a crowd of people on the platform.

H.P.Lovecraft. «Pickman's Model» *

— Чего вы от меня хотите, инспектор? Если я вам расскажу все, как было, вы мне не поверите. А если я буду замалчивать факты... так, во-первых, у меня нет к тому никакой причины, а во-вторых, вы начнете меня подозревать Бог знает в чем; да вы, кажется, меня уже подозреваете...

— Нет, не говорите: вы ведь не знаете, какого рода историю я должен вам рассказать. Всякий нормальный человек найдет ее бредом! Но вы видите сами, что я не пьян; и вы можете навести обо мне справки; все подтвердят, что я человек уравновешенный и серьезный. Обратитесь хотя бы в типографию Ла Жиронньер, где я работаю наборщиком... Я вам уже сказал, что моя фамилия Кердре, Жан-Мари Кердре.

— Как, вы тоже бретонец, инспектор? Из Трегье? А я из Морбигана, с другого конца нашей старой Арморики. Но все же мы, значит, земляки.

— Хорошо, я расскажу вам все по правде. В тот вечер я сел в метро на остановке Плас де Фет, уже около полуночи. На перроне, когда я спустился вниз, находился только один пассажир, который ходил взад и вперед и словно бы испуганно на меня оглянулся. Я невольно посмотрел на него внимательно. Думаю, что ему было лет сорок, хотя на вид можно было дать больше: его лицо,

* Там был этюд под названием «Несчастный случай в метро», на котором стая неких жутких существ выползала из неведомых катакомб через образовавшуюся в почве трещину и, вскарабкавшись на площадку подземной железной дороги на станции Бойльстон, накидывалась на ожидавшую поезд публику. Х.Ф.Лавкрафт. «Модель Пикмана».

казалось, было изношено удовольствиями и страстями. Очень элегантный серый костюм, яркий галстук... он, видимо, был слегка навеселе — я подумал, что он возвращается из какого-нибудь увеселительного заведения. Но меня поразило выражение его глаз... из них глядели страх и нечистая совесть; и его черты время от времени искажал какой-то отталкивающий тик.

Когда подошел поезд, который был совершенно пуст, сколько я мог заметить, я вошел в последний вагон, а господин в сером костюме в предпоследний. С моего места мне было ясно видно через застекленные двери, как он сел на скамью, нервно перебирая в руках какой-то журнал. У меня не было с собою ничего для чтения, и от скуки я машинально наблюдал за ним.

Именно тогда вдруг произошло нечто неожиданное и чудовищное, такое, что я не мог поверить своему зрению. Я увидел, как с потолка в соседнем со мною вагоне спрыгнул гигантский, голый и черный человек. Да, он был совершенно черный, иссиня черный, и мне его огромная спина напоминала чем-то шкуру тюленя.

— Вы говорите хвост, инспектор? Да, может быть. Но, вы понимаете, я не могу ни за что поручиться; если принять во внимание мое изумление... я был настолько ошеломлен, что, должно быть, так и застыл с раскрытым ртом. Но я скажу вам другое, теперь, когда я об этом думаю: при его падении на пол, я услышал издали глухой стук... такого стука не могут сделать босые человеческие ноги.

— Я, понятно, не мог ничего предпринять: ведь двери между вагонами были заперты. Да и вряд ли я бы захотел очутиться там, ближе к исчадью ада, которое видел, как сейчас вижу вас. В одно мгновение он схватил несчастного, и... Вы видели труп, инспектор. Я наверное, никогда не забуду этой омерзительной, вызывающей дрожь картины. Вы заметили череп бедняги, раздавленный, словно яичная скорлупа? Корпус, разодранный почти напополам от плеча до желудка? Начисто оторванную кисть его правой руки, которой он пытался защищаться? Все это он, черный, сделал одними руками, в несколько неуловимых секунд...

— Воды? Да, спасибо, инспектор. Когда я только восстанавливаю в сознании то, что я пережил, мне делается дурно; а я ведь не слабонервная институтка. Но есть предел людскому мужеству... Я слышал разные истории, у нас, на островах и на прибрежьи, но такую — никогда. И признаюсь вам, здесь, в центре большого города, оно гораздо страшнее, чем среди наших родных туманов и пустынных ланд...

— Благодарю вас, у вас прекрасные папиросы. Сразу чувствуешь себя лучше... Так вы не сомневаетесь в моих словах? Ну, я понимаю, что вам, по вашей профессии, многое случается видеть... но неужели бывает что-либо подобное этому? Прямо-таки невероятно.

— Что было дальше? Мы находились в этот момент в середине пути между двумя станциями: мимо окон шла непрерывная серая стена камня. Но страшное создание, покончившее со своим делом прежде, чем я успел что-либо понять, совершенно свободно вышло из поезда — и я даже не могу сказать, открыло ли оно дверь, или прошло через закрытую! — и исчезло в гранитной стене.

— Кажется, я истерически закричал... в этом момент поезд подошел к станции. Какая-то дама поспешно открыла дверь соседнего вагона, желая войти... и закричала еще громче. Через минуту в мое отделение вскочил кондуктор, поднялись шум и суета... Но я был так взволнован, что ничего не сумел рассказать.

— Само собой... Мне и самому совершенно невыгодно разглашать эту историю. Можете быть спокойны, я буду молчать, как убитый. О, я расскажу, что был свидетелем того, как один незнакомый господин попал под поезд, — вот и все.

— Значит, вы за ним следили. Неужели он в самом деле мог... Ах, какой негодяй! И нельзя было его арестовать? Отвратительно даже подумать, что существуют подобные субъекты! Договор с Сатаной... Разумеется, шутить с князем тьмы небезопасно, и обмануть его для человека невозможно... Да, теперь я понимаю все. Господь да сохранит нас от всякого соприкосновения с силами зла!

В БОРЬБЕ С ТРУПОМ

The splendid fearful herds that stray
By midnight, when tempestuous moons
Light them to many a shadowy prey,
And earth beneath the thunder swoons.
Arthur O'Shaughnessy. «Bisclaveret» *

Мы справляли день рожденья Вали, двадцать пятый по счету. Мне думалось всегда, когда я смотрел на женщин, как хрупка и мимолетна их красота. Несколько лет блестящего расцвета, и она уже непоправимо идет на убыль, гибнет, как бабочка-однодневка, осыпается, как цветок. Валя решительно представляла исключение. Я был с нею знаком уже по меньшей мере семь лет: судьба нас столкнула в первые же дни моего пребывания во Франции. За это время она не только ничуть не подурнела, но становилась день ото дня лучше. Непосредственной грацией веяло от ее высокой гибкой фигуры, живо и задорно глядели смеющиеся глаза под курчавыми темнорусыми волосами, непобедимо заразительной оставалась улыбка на ее устах. Но не в этом заключалось ее обаяние; в ней была прелесть русской женщины, умение просто и по-товарищески подойти к любому человеку, мужчине или женщине, разделив его чувства, порадоваться с ним вместе его удачам, посочувствовать его горестям. Частенько я удивлялся, откуда у нее, дочки простой и бедной семьи из Одессы, взялся природный такт, какому могла бы позавидовать герцогиня, в силу которого она всегда чутко понимала, что можно и чего нельзя сказать, как каждого развеселить

* Их грозные стаи бродят в бурные ночи,
когда выглядывающая из-за туч луна
помогает им хватать свои жертвы,
а земля дрожит под ударами грома.
Артур О'Шонесси. «Бисклаверет».

и привести в хорошее настроение, как никого не задеть и не обидеть.

В этот день она была особенно хороша в своей скромной желтой кофточке и широкой пестрой юбке, и я замечал восхищенные взгляды, которые бросали на нее все собравшиеся за столом мужчины. Наше общество было довольно смешанным по национальному составу: больше всего русских, несколько татар, приятелей Энвера, и даже один сиротливо затесавшийся в нашу компанию француз — он был женат на хорошенькой Айше, землячке Валиного мужа, переделавшей в Париже свое имя на Элизу, но оставшейся незаменимым членом той же группы крымцев из новой эмиграции. Со стены, словно слушая звон стаканов и живой говор на трех языках, смотрел на нас портрет Николая Второго в великолепном гусарском мундире.

По счастью, Энвер не замечал этого восхищения, которое мог бы найти чрезмерным; в обычное время он был безумно ревнив, в том числе и ко мне, хотя в моем сердце безраздельно царила другая богиня.

Сейчас он с увлечением пел какую-то старинную песню на родном наречии и вспоминал со своим соседом красоты Ялты и Алушты, и его большие черные глаза, затуманенные ностальгией, глядели не вокруг, а в далекий край за тысячи и тысячи верст, не в нынешний день, а в прошедшие годы.

Выпито было немало, и даже черный кофе не мог вполне приглушить звона, стоявшего в голове у нас у всех, включая и меня, который не очень податлив на действие алкоголя. Пропета была уже не одна песня по-русски, по-украински и по-татарски, и сейчас разговор разбился на мелкие группы, не слушавшие одна другую и притом употреблявшие разные языки.

— А вот я на днях слышала одну историю, — донесся до моего слуха словно бы издали тихий музыкальный голосок Вали. Она откинулась назад, и мечтательная, слегка боязливая улыбка приоткрыла ее губы. Я признал на ее чертах то выражение, с которым она обычно слушала всякие страшные рассказы (я их для нее собирал повсюду и любил ей повторять).

— Какую, Валя? — отозвался я.

— Это мне Лида рассказала, — может и вы уже слыхали? Будто бы на кладбище Пер-Лашез похоронен один чернокнижник, или уж я не знаю, злой колдун... Словом, один очень богатый француз, знавшийся с нечистой силой и занимавшийся всякими нехорошими делами. Ну, так когда он умирал, он завещал весь свой капитал, целый миллион франков, тому человеку, который бы сорок ночей подряд согласился просидеть в его склепе. Что делать, все равно, только быть там от зари до зари, и так сорок раз без перерыва. И деньги положил в банк; а умер он уже сто лет назад, так что сейчас выходит не миллион, а гораздо больше...

— Почему же больше, однако? — с некоторой иронией сказал я, — курс франка ведь не вырос, а упал... и очень сильно!

— А, это Лида как раз объясняла. Дело в том, что он оставил шкатулку с золотыми монетами, и ее должны передать тому, кто выполнит условия. Ну, а золото, оно наоборот, поднялось в цене.

— И никто не захотел такие деньги заработать? — с жадным любопытством спросил сосед Вали слева.

Это был Гриша, молодой человек лет двадцати, живший в нашем же отеле с сестрой и матерью. Милая, симпатичная семья, которой здорово не везло! Гриша старался учиться, мать надрывала здоровье за шитьем, чтобы хватало на жизнь ему и Кате, девочке-подростку, и сводить концы с концами им выходило очень тяжело. С грустным сочувствием я подметил, как у бедного мальчика разгорелись глаза при упоминании о миллионе франков. С непривычки выпитая водка и вино сильно ударили ему в голову, и его широкая физиономия, оттененная маленькими черными усиками и коротко подстриженными темными волосами, вся так и разрумянилась.

— Еще бы нет! — откликнулась Валя, которой нравилось, что двое мужчин с живым вниманием слушают ее повествование, и которой хотелось поддержать интерес, — только дело-то получилось совсем нелегкое. Сколько народу пробовало, и все, один за другим, отказывались, кто через день, кто через два. Дольше

всех, рассказывают, выдержала одна католическая монахиня, но и она не смогла выполнить условие: через три недели отказалась.

— Тогда, и сейчас еще, если найдется желающий, можно попытать счастье? — напряженным тоном осведомился Гриша.

— Нет, похоже, что нельзя; точно я не знаю, впрочем. Но, передает Лида, позже это запретили. Потому что одного из охотников заработать нашли в обмороке, и он, кажется, несколько повредился в рассудке. Да оно бы еще ничего... Однако, когда другой умер от разрыва сердца в том же склепе, тут уж власти вмешались и запретили туда вход. Так и остались деньги в банке, никому не в прок.

— На Пер-Лашез, — задумчиво сказал Гриша.

— Я думаю, все это одна легенда, — скептически вмешался я; по правде сказать, его возбуждение показалось чем-то нездоровым, и что-то вроде недоброго предчувствия прошло у меня по сердцу. — Лидия Сергеевна, я уже не раз замечал, любит придумывать всякие романтические сказки.

Валя, по-видимому, слегка обиделась на мое недоверие.

— Можно было бы пойти прямо на кладбище и там спросить, — начала она было возражать.

Но тут Энвер перебил нашу беседу, затеяв хоровую песню, в которую красивое контральто Вали немедленно вступило, выделяясь на фоне всех остальных мужских и дамских голосов, звучавших немножко кто в лес, кто по дрова.

Я петь не умею и только разглядывал окружавших. Мне бросилось в глаза, что Гриша тоже молчит, сосредоточенно упершись взглядом в пустую тарелку...

***

В течение ближайших дней я был сильно занят и как-то отбился от жизни своего отеля; возвращался поздно вечером, усталый варил себе ужин и заваливался спать. Однажды, в сумерки, я столкнулся во дворе с Гришей и поразился. Он шел словно пьяный, неуве-

ренный, колеблющейся походкой, и когда я взглянул ему в лицо, оно меня ужаснуло. Как бывает, когда люди внезапно худеют, щеки покрылись складками; под глазами отвисли мешки, заставлявшие его казаться почти стариком; и кожа приобрела зловещий землистый, свинцовый оттенок.

Воспоминание о Любе проскользнуло по моему сознанию. Но этот случай был, похоже, куда хуже, намного хуже...

— Что это такое с Гришей? — спросил я у Вали на следующий день. Теперь я был свободнее и рад возможности зайти к ней на чашку кофе.

Молодая женщина бросила мне быстрый взгляд своих выразительных глаз.

— Вид у него и впрямь нехороший; Бог весть, с чего бы это? А вы знаете... он такой чудак; ходил ведь на Пер-Лашез справляться про того покойника... помните, что я рассказывала...

— Ну, и что? — спросил я с деланным равнодушием.

— Правда, есть такой. — Валя, наверное, сама того не сознавая, почему-то понизила голос. — Даже фамилию узнал у сторожа... Но, как и говорила Лида, вход в могилу закрыт, строго-настрого.

Она вдруг прервала себя и быстро шагнула к двери, чтобы ее открыть. Через окно нижнего этажа, у которого я сидел, я заметил женскую фигуру у входа.

Это оказалась Ольга Михайловна, Гришина мать, еще красивая моложавая женщина.

Ей надо было что-то занять по хозяйству у Вали, но она, конечно, не могла отказаться от гостеприимного приглашения присесть. После нескольких минут, речь, естественно зашла о том, что являлось сейчас, очевидно, ее главной и тяжелой заботой.

— Очень меня мой Гриша беспокоит последнее время. Прямо ну будто его подменили. Ах, уж я говорила ему: нельзя сразу и учиться, и работать, и так переутомляться. Тут, во Франции, учиться так трудно...

— Да что с ним? Может, ничего серьезного? — с сочувствием отозвалась Валя.

— Куда! Никогда не был лунатиком, и в роду такого не имелось ни у меня, ни у мужа, а теперь каждую ночь встает и рвется куда-то идти... Мы с Катей насилу его удерживаем и укладываем обратно. Ослабел совсем, а ночью мы вдвоем едва-едва с ним справляемся. Свалится с лестницы, что будет? Беда, беда сплошная... Однако, надо идти: скоро Катя прибежит из школы.

С тяжелым вздохом Ольга Михайловна поднялась с места.

***

Это тогда я вспомнил об инспекторе Ле Генне. Я еще колебался, но когда однажды ночью Гришу, не вернувшегося домой, подобрали без чувств на улице, в районе Бастилии, мое решение было окончательно принято.

Признаться, я все же чувствовал себя не совсем уверенно и уютно, и несколько раз прошел взад и вперед по узенькой и кривой улице де Соссе, прежде чем переступил порог огромного тяжеловесного здания, перешагнул, словно вступая в холодную воду.

Под внимательным взглядом сидевшего в передней полицейского, я вытащил и вручил ему паспорт.

— Инспектора Ле Генна? Да... — он взял трубку телефона. — Третий этаж, комната 217, — объяснял он мне через несколько минут.

Против ожидания, Ле Генн встретил меня чрезвычайно приветливо, как старого знакомого, без удивления или недоверия. Он слушал мой рассказ с таким тактом, что я вскоре вполне овладел своим языком и изложил ему ясно и связно все обстоятельства.

— Серьезное дело, — сказал инспектор, когда я кончил. — Я рад, что вы обратились ко мне. Но все это не так просто. Погодите... я сейчас подумаю. Скажите, вы не могли бы зайти ко мне домой, допустим, послезавтра после обеда? Я хочу вас познакомить с одним моим другом; мы посоветуемся вместе о том, что предпринять. Хорошо? Значит, я буду вас ждать. Дайте я запишу вам адрес.

***

Воздух августа был тепел и сладок, как молоко. В тишине сонно пели фонтаны Люксембургского парка, средь широких аллей и скверов; изумрудная зелень переливалась в неподвижном просторе, обрамленная рисующимися вдали контурами белых зданий... Моя прогулка длилась с полчаса; потом, посмотрев на часы, я подумал, что время уже подходящее для визита, и свернул к короткой прямой улице Пьер Николь. Изящные похожие друг на друга дома и прямые линии железных балконов тянулись вдоль всей ее длины. Я взглянул на номер и поднялся в один из подъездов. Квартира Ле Генна была на третьем этаже. Он открыл мне дверь с дружеской улыбкой и провел меня внутрь.

— Жена уехала к родным в провинцию, так что я сейчас хозяйничаю один. Вы разрешите предложить вам кофе? Проходите сюда, здесь мой кабинет. Будьте знакомы: мой друг, профессор Геза Керестели из Пештского университета.

Мужчина, вставший мне навстречу из глубокого кресла, принадлежал к знакомому мне типу венгра из высшего класса. Стройный и высокий, с аристократическими чертами худощавого, аскетической складки лица, с красивыми мягкими и вьющимися пепельными волосами, он мог иметь, как я подумал, лет сорок, хотя казался бы моложе, если бы не серьезный взгляд карих глаз и сдержанность в движениях.

Мы обменялись несколькими учтивыми фразами — Керестели говорил на безукоризненном французском языке безо всякого акцента. Хозяин поставил перед нами по чашке кофе, предложил нам папиросы, и после этого обратился к профессору со словами:

— Теперь, Геза, расскажи нам все, что тебе удалось узнать. От мсье Рудинского в этом деле у меня нет секретов, и я хочу, чтобы он был осведомлен как можно полнее и мы все трое могли бы действовать сообща.

Венгр кивнул, и начал свой рассказ, заглядывая иногда в записную книжку.

— Ты уже знаешь, Шарль, но господин Рудинский, может быть, еще не знает имени того существа, которое лежит в основе наших беспокойств, и потому я первым делом уточню, что его называли при жизни Огюст Лемаршан. Нам лучше начать с его отца. Дальше я не имел пока возможности углубиться в родословную фамилии — и жаль, так как там могли бы встретиться всякие любопытные сюрпризы. Во всяком случае, Филипп Лемаршан, отец Огюста, происходил из одной деревни в Нормандии, пользующейся довольно дурной славой: еще недавно там имел место процесс ведьм.

Молодой Филипп вынырнул на сцену с началом Великой Революции, сперва у себя в провинции и быстро затем в Париже. Известен факт, что многие буржуазные семьи Франции составили свое состояние в эту эпоху, и некоторые из них не весьма почтенными средствами.

Профессор запнулся и бросил на Ле Генна несколько обеспокоенный взгляд, смысл которого тот мигом разгадал.

— Ты можешь говорить не стесняясь, старина! — воскликнул он не без некоторой обиды. — Мои предки были на другой стороне! Один из них, по прямой линии, был адъютантом де Рошжаклэна и убит в бою рядом с ним, на берегу Луары. А по матери я, хоть и в дальнем, но бесспорном родстве с самим Кадудалем, чем, признаться, горжусь.

— Итак, Филипп Лемаршан был одним из людей, которые по уши вымазались в крови 1793-го года и у которых главной целью были деньги, и денег он оставил своему сыну больше чем достаточно. Этот сын, Огюст, был эпикурейцем, решившим наслаждаться жизнью как только можно. Эстетом в искусстве и литературе, жуиром в светских салонах.

Огюст Лемаршан родился в Париже, в 1810-м году, когда его отцу было уже за 50 лет, причем его появление на свет стоило жизни его еще совсем молодой матери, и остался в 20 лет сиротой и наследником огромного по тому времени состояния. Тогда мир предоставлял

богатому человеку возможности более интересные, чем нынче: мы мало имеем в наши дни даже представления о том, сколько в нем было свободы, красоты и комфорта! Огюст, получивший хорошее образование и привычный к обществу золотой молодежи столицы мира, был по складу характера гедонистом и желал взять от жизни все удовольствия, какие она может дать, в самом широком смысле, интеллектуальном, эстетическом и физическом.

Он прожил достаточно долгую жизнь, чтобы выполнить свой план; он скончался только в 1884-м году, на заре нового века.

— Тогда, значит, с его смерти не прошло еще ста лет, как мне говорили? — робко спросил я.

— Нет, только 70 лет. Но 70... это как раз цифра знаменательная в оккультных науках, связанная для всех темных сил с увеличением их влияния, — Керестели и Ле Генн понимающе переглянулись.

— Теперь, через такой долгий срок, нелегко восстановить второстепенные события середины прошлого столетия, хотя наш друг и дал мне к тому широкую возможность, открыв мне доступ во все архивы, полицейские и иные, — профессор сейчас обращался преимущественно ко мне.

— Общая картина, однако, восстанавливается довольно ясно. Значительную часть времени, особенно в первые годы после смерти отца, Лемаршан провел в путешествиях, включая Индию и Дальний Восток, и целые годы на Балканах, бывших тогда в большой моде. С возрастом он стал менее подвижен и прочно осел в Париже. Круг его интересов был широк: наука, искусство.., но с бесспорным уклоном в сторону всего зловещего: оккультизм, демонология, вивисекция... Один из документов доказывает, что при его доме — он жил в большом мрачном особняке в Отейле — имелась тайная курильня опиума. Но там, верно, много можно было найти курьезного...

Полиция располагала почти бесспорными данными о тайных пороках, безобразных оргиях и кощунственных

церемониях, чтившихся за высокой оградой этого особняка, купленного еще первым Лемаршаном, прежде принадлежавшем одному герцогу. Но его теперешний владелец был богат и влиятелен; он умел кого надо подкупить; доказать что-либо в подобных материях нелегко... а самое главное, в числе завсегдатаев и случайных посетителей были лица, которых властям никак не хотелось втягивать в скандал. Я не буду называть сановников и светские фигуры того времени; большинство из них ныне забыты. Стоит, пожалуй, упомянуть маркиза Де Кюстина. Но Лемаршан пользовался славой мецената и обширными связями в литературном мире. Достаточно сказать, что в разные периоды в числе гостей его салона считались Жерар де Нерваль, Барбе д'Оревильи, Шарль Бодлер, Гюисманс, Вилье де Лиль Адам, Мопассан и Оскар Уайльд...

— «Les fleurs du mal», «Les diaboliques», «Contes cruels», «A rebours», «Horla»,* — невольно пробормотал я. — Самоубийство, безумие, извращение...

Мадьяр бросил мне быстрый взгляд с интересом и пониманием:

— И ведь это были, несомненно, первые по уму и таланту люди во Франции! Вы никогда не задумывались над тем, почему они все, включая и англичанина Уайльда, попали на такую скверную дорогу, все так преждевременно и трагически погибли? Словно бы чья-то вражеская рука тяготела над их судьбой... Но ближе к делу. Смерть Лемаршана окутана какой-то тайной. Да, я уже говорил тебе, Шарль, следствие по его делу явным образом умышленно запутано, и в досье не хватает важных бумаг. Придушенный скандал... Естественная кончина или убийство? Скорее всего, несчастный случай, а мы знаем, что под таким названием нередко скрывается... Скандалом, который остался открытым, было его завещание. Вы оба уже знаете суть этого документа. Миллион франков в нынешних деньгах тому, кто в течение сорока ночей будет проводить время от 11 вечера до 7 утра внутри его склепа на Пер-Лашез!

* «Цветы зла», «Жестокие рассказы», «Лики Диавола», «Наоборот», «Орля».

— Условие оставалось в силе 20 лет, до 1904-го года, когда дальнейшие попытки были запрещены. За это время нашелся 21 охотник разбогатеть; большинство в первые годы... Перерыв с 1890-го по 1902-ой год странным образом последовал за появлением на сцену сестры Урсулы де Рокейроль. Эта монахиня, из ордена, посвятившего себя благотворительности, была одушевлена идеей добыть деньги для своей организации. Но через 21 день она отказалась от своего, казалось, весьма удачно начатого предприятия: до нее никто не выдерживал так долго. У нас есть свидетельство, что сестра Урсула сказала одному любопытному, что ей стало теперь ясно одно: такие грязные деньги, на которых накопилось столько греха и зла, не могут быть обращены на пользу ближнему или на служение Богу, даже если бы она и сумела ими овладеть.

— После нее про могилу и деньги Лемаршана словно забыли. Однако в 1902 году страсть к наживе вдруг вновь вспыхивает вокруг лежащего в банке, страшно выросшего за эти деньги капитала. За 1902-1903 год находится 10 человек, жаждущих легкого обогащения; до того за все время их набралось 11. В конце 1903 года два опыта кончаются трагически. Студент-медик Анри Гардон выходит на третий день из склепа в состоянии буйного помешательства, так что его приходится прямо с кладбища отвезти в психиатрическую лечебницу, где он, как я проследил, умирает через год. Банковский служащий Пьер Морель после первой же ночи испытания оказывается лежащим мертвым; его находит на утро сторож. Именно после этого инцидента по постановлению Префектуры дальнейший доступ публики в склеп Лемаршана строго воспрещается.

Керестели сделал паузу.

— Но прекращается ли его влияние? Сперва небольшое замечание о предшествующем. Из 21-го мне удалось проследить судьбу девяти посетителей, не считая двух последних, Гардона и Мореля. Ни один из них не прожил больше года после посещения Пер-Лашеза... За исключением сестры Урсулы, которая мирно достигла

глубокой старости и скончалась в ореоле святости, настоятельницей монастыря близ Шартра. Кроме того, все это, понятно, материал отрывочный и случайный. Иначе и быть не могло; да еще если учесть, что у меня было всего два дня на поиски! Но в старых газетах я обнаружил несколько происшествий, которые, взятые вместе, наводят на серьезные подозрения. В 1936-м году, в мае месяце, молодая девушка, Жанна Тессье, падает и умирает, видимо от разрыва сердца, во время случайной прогулки на Пер-Лашез, и — хотя это точно не указано в газетах — где-то в непосредственной близости от склепа Лемаршана. В 1940 году, зимой, пожилой мужчина, личность которого не удается установить, кончает с собою в комнате дешевого отеля около кладбища. Я беру два инцидента наудачу. Факт, что вблизи Пер-Лашеза случаи внезапной и загадочной смерти, помешательства и самоубийств непомерно часты; и у меня есть впечатление, что они волной расходятся все дальше и дальше по Парижу...

Керестели кончил, и на несколько минут наступило молчание. Потом Ле Генн швырнул в пепельницу окурок папиросы и встал.

— Я предлагаю поехать сейчас на кладбище и осмотреть склеп. В такси это не займет много времени; а тогда многое станет яснее. Вы согласны?

У меня внутри неприятно захолонуло. Но профессор казался как нельзя более довольным.

— Чудесно, друг мой! Я сам хотел сказать, что без этого нам никак не обойтись...

***

Все это было как в кошмаре, о котором мне и сейчас тягостно вспоминать и который почти невозможно пересказать.

Старый сторож, отпирающий тяжелым ключом каменную дверь, не сразу поддавшуюся нашим общим усилиям... Затхлый, сырой воздух, повеявший в лицо... Темная лестница вниз... бледный круг от электрического фонаря Ле Генна...

Огромный саркофаг, густо покрытый пылью, гранитная скамья вдоль стены... Мы насилу втиснулись втроем в небольшую комнату, где стоял промозглый холод... Я остался позади, тогда как Керестели и бретонец почти с жадностью устремились ко гробу.

— Смотрите! Стеклянная крышка... Вот чего я не ждал! — воскликнул профессор.

Когда сыщик любезно отодвинулся, давая мне место, мне ничего не оставалось, как бросить взгляд на толстое, прозрачное стекло, которое Керестели заботливо отер платком, и куда Ле Генн навел свой фонарь.

Брр... это было отвратительно... мертвец, набальзамированный, что ли? — сохранился словно живой. Нет, это был труп, это чувствовалось сразу... но все очертания иссохшего лица ничуть не пострадали от тления... и нечеловеческая, сатанинская свирепая улыбка застыла на губах... Так и чудилось, что сейчас эти пергаментные веки приподымутся и из-под них плеснет, словно из глубины пекла, пылающий злобой взгляд...

Я вздрогнул и отодвинулся. Профессор и инспектор вполголоса деловито обменивались впечатлениями. По счастью, это продлилось недолго. Наверху нас снова встретило яркое солнце, зелень, летняя жара... но я не мог разогнать ощущение холода и с трудом подавлял дрожь. Вскоре мы сидели опять в кабинете Ле Генна. Гостеприимный хозяин, не спрашивая, поставил на стол бутылку коньяку, и разговор возобновился лишь после второго бокала.

— Итак, во всеоружии данных, дорогой профессор, какое средство ты нам посоветуешь? — спросил затем инспектор с несколько напускной веселостью.

Венгр поднял на него свои серьезные глаза и скрестил на столе перед собой длинные худые пальцы.

— Радикальной мерой, и наилучшей, было бы извлечь труп из гроба, забить ему в сердце осиновый кол, отрубить голову, а затем сжечь. Что касается пепла...

Ле Генн поднял руку жестом усталого и пессимистического протеста.

— Нет, я решительно не вижу, чтобы муниципалитет позволил мне произвести подобную операцию. Даже если бы мы обратились в министерство... Нет, поищем что-нибудь менее экстраординарное.

Геза Керестели кивнул, показывая, что он ждал подобной реакции.

— Другой способ, компромиссный, раз уж это необходимо, состоит в том, чтобы наглухо замуровать дверь в склеп при соблюдении известной процедуры. Замазка и известь должны быть приготовлены по специальным правилам... но это я могу легко устроить: у меня есть знакомые каменщики из числа наших, венгерских эмигрантов, и если хочешь, приглашу двоих ребят... пусть они заодно и подработают... Идет?

Ле Генн просиял улыбкой, не скрывая своего удовлетворения.

— Превосходно, дорогой мой! Это все вполне реализуемо. Сговоритесь с вашими парнями; им заплатят по высшему тарифу, из сумм нашего отдела Сюрте.

— Должен, однако, тебя предупредить, что это — только паллиатив. Со временем, под действием дождя, ветра, перемен температуры, неизбежно образуются щели, если не в двери, то в стенах... и я замечал, что в подобных данному случаях атмосферные условия начинают действовать со странной быстротой... А первая же трещина вновь освободит силу, с которой мы пытаемся бороться.

— Что же делать! Но, по крайней мере, надо все устроить поскорее. Если бы завтра?

— Завтра? Нет; но послезавтра, это бы я, пожалуй, мог... В полдень лучше всего. Вы хотите присутствовать? — вежливо повернулся Керестели в мою сторону.

Я почувствовал, что во мне любопытство взяло верх над страхом.

***

Не успел я прождать и пяти минут, бродя вокруг поросшего мохом темного и низкого здания, похожего на гриб, как на дорожке показались Керестели и двое рабочих, нагруженных какими-то инструментами, в сопровождении кладбищенского сторожа.

Сердечно пожав мне руку, профессор отдал своим спутникам распоряжения по-мадьярски, сказал что-то сторожу, который отошел в сторону, и затем взял из рук одного из каменщиков предмет, оказавшийся складным треножником. Через несколько минут на нем горели сухие травы, высыпанные из принесенного Керестели мешочка, и густой ароматный дым расстилался по земле и постепенно окутывал гробницу вампира. Профессор предварительно сообразил направление ветра, и сейчас громко читал вслух заклинания по нескольким манускриптам, извлеченным из его портфеля. В известный момент, — по-видимому, он принимал в расчет время и положение солнца, — он сделал знак каменщикам, и те быстро и дружно взялись за работу.

Через полчаса, осмотрев накрепко замурованный вход, мы с профессором направились к воротам кладбища. Он горбился, словно бы после целого дня утомительного труда.

— Теперь остается последнее, — сказал он мне уже на улице, — мне надо повидать вашего соседа. Вы говорите, молодой человек учится в университете и не имеет постоянной службы? Тем лучше: скажите ему, что я, может быть, найду для него работу на некоторое время, и под этим предлогом приведите его ко мне... скажем, в ближайшую пятницу.

Гриша, который последние дни выглядел заметно лучше, встретил мое предложение с энтузиазмом.

В назначенный срок мы появились в скромной квартире профессора Керестели, жившего на улице Бертеле, около бульвара Гэй-Люссак. Он нас принял очень мило и просто, и Гриша сразу почувствовал себя совершенно свободно; что до меня, я приметил испытующий и словно оценивающий взгляд, который за разговором искоса бросал на него несколько раз венгр.

— Вы, значит, студент-биолог? — спрашивал он между тем молодого человека. — Как нельзя более удачно! Потому что работа, которую я хотел вам поручить, хотя и не требует специальных познаний, связана как раз с биологией. Вот в чем дело. Проглядите эту рукопись: мне было бы нужно, чтобы вы ее переписали от

руки и внесли в нее дополнения, которые отмечены вот на этих страницах под соответствующими номерами...

Гриша сидел, утонув в мягком кресле, около маленького столика, на котором были перед ним разложены бумаги, слушал журчащую речь профессора и, казалось, из последних сил боролся с непреодолимой сонливостью. Мучительная зевота раз за разом сводила его челюсти; он все с большим трудом разъединял слипающиеся веки, и тщетно ерзал на месте, пытаясь рассеять дремоту.

— Вы спите? — оборвал вдруг свои объяснения профессор.

— Сплю, — отозвался изменившийся голос Гриши.

— Очень хорошо, — венгр ласково положил руку на черноволосую голову молодого человека, — когда вы проснетесь, вы забудете про все, связанное с кладбищем Пер-Лашез и могилой Лемаршана. Вы там никогда не были; вы не слыхали рассказа про его завещание. Вы ничего о нем не знаете! И вы не будете столько терзаться мыслями о деньгах, как прежде; скоро вы окончите курс, будете хорошо зарабатывать, сможете как следует поддержать мать и сестру. У вас есть молодость, здоровье и чистая совесть. Сколь многие на свете тщетно желали бы это иметь! И в ожидании, я вам помогу, так что вам не о чем беспокоиться. Теперь вы можете проснуться.

Тонкие пальцы профессора перебирали большие листы, исписанные мелким убористым почерком.

— Вы хорошо разбираете мою руку? — спросил он настойчиво.

Гриша виновато встряхнулся, проклиная, должно быть, в душе не во время напавший сон.

— Да, господин профессор!

***

На этом кончились или по крайней мере прервались на длительный срок загробные злодеяния Огюста Лемаршана с кладбища Пер-Лашез.

ДОПРОС

Tout ce qu'on fait á la copie, l'original en souffre,
et la chair succombe aux blessures de la cire.
Maurice Renard. «La gloire du Comacchio»*

— Господин Арто, я принужден просить вас отвечать на поставленные вопросы точно и в серьезном тоне. Не забывайте, что это официальное следствие.

— Постараюсь исполнить ваше требование, сударь. Но ваши вопросы носят столь странный характер... поистине, я не могу не находить их совершенно не относящимися к делу, фантастическими и неуместными.

— Предоставьте мне, в качестве полицейского чиновника, самому разбираться в допустимости и целесообразности моих действий. Во всяком случае я обязан приложить все усилия, чтобы выяснить причины, приведшие к смерти человека... в данном случае вашей жены.

— Вы можете даже сказать «бывшей жены». Вы знаете, что мы с Мадленой уже год, как разошлись, что она хлопотала о разводе и почти добилась его; остались лишь последние формальности. Но вам известно также, что в момент ее гибели я находился в Париже, в бюро акционерного общества, где я служу. Тогда как она погибла вблизи Тура, в результате автомобильной катастрофы, вполне, впрочем естественной. Каким же образом можно меня делать ответственным за этот инцидент?

Пауза.

— Разрешите мне прочесть вам выдержку из протокола. Вот... да, это место: «При столкновении легкового автомобиля с грузовиком, в результате удара, выбитый

* Оригинал страдает от всего, что причиняют копии, и плоть погибает от ран, нанесенных воску. Морис Ренар.«Слава Комаккио».

продолговатый кусок стекла вонзился в правый глаз управлявшей машиной мадам Мадлены Арто, проникнув вплоть до мозга, что и явилось причиной немедленной кончины...»

— Довольно отталкивающие подробности. Но я не вижу, что вы хотите ими доказать?

— Практикуете ли вы занятия черной магией, мсье Арто?

— Решительно, инспектор, вы или с ума сошли, или позволяете себе шутки, уж вовсе не подходящие к официальному допросу. Что, в самом деле, можно отвечать на бредовые инсинуации в этом роде? К ним просто нельзя относиться всерьез.

— Потрудитесь взглянуть на этот предмет. Знаком ли он вам?

«Предмет» лежит на столе между собеседниками, извлеченный инспектором Ле Генном из ящика, который он снова задвинул. Это — небольшая кукла из черного воска, комически одетая в элегантное платье с широким декольте, и даже в миниатюрные туфельки на каблучках; золотистая длинная шевелюра из настоящих волос распущена по плечам, и метет сейчас крашеную деревянную поверхность стола. Черты лица вылеплены с большой тонкостью, и даже кажется, что на них застыло страдание. Длинная тонкая игла всажена в правый глаз.

— Откуда вы достали эту пакость? — раздается изменившийся, сдавленный голос допрашиваемого.

— Вы видели эту статуэтку прежде?

— Никогда в жизни!

— Между тем, она была обнаружена в запертом на ключ шкафу в вашем кабинете, на месте вашей работы. Вы отрицаете? Слышали ли вы, мсье Арто, о науке, которая называется дактилоскопией? Вы даже не позаботились надевать перчатки во время своих манипуляций; на воске отпечатки пальцев сохраняются очень хорошо. Экспертиза нашла ваши и установила их подлинность.

Пауза.

— Наш разговор вполне бессмыслен, инспектор. Не будем спорить, видел я этот фетиш раньше или нет, прикасался к нему или нет. Вы отлично сознаете сами, что не имеете возможности привлечь меня к ответственности на основании подобных обвинений. Процесс в стиле инквизиции во Франции 20-го века? Вы побоитесь сделать себя и всю полицию смешными! Да и уголовный кодекс не предусматривает подобных преступлений. Мне абсолютно нечего бояться.

— Бесполезно отрицать: ваш расчет правилен. Перед законом вы в безопасности. Я принужден предоставить вас суду Бога и вашей собственной совести.

Короткая пауза на этот раз полна злобного циничного торжества. Коренастый мужчина средних лет кладет руки на ручки кресла, готовясь встать.

— Одну минутку, мсье Арто. — Тонкие пальцы Ле Генна перебирают бумаги в лежащей перед ним папке. — Я вижу в материалах по вашему делу указание, что пять лет тому назад в Лионе вы состояли членом спиритического общества, деятельность которого привлекла внимание властей и вызвала особое следствие. Общество было в результате закрыто, и некоторые из его членов преданы суду...

— Вы снова беретесь за то же самое, инспектор! Ваши справки должны, однако, содержать и тот факт, что я был признан совершенно непричастным к эксцессам, какие себе, к сожалению, позволили некоторые из участников сеансов.

— Да, против вас не было доказательств. Одним из наиболее пострадавших оказался, как я вижу, некто Жозеф Рикарди, уроженец Бастии, на Корсике. Признанный виновным в нарушении пристойности и в участии в кровавых жертвоприношениях, он был приговорен к десяти годам заключения. При этом одним из свидетелей, чьи показания больше всего ему повредили, явились вы.

— Что вы хотите, инспектор! Я ничего не имел против Рикарди; наоборот, он был неплохой парень, хотя и примитивный, но мой долг был рассказать правду, что я и сделал.

— Несомненно, сударь. Поскольку вы так сочувствуете Рикарди, я уверен, что вас порадует новость, которую могу вам сообщить: в силу примерного поведения в тюрьме и всплывших уже после суда смягчающих вину обстоятельств, его приговор был сильно смягчен, и он недавно выпущен на свободу.

— Как? Уже? Но я был уверен, что он еще пять лет... что еще пять лет я...

— Нет, наше правосудие не всегда бывает неумолимым. Я и сам лично принял участие в этом деле и всячески добивался милосердия для Рикарди, которого завели на дурной путь другие, оставшиеся в тени. И слава Богу, добился. А теперь, мсье Арто, не смею вас дольше задерживать...

***

Несколько дней Ле Генн с живым любопытством проглядывал все новые сообщения о преступлениях в Париже.

В одно прекрасное утро его приятель Элимберри подсунул ему очередную сводку со словами:

— Вот, кажется, ты интересовался этим типом, Шарль.

Перед глазами инспектора лежало сообщение о том, что господин Роже Арто найден у себя на квартире плавающим в луже крови с перерезанным горлом и что след преступника пока не обнаружен...

— Думаю, что это одно из тех преступлений, которые никогда не будут раскрыты, — бросил Ле Генн Элимберри; в его серых глазах читалось что-то похожее на удовлетворение.

ЛИХО ОДНОГЛАЗОЕ

Ты неведомое, незнамое,
Без виду, без образа,
Без имени-прозвища,
Полно гнуть меня ко сырой земле.

А.К.Толстой

Человека, с которым меня познакомили в доме у Натальи Николаевны, звали Фома Петрович Мешков. Я взглянул на него с любопытством, так как слышал о нем прежде, и с довольно курьезной стороны: говорили, что он пользуется большим весом в кружке русских теософов и спиритов. Но вид его меня разочаровал: это был невысокого роста плешивый господин с сильно поношенным лицом, далеко за пятьдесят. Особенно не понравились мне его глаза, пронзительные и бегающие. Справедливость требует, однако, прибавить, что с первых же слов я убедился, что он был неглуп и получил хорошее образование.

Своеобразная это была семья, центром которой являлась Наталья Николаевна! Они жили вместе с мужем и его холостым братом и с одним, оставшимся одиноким, старым другом. Все они работали, не нуждались, интересовались общественными вопросами, литературой, искусством и имели необычайно широкий круг знакомых. Здесь, кажется, никогда не садились за ужин без гостей, и каждого пришедшего ни о чем не спрашивая, не слушая возражений, вели к столу и угощали доотвала. В одном можно было упрекнуть этих милых людей: они были безгранично терпимы к человеческим слабостям, и потому у них иногда случалось встречать самые фантастические личности.

На этот раз я забежал довольно поздно, для того, чтобы передать приглашения на какое-то собрание, а

потому вскоре распрощался с хозяевами. Фома Петрович вышел одновременно со мной, и мы продолжали начавшийся разговор на улице.

Зима была в разгаре, и тротуары покрывал снег. Длинные черные тени падали на него от наших фигур, когда мы проходили около фонаря или освещенного окна. Беседа, не приходится этому удивляться, вращалась вокруг потустороннего и всяких загадочных явлений в человеческой жизни. Помню, мой спутник доказывал мне, что удача или неудача, те подчас удивительные полосы невезения или счастья, каким подвержено наше существование, зависят от того, что мы попадаем под власть того или иного, доброго или злого, стихийного духа, и что, с этой точки зрения, сказки о лихе-одноглазом и о горе-злочастье, персонифицированных, как живые существа, полны глубокого смысла.

Увлекшись спором, я отклонился от нормального пути, и скоро мы оказались в незнакомом мне глухом переулке. Перед одним большим домом мой собеседник задержался и, сказав, что он тут живет, любезно пригласил меня зайти. Не столько любопытство, сколько нежелание внезапно оставить увлекательную тему толкнуло меня согласиться. По русским сумбурным нравам нет ведь ничего неудобного зайти к едва знакомому человеку в первом часу ночи!

Мы поднялись на второй этаж. Мешков занимал огромную пустую квартиру из многих комнат, которую ему временно оставили на сохранение уехавшие куда-то друзья. Она была нетопленная: присев, не снимая пальто, у большого стола в кухне, мы горячо продолжали дискуссию об оккультных вопросах.

— Вы хотите меня уверить, что мир полон духов и призраков, — воскликнул я в пылу спора, — но почему мы их никогда не видим и не можем с ними вступить в общение?

Тут-то Фома Петрович и обронил фразу, навсегда мне запомнившуюся:

— Они все время рядом с нами: стоит их позвать, и они придут.

Бог весть почему, мне стало жутко. В соседней комнате послышались... вернее, мне почудились, легкие, быстрые шаги, приближавшиеся к нам. Нет, это просто сквозняк прошуршал по полу какой-то старой бумажкой...

Только теперь, может быть, от того, что мое увлечение схлынуло, я почувствовал, несмотря на теплое пальто, что в комнате невероятно холодно и чем дальше, тем хуже. Поерзав на стуле несколько минут, я встал, сославшись на позднее время, пожал руку Фоме Петровичу и отправился домой.

Это выглядело совершенно нелепо и, несомненно, было плодом рассуждений о спиритизме. Но всю дорогу в моих ушах раздавались хрустящие у меня за спиной по снегу шаги. Многократно я оборачивался... но за мной не было никого. Чтобы быть откровенным, надо сказать и другое... трудно передаваемое. Несколько дней, и особенно ночей после этого, меня мучило ощущение чьего-то незримого, давящего присутствия. Словно мою комнату кто-то разделял со мной, будто чьи-то глаза, враждебные и мрачные, следили за каждым моим движением. Потом это чувство стерлось, растаяло... вроде того, как мы перестаем замечать поломанный зуб, сперва причинявший нам нестерпимое неудобство. Он все там же... но перестал нам мешать, потому что мы к нему привыкли.

Тогда со мной стали делаться странные вещи. Мне не хотелось бы говорить о своих интимных делах. Но без этого читатель не может понять эту историю. Поэтому я не обойду их молчанием. Именно в этот период моя жизнь, как тростинка, поломалась надвое. Много лет я любил одну девушку, и любовь к ней заслонила для меня все. Может быть, у меня никогда не было шансов добиться ее руки... но надежда упорно держалась в моем сердце. Меня связывала прочная дружба с ее семьей: не реже раза в неделю я проводил вечер у них и мог вдоволь на нее насмотреться. Иногда какая-нибудь мелочь создавала у меня впечатление, что она стала лучше ко мне относиться, и тогда я бывал счастлив на несколько дней. Мы даже составляли планы уехать все вместе из Франции, и я

рассчитывал, что путешествие и новая жизнь могли бы сильно сблизить меня с ней и ее родными.

И вдруг, через день или два после моей встречи с Мешковым, в результате вздорного недоразумения, между нами наступил полный разрыв, и все мои усилия исправить дело ни к чему не повели, разве что к тому, чтобы создать еще более непоправимое положение. Клеман Маро писал в свое время:

La mauvaise fortune
Ne vient jamais qu'elle n'en apporte une.*

И я мог вполне оценить справедливость этого изречения.

В моем существовании в ту пору видную роль играло участие в политической работе, и я отдавал массу сил делавшимся тогда попыткам оживить и реформировать монархическое движение. Задача была нелегка — хотя, продолжаю думать и сейчас, вполне осуществима.

Самое тяжелое во всякой политической активности в эмиграции — это то, что невольно задеваешь самолюбия, честолюбия, а иногда и материальные интересы других людей. По чистой совести, у меня не было никаких своекорыстных мотивов, и самое худшее, в чем меня можно было обвинить, это в чересчур прямолинейном энтузиазме. Но врагов я себе нажил великое множество.

Кто из них первый пустил слух, что я советский провокатор? Мне не хочется уточнять здесь мои подозрения. Во всяком случае, эта клевета пошла в ход, и я постоянно слышал ее у себя за спиною. Попытка откровенно объясниться с людьми ни к чему не вела; еще хуже получилось, если я требовал извинений, — они уклончиво пожимали плечами, — передо мной была стена: никто не признавался, что он распространяет обо мне грязные сплетни, но все их повторяли. И, конечно, скоро они стали мне представляться даже там, где их не бывало.

В негодовании я дал себе клятву не появляться больше ни на одном русском собрании, вышел изо всех организаций, где состоял, и решил отныне ничем не

* Беда не приходит одна.

участвовать в какой бы то ни было общественной деятельности.

В течение нескольких лет, вплоть до момента, о котором я сейчас рассказываю, я работал над словарем одного азиатского языка, с целью дать пособие для изучения французского языка на востоке и соответствующего языка для французов. Переговоры с издательством в стране далеко за морем привели к обещанию, что моя работа будет издана, как только я ее закончу. Я трудился со страстью, ради самого дела, но передо мною все время стоял заманчивый мираж большой суммы, которую я должен был получить, и некоторого признания в научном мире, которое опубликование моего сочинения должно было принести.

Внезапно все рухнуло, как карточный домик. Там, за океаном, произошли какие-то политические и экономические изменения, в которых я и потом никогда не мог разобраться. Мое издательство переменило планы, а с другими и вовсе ничего не выходило. Формального контракта у меня не было, и значит, вся работа просто шла насмарку. Много месяцев я жил тем, что мне удалось сберечь прежде, и случайным литературным трудом: но у меня были горизонты впереди. Теперь не оставалось ничего.

Сравнительно слабое впечатление произвело на меня то, что в бразильской газете, в которой я регулярно писал, умер редактор, а его преемник прислал мне краткое официальное извещение, что, не будучи согласен с моими взглядами на солидаристов, не видит возможности моего дальнейшего сотрудничества в своем органе.

Но в материальном отношении это у меня окончательно выбивало почву из-под ног.

Не буду утомлять читателя рассказом о мелочах. Все, что бы я ни начал, кончалось неудачей: все, на первый взгляд, интересные возможности неуклонно приводили к несчастьям и неприятностям.

С одними из друзей у меня наступило охлаждение из-за разных, часто вздорных причин. Во многих случаях это была совершенно не моя вина, в других это был

результат тоски и растущей нервности, не способствующих улучшению характера.

Все более густой мрак заполнял мою душу. Все чаще у меня в голове мелькали мысли о самоубийстве. Когда мне случалось вечером переходить через Сену, ее темная вода мерцала под мостом, словно бросая мне призыв. Я ловил себя на том, что внутренне обсуждаю вопрос о том, кому мне оставить письма перед смертью, или о том, что лучше — веревка или бритва.

Меня, кажется, удерживало одно: чувство, что я борюсь с каким-то невидимым чудовищем, холодная лапа которого непрестанно прижимает меня к земле и стискивает мне горло, но которому я ни за что, ни за что не хочу уступить. Однако мое моральное сопротивление заметно слабело...

В эти дни я часто бесцельно бродил по улицам, не сознавая куда и зачем иду.

Однажды, в сырой и холодный день ранней осени, ноги занесли меня на длинную глухую улицу, где почти не попадались люди. В одном месте я прошел рядом с двигавшимся мне навстречу пешеходом и, как это часто бывает, лишь минуту спустя осознал то, что мои глаза четко схватили. Это была физиономия Фомы Петровича Мешкова: он поглядел на меня с любопытством, и, когда мы разошлись, по его губам скользнула нехорошая усмешка, жестокая и злорадная.

Внезапно, не задумываясь, я повернул назад. Недалеко перед собою я увидел одинокое серое пальто и в несколько шагов поравнялся с ним.

Не знаю, какое у меня было лицо, но Мешков явно испугался. Я подошел к нему вплотную и схватил его за ворот.

— Слушайте, — сказал я глухо и угрожающе, — заберите его обратно. Иначе я вас убью.

— Кого... что? — белыми губами пролепетал Фома Петрович, — Вы с ума сошли!

— Тем лучше, тогда меня не казнят за убийство. Терять мне нечего, но я не умру, не разделавшись с вами.

Заберите себе назад вашего монстра, или... я вас убью безо всякой жалости: это будет скверная смерть.

Без участия сознания, я с такой силой тряхнул Мешкова, что он зашатался и ударился о стену соседнего дома. В следующую минуту я повернулся к нему спиной и удалился большими шагами.

Совершенно не помню, как я дошел домой. Ни какой дорогой, ни что я видел по пути, ни о чем думал. У себя в комнате, в нижнем этаже отеля, я присел к столу, не зажигая света, хотя уже начинало смеркаться. Меня била нервная дрожь от гнева, от бессильной ярости. Наступающий вечер наводил на меня ужас: провести его в одиночестве мне представлялось непереносимо тяжелым. На улице еще не совсем стемнело, и я заметил через окна какую-то черную фигуру, неуверенно пересекавшую двор. Присмотревшись внимательнее, я различил рясу православного священника, седые волосы и короткую белую бороду.

В одно мгновение я выскочил за дверь.

— Отец Никанор! — вскричал я, подбегая под благословение. — Как это вы вспомнили обо мне? Да разве вы в Париже?

— Был в провинции, но вот уже две недели, как приехал. Ходил тут по соседству в церковь и подумал вас навестить и узнать, как вы поживаете, — говорил, входя в мою комнату, отец Никанор, улыбаясь той скромной, слегка застенчивой улыбкой, которая придавала ему особое очарование.

Мой духовный отец, как многие священники в эмиграции, не смолоду выбрал духовную карьеру. Талантливый писатель, томик новелл которого принадлежит по праву к лучшим созданным за границей произведениям русской литературы, поражающим тонкостью и глубиной психологического анализа, внезапно для всех окружающих, в расцвете сил принял сан и без сожаления оставил открывавшуюся перед ним дорогу к известности и благополучию.

— Ну, расскажите, как идут у вас дела? — спрашивал священник, садясь. — И прежде всего скажите, аккуратно ли ходите в церковь и причащались ли на Пасху?

— В церковь хожу, а исповедоваться, правду сказать, батюшка, мне без вас не хотелось. Как-то неприятно идти к другому...

— Это уж совсем напрасно, — с укоризной покачал головой отец Никанор. — Какая же разница? А так, есть ли какие-либо перемены в вашей жизни?

Его ласковый участливый взгляд и этот простой человеческий вопрос будто сняли печать с моей души, будто открыли во мне какой-то внутренний шлюз. Короткими, прерывающимися фразами, останавливаясь и поспешно вновь подхватывая нить повествования, я рассказал ему все, что изложено выше. Отец Никанор слушал меня молча, не прерывая ни одним словом, задумчиво опустив голову.

— И почему со мной одним должны случаться такие дикие, кошмарные происшествия? — воскликнул я с яростью, ударив кулаком по столу, когда вся история была закончена.

— Почему же с вами одним? Это бывает, — тихо сказал священник.

Я взглянул на него: в глубине его бледно-голубых глаз мерцал усталый, но мудрый опыт веков.

— Самое нехорошее, — продолжал он после короткой паузы, — это, что вы во всем кругом виноваты. Православному христианину незачем бояться демонов: они бессильны сделать ему вред, пока он не подпадет под власть греха. Но вы... что за нездоровый интерес вас потянул к этому теософу? Разве вы не слышали, что есть вещи, о которых и знать не надо доброму христианину? И хуже того: зачем вы задумали бросать вызов силам зла? Я лучше вас вооружен: я — иерей; но если я вступаю иногда с ними в борьбу, то лишь по долгу службы. А вы, без опыта и знаний, кинулись им в пасть... И потом, почему, почему вы не искали помощи там, где ее только и можно найти?

Тонкая рука отца Никанора пошевелила блестящий крест у него на груди.

— Виноват, батюшка, — только и сумел вымолвить я, и не мог ничего прибавить.

Отец Никанор добродушно покачал головой.

— Да вы не отчаивайтесь, — сказал он бодрым тоном. — Грех ваш больше от неведения; и не такие прощаются. Наш Бог это ведь не языческий Молох или Джаггернаут, это — Бог любви и всепрощения. Приходите-ка завтра ко мне в церковь, благо тут недалеко, на исповедь, а потом отслужу я у вас молебен. Этого нечистая сила страсть как не любит! — пошутил отец Никонор.

***

На следующий день, когда, после молебна, отец Никанор широким жестом благословил меня, и его черная ряса исчезла за воротами, меня охватило непередаваемое чувство облегчения. Даже погода изменилась, и веселое солнышко заиграло по крышам и окрасило в розовый цвет камни двора.

Мне захотелось пойти погулять или куда-нибудь в гости, но из этого ничего не вышло. Во дворе заскрипели ворота и оттуда, где недавно скрылся мой духовник, появилась, помахивая тросточкой, высокая, худощавая, слегка сгорбленная фигура в коричневом пиджаке. Я мигом узнал Вадима Александровича Скавронского, одного из самых видных лидеров монархического движения.

Едва я успел открыть дверь, как он уже переступил порог и пожимал мне руку.

— Ужасно рад, что застал вас дома, дорогой мой, — говорил Вадим Александрович, опускаясь на поспешно придвинутый мною стул. — Что это вас так давно нигде не видно? Я уже сколько времени собираюсь к вам зайти, да ведь вы знаете, я живу за городом и когда попадаю в Париж, мне приходится прямо разрываться на куски, чтобы везде поспеть. Но сегодня у меня есть к вам дело. На будущей неделе я устраиваю большое монархическое собрание, и вы непременно должны выступить с докладом. Я хочу вам предложить тему: «Монархическая идея и воспитание молодежи». Вы ведь, кажется, интересовались этим вопросом?

— Вряд ли мое выступление пойдет вам на пользу, Вадим Александрович, — горько усмехнулся я, — разве вы не знаете, что в ваших кругах меня считают за советского агента?

Вадим Александрович ласково похлопал меня по плечу.

— Вот что значит молодость! — сказал он благодушно: с высоты его шестидесяти с большим лишком лет мои тридцать, очевидно, ему рисовались ранней юностью. — Да разве вам не известно, что тут в этом обвиняют всех? Меня самого многие твердо зачислили в жидомасоны. Что поделаешь, для известного рода монархистов все люди с образованием выше гимназического — жидомасоны. А у нас с вами ведь высшее. Я порой думаю, что я потому вас так люблю, что мы с вами питомцы одной alma mater, славного Петербургского университета... Ну, а если вы боитесь враждебного приема со стороны аудитории, — по-моему, впрочем, совершенно напрасно, — то я вам напомню, что политический деятель должен уметь выступать перед всякой аудиторией, не только перед дружеской. Помню, в мои студенческие годы...

Как все люди его возраста, Вадим Александрович любил поговорить; но, надо отдать ему справедливость, его рассказы и воспоминания бывали всегда исключительно интересны. Мы просидели вместе часа четыре, выпили по такому случаю пару бутылок вина, и оно, может быть, способствовало отчасти тому, что я твердо обещал Скавронскому, что приду и выступлю на его собрании.

***

Когда я переступил порог большого зала Societes Savantes*, меня поразили царившие там шум и оживление. За более, чем полгода, я отвык от атмосферы политических собраний, когда-то бывшей для меня повседневной. Но и действительно, на этот раз сборище было многолюдным: Скавронский сумел его толково подготовить.

Множество знакомых, один за другим, весело подходили ко мне здороваться, и мне стало казаться, что мои

* Ученых обществ.

опасения были сильно преувеличены. Похоже, что тут и думать забыли о подозрениях против меня.

На трибуне появился между тем Скавронский и начал речь. Говорил он, как всегда, мастерски. Я заслушался, и меня поразило неожиданностью, когда он, кончив вступительное слово, назвал меня в качестве первого оратора.

Едва я взошел на эстраду, мною овладело вдруг то чувство, которое я испытывал всего раза три в жизни и которое не могу назвать иначе, как вдохновением. В такие моменты слова льются сами собою, безо всякого усилия или колебания, и каждое падает точно, куда должно было упасть. Наступает вдруг полная связь с публикой, словно держишь ее душу в руке, и уверенность, что она тебя понимает. Несколько раз меня прерывали аплодисменты, а когда я кончил, последовало нечто похожее на овацию. К концу собрания я был чуть ли не единогласно избран в комитет новой, создавшейся тогда монархической организации, и несколько заслуженных политических деятелей в теплых словах подчеркнули мои заслуги перед царем и народом. Все это не было для меня новостью: бывало такое и прежде. Но все же я возвращался к себе в сильно приподнятом настроении.

Под мою дверь была подсунута какая-то записка. Я заметил отпечатанный на машинке адрес и почувствовал некоторое недоверие. Уж не повестка ли в полицию за нарушение каких-нибудь неведомых правил? Или не требование ли денег в уплату Бог весть какого налога?

Однако, конверт таил в себе совсем другое. Это было официальное уведомление французского Научно-Исследовательского Центра, что, согласно состоявшемуся постановлению ученого совета, мне предоставляется на годовой срок (с возможностью дальнейшего продления) стипендия для продолжения научной работы... стипендия, сумма которой поразила меня своей неожиданной величиной...

Было странно подумать, что этот клочок бумаги не только начисто отметал все мои ежедневные заботы о мелком приработке, о грошовых ежедневных расходах и

о расплате со срочными долгами, но и открывал передо мною путь к академической степени и в будущем те возможности, о которых я когда-то мечтал, но потом и думать забыл.

Многие скажут, что в минуты горя предпочитают оставаться наедине, никому не показывая свои страдания. Но радость — это уж свойство человеческой натуры — всякому хочется разделить с другими: нельзя веселиться без людей. Я почувствовал, что невозможно было бы провести этот вечер среди четырех стен моей комнатушки.

На собрании я купил номер «Русской Зари» и сейчас с нетерпением его развернул; мне не пришлось искать долго: ранней осенью, в начале сезона, в субботу и воскресенье, всегда где-нибудь да есть бал или спектакль. Так и сегодня, в русской гимназии должна состояться какая-то вечеринка молодежи.

***

Не умея танцевать, я нередко бывал прежде на балах и вечеринках. Самый вид молодежи, ребят и девушек, с их веселым доверием к жизни, с их инстинктивным дружелюбием, всегда радовал меня, придавал мне энергию, которую, наоборот, пребывание среди старых политиканов словно бы высасывало.

Правда, у меня на душе шевелилось в такие часы щемящее чувство, что для меня эта пора жизни безнадежно кончена; но все равно я шел на эту боль.

На этот раз я скоро поймал себя на том, что мой взор невольно следует без отрыва за одной из девушек среди всех тех, которые кружились в танцах, перебегали через зал, сидели в уголках и болтали, стоя в оживленных группах. Ее гибкая, подвижная фигура и падавшие на плечи каштановые кудри привлекли мое внимание еще прежде, чем она обернулась и я увидел лицо с тонкими, нервными и умными чертами. Они не были особенно правильными, но в ее больших живых глазах сияла радость жизни, сразу меня покорившая.

Наши взгляды встретились, и я, чувствуя, что пунцово краснею, поспешно отвернулся. Никакой враг не смог

бы мне сказать и половины вещей, которые я себе говорю в подобных случаях! Что я уже слишком стар, чтобы думать о любви, что я никогда в жизни не имел успеха у женщин и что не теперь мне на него надеяться, да еще у девушки, которая принадлежит к совершенно иной среде, где я всегда останусь нежелательным чужаком... Мною овладело желание незаметно уйти, и я выбирал момент, когда будет удобно протолкаться между танцующими парами и теснящейся у стен публикой.

В этот момент женский голос подле меня назвал мою фамилию.

Передо мною стояла элегантная дама лет сорока, которая, широко и приветливо улыбаясь, смотрела на меня большими темными глазами.

— Вы меня не узнаете, а мы виделись с вами сегодня, всего несколько часов тому назад: я была на вашем докладе. И мне хочется вас за него поблагодарить: вы знаете, у меня такое чувство, будто я всегда думала то же самое, что вы сказали.

— Сударыня, — смущенно поклонился я, — если бы вы могли себе представить, какая радость слышать подобные слова! Так часто кажется, будто работаешь совершенно зря, среди всеобщего полного равнодушия. И если бы не такие люди, как вы, насколько было бы еще тяжелее. Но, конечно, я вовсе не заслуживаю...

— Вы заслуживаете и большего, — ласково сказала моя новая знакомая, — только я не умею лучше выразить мои мысли... А, и ты здесь? — бросила она через плечо. — Мсье Рудинский, позвольте вас познакомить с моей дочерью Мариной.

Рядом с ней стояла девушка, от которой мой взгляд и мысли не могли оторваться весь вечер... Ее смеющиеся глаза смело встретили мои, когда она протянула мне свою узкую руку: затем она опустила длинные ресницы с улыбкой, от которой зал для меня вдруг озарился тысячью огней...

Любовь — путь к страданию. Но как прекрасны бывают всегда ее первые мгновения! Это ослепительное чувство, будто стоишь на вершине, с которой изо всей

прошлой жизни видишь лишь то, чем можешь гордиться, и то, о чем радостно вспоминать... это ощущение, что в душе просыпаются, словами Лермонтова, «силы необъятные»... вдруг приливающая уверенность, что можно добиться всего, что все трудности преодолимы, что будущее не сулит ничего кроме хорошего...

Когда, проводив домой Марину и ее маму, простившись с ними у подножья их лестницы и получив приглашение зайти в ближайшие дни, я вернулся в свою комнату, под ярким светом электрической лампочки, я, оглядевшись кругом, отдал себе отчет в том, что в ней за последнее время произошла какая-то перемена, перемена к лучшему... Все вещи, как будто, были на прежних местах, но отчего в ней стало словно бы светлей и просторнее?

Не формулируя в словах, я в сердце нашел правильный ответ: демон меня окончательно покинул...

ВОЛШЕБНЫЙ АБАЖУР
Сказка

Child of the pure unclouded brow
And dreaming eyes of wonder!
Though time be fleet, and I and thou
Are half a life asunder,
Thy loving smile will surely hail
The love-gift of a fairy tale.
Lewis Carroll. «Through the looking-glass» *

— Шурик, Ирочка! Не убегайте так далеко вперед! И смотрите, не промочите ноги!

Две белокурые головки мелькали среди черных стволов и тонких веток обнаженных кустов, проворные ножки шуршали по густому слою желтых листьев; оставшись позади, графиня Людмила Степановна ловила слухом звонкие голоса, но крупные капли то и дело падали с сучьев; Булонский лес весь был полон меланхолической грусти, невольно передавшейся молодой женщине.

Мысли вновь скользили по ставшему привычным кругу. Дети — это такое счастье. Но сколько из-за них забот!

Последнее время все складывалось так неудачно: болезнь и смерть ее матери потребовали таких расходов на лечение и похороны, и потом все время возникали непредвиденные новые траты, которые жалование мужа не могло покрыть. А тут еще эти неприятности с квартирой — то, что сейчас ее больше всего беспокоило. Владелец павильона, где уже много лет жил граф Загорский с семьей, задумал выселить всех жильцов, перестроить здание и использовать его по-новому.

* Ребенок с ясным челом
И глазами полными мечты!
Хотя стремительное время
Нас разлучило сроком длиною в полжизни,
Я надеюсь, что ты примешь с радостною улыбкой
Подносимую тебе с любовью в подарок
Волшебную сказку.
Льюис Кэрролл. «Зазеркалье».

Жившие в нижнем этаже русские уже выехали; Загорским надо было искать новую квартиру, а это было настолько трудно в Париже! Даже для того, чтобы оттянуть переезд, нужно было заплатить адвокату, а после этого ничего не осталось бы на ежедневные надобности...

— Мама! — донесся до ее ушей крик семилетнего Шурика, — иди сюда! Погляди, что мы нашли!

Людмила Степановна с удовольствием стряхнула с себя надоевшие мысли и с улыбкой пошла на голос сына. В нескольких шагах от аллеи дети обнаружили большую и глубокую яму, казавшуюся совсем свеже вырытой, и с любопытством стояли на самом ее краю, разглядывая кучу черной земли, в беспорядке раскиданной по сторонам.

— Тут, наверное, были закопаны сокровища! — авторитетно пояснил тот, и вдруг возбужденно вскрикнул: — А там еще что-то осталось!

И прежде чем графиня успела его удержать, он уже соскользнул в яму, и в одно мгновение его проворные ручонки цепко ухватились за предмет, блеснувший золотым цветом там, на дне, среди комков глины и мелких камешков.

— Шурик, что ты делаешь! Ты же весь испачкаешься! — испуганно кричала ему мать, но Шурик стремительно выбрался уже обратно и, стряхивая налипшую к башмакам и чулкам землю, с жадностью рассматривал свою находку.

На взгляд графини, это был медный и сильно заржавленный абажур от лампы, довольно необычной формы. Ей не очень нравилось, чтобы ее мальчик возился с такой грязью, но, при виде его увлечения, она не решилась отнять у него новую игрушку. Смеркалось, и было уже пора возвращаться домой.

***

Граф Загорский уже с неделю был в отъезде по делам службы, и Людмила Степановна оставалась одна с детьми.

Весь вечер Шурик, отложив все другие игрушки и шалости, чистил и мыл свой абажур, находя в нем все новые и новые прелести, незаметные для глаз графини;

он заразил даже своим интересом сестренку, которая не без труда выпросила у него право подержать эту драгоценность в руках. Она притихла на время над диковинным приобретением, но скоро новая фантазия захватила ее мысли.

— Мама, я хочу шоколаду! — настойчиво заявила она.

— Нету, Ирочка. И лавки уже все закрыты. Может быть, завтра купим. — ответила графиня.

Но через несколько минут, когда ей пришло в голову спрятать брошенного Ирочкой на пол старого мишку в ящик комода, ее глаз вдруг схватил синюю с золотом обертку, и в ее руках словно сама собою очутилась продолговатая плитка с надписью: «Chocolat au lait et aux noisettes»*. Людмила Степановна искренно удивилась; но уже память подсказывала ей, что неделю назад был день рождения Ирочки, и в доме стоял дым коромыслом; набралось множество гостей, взрослых и маленьких, принесших кучу подарков... «Не иначе, как спрятали в ящик, и там забыли».

К восторгу детей, уже расположившихся в своих кроватках, в руках у каждого оказалось по половине плитки, и они затихли, ожидая минут, которые обожали. Графиня знала, что они ни за что не согласятся уснуть без сказки; в повседневной рутине все можно было скорее изменить, чем этот обряд, всегда обязательно следовавший за вечерней молитвой. Да, по правде сказать, и самой Людмиле Степановне было бы так же грустно от него отказаться, как ее ребятам...

Сказка лилась сама собою, и не только узор разных прочитанных и услышанных за жизнь историй прихотливо и легко сплетался на туманном фоне фантастического прекрасного мира, но откуда-то вдруг появлялись новые, неожиданные для самой рассказчицы сюжеты и положения. Аудитория была благодарная, жадно следила за ходом повествования, живо реагировала на все события...

— Я хочу, чтобы у нас был замок, — неожиданно выпалил Шурик, когда сказка была кончена.

* Молочный шоколад с орешками.

— И я хочу... Шурик, дай мне подержать абажур.

Мальчик не сопротивлялся; то ли он замечтался, то ли образ рыцаря из сказки вызвал в нем желание быть великодушным к женщинам.

— И непременно, чтобы был подземный ход, — сказала Ирочка, зажав тонкий обруч, блестящий, словно золото, в слабом свете лампады. Здесь ее одолел сон, и она откинулась на подушку; скоро ее личико изображало такое удовольствие, что она видит именно такой замок с подземным ходом, о каком мечтала наяву.

***

Следующий день графиня никогда потом не могла забыть. Именно начиная с него, или так ей представлялось, в их жизнь ворвались странные, непредвиденные и невероятные приключения, резко и радикально изменившие ее ход.

Было десять часов утра, когда раздался звонок, и графиня увидела на пороге высокого мужчину со смуглым лицом, в котором что-то, что — она не могла себе объяснить, — вызвало в ней смутную жуть. Но посетитель казался любезным и вежливо объяснил, что он антиквар, и, случайно узнав об их семье, — он сослался на магазин, где в самом деле когда-то Загорские продали кое-что из семейных драгоценностей, — хочет ее попросить, если у них есть что-либо для продажи — картины, безделушки, — показать ему, так как он очень интересуется вещами, имеющими историческую ценность. Людмила Степановна не видела ничего, что можно было бы продать, но не отказала гостю в праве посмотреть несколько оставшихся у них картин, не представлявших, как она полагала, большой редкости.

Его выбор изумил ее совершенной неожиданностью.

— Не уступите ли вы мне вот это? — сказал он со странным, нефранцузским выговором, указывая тонким темным пальцем на лежавший на столе среди игрушек вчерашний абажур. — Я бы вам предложил тридцать тысяч.

«За случайно поднятый старый хлам!» — удивилась внутренне графиня, и от удивления ответила не сразу. Между тем, Шурик вцепился в ее руку.

— Мама, не продавай! — воскликнул он. — Не продавай абажур: ведь он волшебный!

Хотя Шурик говорил по-русски, Людмиле Степановне почудилось, что по лицу странного покупателя прошло выражение злобы и подозрительности и он покосился на ребенка почти со страхом. Словно чтобы прикрыть смущение, посетитель быстро заговорил снова, не сознавая, что делает тактическую ошибку.

— Если вы находите, что тридцать мало, тридцать пять... и в крайнем случае сорок, хотя это может быть мне в убыток.

Нелогичная недоверчивость овладела Людмилой Степановной.

— Извините меня, — сказала она, — но я не могу решить это дело без мужа. Поговорите с ним: он вернется самое позднее послезавтра.

— Мои дела не позволяют мне долго оставаться в Париже, — пробормотал гость, зеленея и словно получив тяжелый удар.

— Конечно, вы можете все же задержаться на один день, — уже холодно отозвалась графиня.

Антиквару оставалось только откланяться, что он и сделал.

Едва за ним закрылась дверь, Загорская ясно поняла, что совершила капитальную глупость. Отказаться от таких денег! От месячного оклада ее мужа! И именно сейчас, когда деньги так нужны. Что, если этот антиквар не вернется? Простительно Шурику в семь лет, но мне в двадцать восемь!

Эта мысль беспокоила ее весь день и мешала спать ночью. И едва она задремала, как проснулась, с сердцем, сжимающимся от мучительного испуга. В ночной тишине ясно было слышно за окном приближающееся шуршанье и царапанье. Кто-то карабкался там по стене...

— Бандиты! — подумала молодая женщина, чувствуя, как холодный пот волной заливает ее лоб. — Я с детьми

одна в доме... Бежать вниз — им навстречу... Одно спасение — телефон.

Но телефон не работал.

Руководимая каким-то слепым инстинктом, она прикрыла собою проснувшуюся и заплакавшую Ирочку и прижалась к стене около ее постельки, глядя расширившимися от ужаса глазами на смутно белеющий четырехугольник окна. Толчок... створки раскрылись, и на фоне звездного неба отчетливо обрисовалась фигура человека, готового прыгнуть внутрь комнаты.

Именно в этот момент Шурик ясно доказал, что он настоящий мужчина. Соскочив с кроватки, он схватил первое попавшееся под руку оружие, которым оказался его любимый абажур, и, подняв его над головой, смело крикнул, хотя в его голосе и слышались слезы:

— Иди к черту!

Тень в окне будто ветром сдуло. Только приглушенный вопль и глухой удар донеслись откуда-то снизу, словно из глубины ада... И настала тишина.

— Мама, не бойся: его больше нет...

Была она без чувств или нет? Кажется, будь она мертвой, и то она вернулась бы к жизни под лаской этих ручек, неловко гладивших ее лоб... Прижав к себе Шурика с одной стороны, Ирочку с другой, мать с мучительным нетерпением ждала рассвета. Дети скоро уснули, и до утра не случилось ровно ничего.

Утром графиня позвала соседей, послала за полицией. Во дворе, под окном у Загорских, нашли труп человека с переломленной шеей и разбитым черепом, в котором Людмила Степановна узнала утреннего посетителя, но личность которого полиция не могла установить за отсутствием документов. После обеда вернулся раньше предполагавшегося из командировки граф Петр Николаевич. Его ждал странный и неприятный сюрприз, в котором он никак не мог разобраться, несмотря на все усилия. Загорский старался, по крайней мере, успокоить жену, потрясенную происшедшим, и детей, к счастью, быстро обо всем забывших.

При этой атмосфере, явившийся под вечер господин, протянувший Загорскому визитную карточку с надписью «Мариус Дельма, нотариус», не мог выбрать более неудачного момента. Однако у него была подкупающая внешность, полная солидности и добродушия, и располагающие манеры.

Петр Николаевич счел неприличным его не принять и не мог уклониться от нескольких вопросов о его месте рождения, имени его отца, времени его женитьбы.

— Простите меня, граф, если я попрошу вас разрешить мне задать кое-какие вопросы также вашей супруге. Поверьте мне, что только важное дело заставляет меня вас беспокоить!

— Люда! — позвал Петр Николаевич.

Графиня появилась на пороге, более бледная, чем всегда, но с приветливой улыбкой на губах.

— Прошу вас, графиня, не откажите сообщить мне несколько общих данных о вашем отце: его имя, звание, происхождение, — начал вскочивший при ее входе нотариус.

— Садитесь ради Бога, сударь, прошу вас, — автоматически сказала хозяйка. — Вас интересует мой отец? Как странно... Он давно скончался, конечно. Его звали Степан Антонович Леблейс, он был генералом от кавалерии русской армии, а по происхождению из дворян Могилевской губернии; у нас было там имение...

— Знакомы ли вы с предшествующей историей вашего рода, графиня?

— Очень мало... Мне рассказывали, но я почти все забыла. Помню, что прадедушка отличился в Крымскую войну и что он был личный друг писателя Алексея Константиновича Толстого... Один из предков, Андрей Степанович, служил на Кавказе у Ермолова... другой убит под Бородиным... еще один сослан с декабристами...

— А кто самый ранний из предков, вам известный? — с жадным любопытством спросил Дельма.

— О, это был Антон Андреевич, французский эмигрант, приехавший при Екатерине и сделавший карьеру при Павле, мальтийский кавалер. Ему-то импе-

ратор пожаловал владения в западных губерниях... сыновья его приняли православие.

— Еще один вопрос. Знаете ли вы, каков ваш семейный герб?

Невольная улыбка гордости и удовлетворения прошла по губам Людмилы Степановны, и грациозным жестом она протянула нотариусу руку, так, чтобы тот мог рассмотреть кольцо на ее пальце.

— Черная волчья голова на белом поле... — пробормотал тот, — да, больше нет сомнения. Хотите, графиня, я вам расскажу о ваших предках до их переезда в Россию? — предложил он через несколько минут.

— Очень хочу. Меня это всегда интересовало, но я не могла узнать. И фамилии такой во Франции не встречала, и даже не представляю себе, из какой провинции она может идти.

— Полная фамилия вашей семьи это Ле Блейз де Тревиньон... род маркизов Ле Блейз де Тревиньон... это один из самых старых родов Бретани, из графства Корнуайль. Ваш прапрадед оставил себе только первую половину родового имени... вот отчего так трудно было вас отыскать.

— Вы искали меня, чтобы мне рассказать о моих предках? — с удивлением спросила графиня.

— Не только за этим, но позвольте с этого начать. Вам скоро станет ясно. Дело в том, что перед великой революцией во Франции жил маркиз Андре де Тревиньон. Старший его сын, Этьен, совсем молодым уехал на восток в путешествие, цели и точный маршрут которого, должен признаться, мне не удастся установить. Маркиз погиб по время революции, а его младший сын, Антуан, эмигрировал и положил начало русской ветви, из которой вы происходите. Старший же сын, Этьен, вернулся при консулате, служил в наполеоновской армии и получил назад свое имение, так как доказал, что покинув Францию до революции, не принадлежал к числу эмигрантов. Пять лет назад скончался его последний потомок, маркиз Рене де

Тревиньон, и с ним угас его род. Маркиз перед смертью распорядился сделать все возможное, чтобы найти представителей русской ветви, если они еще есть, и передать им все его имущество... Мадам, вы последняя представительница благородного и старинного рода Ле Блейз де Тревиньон.

— И насколько же велико наследство? — недоверчиво спросила Людмила Степановна. Все это казалось ей нереальным.

— Кроме довольно значительной денежной суммы, точные размеры которой я могу вам представить позднее, если вам будет угодно, наследство состоит из фамильного замка с прилегающими землями и фермами и с обстановкой, которая одна имеет многомилионную стоимость. Позвольте вас поздравить, графиня, от всей души. Нелегкое дело было вас найти; но наше бюро специализировалось на поисках наследников.

***

Ласковые лучи солнца падали теперь прямо на каменную скамью, на которой сидела графиня, но ей лень было передвинуться в тень. Ее охватил один из тех приступов физического и морального благосостояния, какие в жизни человек испытывает относительно редко и какие бывает жалко чем бы то ни было нарушать.

Ей не хотелось даже раскрыть полуприкрытые глаза; расстилавшаяся перед ней панорама была прекрасна, но она и без того знала ее на память. За спиной у нее шла каменная стена, почти не видная за покрывающим ее плющом; перед нею уходила вниз отлогая каменная лестница с широкими ступенями, дальше внизу виднелись дубовые деревья, окаймляющие аллею, приводившую к берегу моря; окруженное золотым песком, синее море замыкало горизонт. По бокам высились квадратные башни замка, словно часовые, которых в течение веков никто не пришел сменить. Серый камень... золото пляжа... синева волн и зелень вокруг радовали глаз и, так казалось графине, невольно веселили сердце и разгоняли заботы.

Да и какие могут быть заботы, когда жизнь вдруг превратилась в волшебную сказку... Людмила Степановна думала всегда прежде, что Бретань — хмурая страна, постоянно прикрытая пеленой дождя или колышащимся саваном тумана. Но в это чудное лето она мало чем уступала Ривьере... Вода, мягко покачивавшая в отдалении паруса рыбацких лодок, всегда казалась теплой и своим журчанием будто спрашивала, разбиваясь у ног, чем она может служить.

Сам старый замок, Кастель анн Аларх... Людмила Степановна часто ловила себя теперь на том, что думала о нем с благодарной нежностью, как о живом существе. Замок принял их всех под свою радушную сень, но почему-то особенно полюбил и признал за своих хозяев Шурика и Ирочку. Для них у него не было секретов, и его покорность им была безгранична. Первые дни графиня Загорская жила в непрестанном страхе; невозможно было удержать детей, которые сновали взад и вперед, вниз и вверх по громадному зданию.

Они даже — Людмила Степановна узнала об этом лишь позже, но и то чуть не умерла от испуга, — вылезали на крышу и карабкались на зубцы башен, а по крутым лестницам то и дело слетали вверх тормашками, когда нарочно, а когда и неумышленно. Но никогда из этого не получалось ничего, кроме самых легких и поверхностных синяков и ссадин. Наиболее поразительное произошло, когда через неделю после их переезда, — семейство перебралось в Бретань ранней весной, после того, как были окончены все формальности по вводу во владение, — дети нашли в подвале подземный ход, забытый с незапамятных времен. Последнее, что о нем помнили, это что им будто бы пользовались шуаны. Длинный, больше чем в километр, коридор вел в соседний лес, где выходил в кусты в глубине глухого оврага, неподалеку от холодного чистого ключа, бросавшего звонкую струю к подножию ветхой статуи Мадонны...

Экскурсии маленьких Загорских не ограничивались, понятно, замком. Их хорошо знал и лес, — о котором упорно, хотя видимо и ложно, говорили, что в его глубине

водятся еще волки, неизвестно какие, простые или оборотни, — и прибрежье, с его скалами и отмелями, по которому их то и дело носили ставшие коричневыми от загара ножки, — и окрестные деревушки. В двух ближайших, Кер ар Вир и Плуманах, по-французски если и понимали, то никогда между собой не разговаривали. «Живое средневековье!» — думала про себя графиня; исключение составляли такие лица, как школьный учитель, мсье Круазик, или кюре, «отру персон», как его называли крестьяне.

Но для Шурика и Ирочки это не составляло никакого затруднения. После четырех месяцев здесь они, к удивлению матери, свободно лопотали по-бретонски и иногда даже по-бретонски же обращались друг к другу. Им как будто все нравилось в новой жизни; Людмила Степановна никогда не видела их такими довольными и счастливыми; оба с жадной радостью просыпались утром навстречу новому дню и, наверное, жалели бы, что ночью надо спать, если бы не валились вечерами с ног от усталости.

Граф Петр Николаевич неожиданно проявил себя как прекрасный хозяин, справедливости действий которого дивились окрестные крестьяне и землевладельцы; целые дни он объезжал верхом свое новое поместье и какими-то мерами уже ухитрился сильно поднять получавшиеся от него доходы. Остальное время он проводил в библиотеке замка, оказавшейся огромной по размерам и полной редких и курьезных книг на самые различные темы. Особенно он заинтересовался историей прежних владельцев замка, о которой рассказывал богатый подбор документов на французском и латинском языке, хранившийся в архивах Кастель анн Аларх.

Знакомые шаги раздались на каменных плитах. Не оборачиваясь, Людмила Степановна представила себе мужа, каким он был теперь, словно помолодевшего на десять лет, с новым выражением спокойного достоинства в каждом движении, сменившим его прежние нервные и усталые манеры.

Петр Николаевич присел рядом с женой. Они встретились глазами и улыбнулись друг другу с тем светлым

довольством жизнью, которое теперь их почти никогда не оставляло.

— Можешь ли ты себе вообразить, что я открыл сегодня в бумагах? — полушутя, полусерьезно начал граф. — Ты, оказывается, доводишься потомком Мерлину!

— Тому, что жил при дворе короля Артура? — спросила Людмила Степановна. — Неужели это действительно возможно?

— Во всяком случае, видно, что в числе твоих предков по женской линии находится средневековый валлийский бард Давид ап Мирддин, а его современники признавали за подлинного потомка знаменитого чародея.

Они помолчали.

— Знаешь, что я хотела у тебя спросить? — возобновила потом разговор графиня, немного робко, — к Круазику приехал сын из Парижа, студент. Они оба с женой ужасно рады. Я подумала, нельзя ли было бы их всех пригласить в гости? Они ведь нам сильно помогли разобраться в здешних делах. Ты не думаешь, что это будет неудобно?

— Неудобно? Да конечно, нет. Еще бы не хватало, чтобы мы так зазнались! — рассмеялся граф. — Я даже сам хотел тебе сказать, что хорошо бы их как-нибудь позвать, да все забывал. Не знаю, отчего мы этого не сделали раньше.

***

Обед удался на славу. Мсье Круазик и его супруга, простые, славные люди, были явно польщены и от всего приходили в восторг. Их сын оказался очень милым и воспитанным молодым человеком, хотя Петр Николаевич не мог удержаться от досады, когда убедился, что он целиком захвачен той левой концепцией, которая составляет подлинную язву в среде французской интеллигенции. Это, впрочем, не помешало графу поддерживать тактичную и приятную беседу с гостями.

— Так вы учитесь в Школе Восточных Языков? — говорил он молодому Круазику за кофе. — Мне пришло

в голову попросить вас об одном одолжении. Ты, помнишь, Люда, — обернулся Загорский к жене, — ведь на Шуриковом абажуре что-то вырезано арабскими буквами. Я хочу попросить мсье Франсуа посмотреть на эту надпись; может быть, он сумеет ее разобрать.

— С удовольствием, граф. Вы меня даже заинтересовали, — вежливо нагнул голову Франсуа Круазик. — Если это по-арабски или по-персидски, надеюсь, я смогу вам перевести содержание. Эти языки моя специальность, и я в них как-будто не очень плохо разбираюсь.

***

Оставив учителя и его жену с Людмилой Степановной, Загорский и студент перекочевали в библиотеку, и Круазик склонился над положенным на столик абажуром. Через несколько минут он поднял голову и с виноватой улыбкой посмотрел на хозяина.

— Это более трудная задача, чем я думал, мсье. Видите ли, часть знаков совершенно стерлась — взгляните, вот здесь, например... и потом, то, что осталось, написано на каком-то архаическом и странном арабском языке, который мне не вполне понятен. Кое-что я, положим, разбираю, но получается довольно бессвязно.

— Ну, ведь тут нет ничего важного! — приветливо рассмеялся граф, — Расскажите, что вы расшифровали, а остальное не имеет значения!

— Во-первых, тут упоминается царь Соломон, Сулейман ибн Дауда... фигура, частая в арабской и вообще восточной каббалистике... затем, вот хорошо сохранившееся место: «Кто мной владеет...» или, может быть, буквально: «кто меня держит в руке»... «да свершатся желания его». А дальше ничего не разберу... кроме вот этой фразы, хотя и не очень ясной... «если не вступит в борьбу с могучим, кому сила от Бога или от Духа Зла»... вот тут вроде слово «предел», «граница»... и кончается словами: «конец силы моей».

— В самом деле, загадочно, — задумчиво сказал Загорский, протягивая молодому человеку ящик с сигарами, — и вы думаете, это старинная вещь?

— Это, скорее, область антикварии, — отозвался тот, — но, на базе анализа языка, я почти уверен, что вещь очень старинная и, вероятно, ценная. Если бы показать ее профессору Шартье...

— Может быть, позже, когда я буду в Париже. Во всяком случае, большое спасибо, мсье Круазик, за вашу помощь, и вообще мне доставило большое удовольствие с вами познакомиться, и я надеюсь, что мы теперь будем видеться часто, пока вы гостите у вашего батюшки. Вы знаете, одна из немногих вещей, каких мне тут не достает, это общество интеллигентных людей, и я буду очень ценить вашу компанию. В другой раз я хотел бы показать вам библиотеку... и, само собою разумеется, вы можете ею пользоваться, как своею собственной!

Веснушчатое лицо студента даже покраснело от удовольствия.

— Благодарю вас, граф, от всей души... все удовольствие было для меня... я никогда не думал... по правде сказать, я ложно судил о русской эмиграции. Мне всегда представлялось, что это какие-то реакционеры, с архаическими взглядами, недоступные новым идеям. И вдруг, я в вашем лице нахожу передового, прогрессивного и высоко культурного человека. Это очень, очень приятный сюрприз!

Экспансивность и искренность этого мальчика, которому едва перевалило за двадцать лет, действовали подкупающе, но все же в улыбке Загорского проскользнула горечь.

— Не преувеличивайте моей прогрессивности, дорогой мой; я не хотел бы вводить вас в заблуждение. Я непримиримый противник советской власти и коммунизма, во всех его формах.

Удивление и разочарование ясно взглянули из голубых глаз молодого бретонца.

— Но мыслимо ли, чтобы человек вашей культуры не понимал законов истории и не сознавал, что время монархии и сословных привилегий невозвратно прошло? Из нашего разговора я вижу, что вы русский патриот; неужели грандиозная эпопея советского народа, его

победы на войне в союзе с демократией Европы и его мирное строительство вас не увлекают? И ведь такая личность, как Сталин, что бы ни говорили его враги, воплощает волю 200 миллионов людей...

Петр Николаевич редко терял терпение и самообладание, тесно связанные с хорошим воспитанием, какое он получил. Но кому из русских не случается приходить в бешенство перед глупостью либеральных иностранцев, говорящих о России! Рука Загорского с такой силой сжалась на обруче абажура, который он нервно крутил уже несколько минут, что кровь отхлынула от ногтей.

— Ваш товарищ Сталин! — взорвался он. — Если кого ненавидит русский народ, который вы себе позволяете называть советским, если кому хочет гибели, так, несомненно, именно ему. И я, такой же русский, как все, я ему от всего сердца желаю, чтобы кровь его жертв... его миллионов жертв... поднялась бы ему к горлу и его задушила...

Что произошло в эту минуту? Словно электрический ток потряс на мгновение все тело Загорского, какой-то мелодический звон прозвучал в его ушах, и ему почудилось, будто абажур, который он выронил на стол, озарился на миг голубоватым светом.

Двое мужчин с удивлением, в безмолвии, посмотрели друг на друга и почувствовали, что им больше не хочется спорить и что им неловко заговорить о том, что они только что видели.

Дрожащими руками Загорский зажег сигару.

— Может быть, пойдем искать ваших родителей и мою жену? — неуверенно спросил он. — Неудобно, что мы их покинули.

***

Парижские газеты пришли на следующее утро, и, раскрывая одну из них, Петр Николаевич вздрогнул, как вздрогнули все русские эмигранты по всем концам земли, прочитав напечатанный огромными буквами заголовок: «Тяжелая болезнь генералиссимуса Сталина». Несколько

часов, забыв про все на свете, он и Людмила Степановна говорили о том, что теперь надо ждать, какие перемены может принести смерть диктатора, вспоминали все ужасы, за которые он был ответственен.

В конце концов графиня спохватилась, куда это подевались дети, и отправилась их искать. В глубине сада, среди кустов боярышника, она наткнулась на странную сцену.

Ирочка сидела на траве, держа на коленях абажур, выделявшийся на ее беленьком платьице, и плакала в три ручья. Шурик с хмурым видом стоял в стороне, копая землю носком башмака, и что-то говорил, но замолчал при приближении матери.

— Ирочка! Что ты? Кто тебя обидел? Шурик? — вскричала графиня, подхватывая дочь на руки.

— Нет, Шурик хороший... наш абажур стал бяка, не хочет больше служить... я его прошу, а он... ничего не делает.

И девочка доверчиво протянула Людмиле Степановне абажур. Графине бросилось в глаза, что его отполированную поверхность пересекает глубокая змеистая трещина, какой она не замечала раньше.

— Ну что же может сделать абажур, Ирочка? Ведь он же неживой... Ты уже большая, а выдумываешь такие глупости...

— Не говори так, мама. Ведь это не простой абажур: он волшебный, — с глубоким убеждением остановил мать Шурик.

Что до Ирочки, то от всех доводов графини ее слезы лились только более обильным потоком, пока та не догадалась взяться за дело с другого конца.

— А что ты просила у абажура? Чего тебе хочется? — спросила она.

В ответ начался целый список игрушек, где на первом месте стоял кораблик, непременно с таким парусом, как у маленького Ива Кергаридека, и такая-то кукла, непременно со светлыми волосами, и револьвер для Шурика.

— Мы это сделаем и без абажура, если ты будешь умница и перестанешь плакать, — сказала графиня, целуя дочку. — Я скажу папе, и он завтра пошлет человека в город... или, еще лучше, мы все туда съездим сами!

***

С графом Загорским я познакомился по политическим делам; он сейчас принимает активное участие в общественной жизни парижской эмиграции; вскоре он пригласил меня к себе, и я не раз бывал с тех пор на его вилле в Версале, где он с семьей проводит зиму. Абажур мирно висит на стене, и я давно к нему привык, прежде чем Ирочка, с которой мы стали добрыми друзьями, мне рассказала его историю. Но он теперь на покое; оказывается, с тех пор, как он треснул, он больше не делает чудес и не выполняет желания хозяев. Шурик под честное слово подтвердил мне все, что прежде рассказала его сестра. Я им верю. Что до читателя, может верить или нет, как ему угодно.

КАБАЧОК НА УГЛУ

Dans les plis sinueux des vieilles capitales
Où tout, même l'horreur, tourne aux enchantements.
Charles Baudelaire. «Tableaux parisiens» *

Граф точно так, как по-латыни,
Знал по арабски; он не раз
Спасался тем от злых проказ.
А.С.Пушкин

Отец Марины был совершенно невыносимым человеком. В силу своего запальчивого и взбалмошного характера, он перессорился со всеми знакомыми — с некоторыми из них у меня на глазах — и его семейство жило в условиях полной изоляции. С этим бы я еще мог примириться; гораздо хуже было то, что он постоянно при мне разговаривал с женою и дочерью настолько неприятным тоном, делал им замечания настолько грубые, что я от стыда и возмущения не знал, куда деваться. Понятно, я не имел ни малейшего права вмешиваться в жизнь чужой семьи; но однажды, когда он из-за какого-то пустяка так разбранил Марину, что та со слезами выбежала из комнаты, я не удержался и попробовал в деликатной форме указать ему, какой вред может причинить молоденькой девушке такое обращение, унижающее ее достоинство и глубоко расшатывающее ее нервы. Результатом явился спор, оскорбления по моему адресу... и, что самое худшее, невозможность для меня снова вернуться в этот дом.

Однако я ничуть не был намерен потерять Марину, ставшую для меня светом во тьме и смыслом жизни, ради нелепых фантазий этого чудака. В один из ближайших дней я подкараулил ее на улице. Девушка,

* В извилистых улицах старой столицы,
Где все, даже ужасное, имеет свое очарование.
Шарль Бодлер. «Парижские картинки».

страшно боявшаяся отца, смертельно перепугалась и хотела убежать, но я ее удержал. Должно быть, на этот раз я говорил хорошо; я чувствовал себя так, будто говорю в защиту своей жизни. Во всяком случае мне удалось уговорить Марину прийти ко мне на свиданье на небольшой сквер, недалеко от метро Плезанс. В назначенный час... нет, на полчаса раньше срока я с непередаваемым волнением ждал, меряя шагами улицу. Приходить раньше времени, даже на деловые свидания с мужчинами, вообще моя слабость; всегда, когда мне приходилось ждать женщину, я не мог сохранить хладнокровия; но я еще никогда в жизни не томился, как в эти минуты. Придет она или нет?

Когда темносерое пальто Марины показалось из-за поворота улицы, сердце так и вздрогнуло у меня в груди, и я стремительно пошел ей навстречу. Щеки девушки раскраснелись, ее живые глаза метали молнии; она никогда не бывала так красива, как в минуты, когда волновалась; я с жадностью сжал ее тонкие холодные пальчики, и мне жалко было выпустить их из руки, прежде чем они согреются. Марина сразу начала говорить, что боится, что жалеет, что пришла, и думает сейчас же уйти обратно. Усадив ее на скамейку сквера, я стал ее успокаивать, клянясь, что никто не может нас увидеть, что я лучше умру, чем ее огорчу, и буду ее защищать от кого угодно до последней капли крови...

Я был так поглощен беседой, что крупные холодные капли, упавшие мне на лоб, были для меня полной неожиданностью. Начинался дождь... Впрочем, что говорить — начинался... в несколько минут стало лить, как из ведра. Надо было искать пристанища, и у нас не было большого выбора. На углу мерцал сквозь занавес влаги фонарик, привлекший внимание публики ко входу в небольшое кафе. Мы в одно мгновение перебежали порог и скатились по лестнице глубоко в подвал, где, оказывается, размещалось это учреждение. У стойки хозяин, смуглый человек азиатского типа болтал о чем-то с двумя приятелями, видимо, земляками. В остальном

зал был безлюден. Бросив владельцу «Deux cafés-crème, s'il vous plaît»*, я уселся напротив Марины за один из угловых столов.

Я чувствовал себя промокшим до нитки и ужасно обеспокоенным за свою спутницу и, наверное, имел смешной вид, потому что Марина, с жизнерадостностью молодости, вдруг плутовски улыбнулась. Мне показалось, будто после дождя выглянуло солнце, от которого я сразу просох и мне стало тепло и весело.

Однако в то же время мой слух отмечал фразы, доходившие до меня от стойки. Я с невольным любопытством констатировал, что разговор шел на одном из языков южной Индии, и мысленно предположил, что хозяин и его земляки должно быть уроженцы старых французских владений, Пондишери или Мадраса.

Незадолго до времени, к которому относится мой рассказ, я несколько лет тщательно занимался дравидскими языками, в надежде обнаружить в них кое-какие аналогии с языками Индонезии, в области которых я являюсь, до известной степени, специалистом. Должен прибавить, что, к моему разочарованию, я убедился, что никакого сходства между двумя этими лингвистическими группами нет, и вся их связь сводится к сотне или двум слов, позаимствованных малайцами у тамилов. Однако, как увидит читатель, знание языка телугу мне сослужило некоторую службу.

Слова, которые я услышал против моей воли, приковали мое внимание. Я заметил, что говорил худощавый, маленький, но видимо мускулистый и сильный человек, лет тридцати пяти, которого я почему-то мысленно назвал моряком.

— Сама богиня нам их посылает! — горячо настаивал он. — Ты знаешь, Перумаль, что день жертвоприношения приходит завтра, а у нас нет ничего. И смотри: девушка, как раз то, что нам нужно для праздника. А мужчина годится для обычного обряда.

Тут заговорил другой, лет на десять старше, с черным жирным лицом, высокого роста, мрачный и

* Два кофе с молоком, пожалуйста.

тяжеловесный, который мне показался богатым восточным купцом.

— И притом, это иностранцы, — рассуждал он веско, — ты слышал, как они говорят? Неприятностей будет куда меньше, чем из-за французов: кто их станет искать? И ещё: это, видно, влюбленные, которые встречаются тайком, никто не будет знать, что они попали сюда, — они и сами пришли только из-за дождя.

Хозяин пробормотал что-то невнятное; я скорее догадался, чем разобрал, что он говорил об опасности и о том, что он не знает, как это сделать.

— Всё ясно и просто, — бросил ему купец, — положи в кофе то, что ты знаешь, — и быстро, они ждут. В такой дождь никто не придет новый; притом, мы закроем дверь.

Минуту спустя хозяин поставил перед нами поднос с двумя чашками кофе с молоком. Марина с удивлением, и даже слегка надув губы, смотрела на меня. Я, наверно, менялся в лице, и она видела, что я не уделяю ей никакого внимания. Но когда я сдавленным шепотом (совершенно, впрочем, напрасно понижая голос, так как говорил по-русски) сказал, чтобы она не пила кофе, она, видимо, смутно о чем-то догадалась и побледнела как снег.

Дело обстояло бы гораздо хуже, если бы не один маленький факт: я никогда не выхожу из дома без револьвера в кармане. Небольшие происшествия, вроде описываемого сейчас, никто не может предугадать и предвидеть; но я занимаюсь антибольшевистской работой. Пока товарищи из посольства и кое-каких неудобоназываемых засекреченных органов советской державы не проявляли ко мне внешне особого интереса: но, как говорят немцы, «Sicher ist sicher»*. Итак, несмотря на все постановления префектуры, я всегда ношу с собой оружие. Это и мое знание языков было неожиданной неудачей для индусов. Решив, что дальше притворяться бесполезно, я встал и направил дуло моего браунинга в три любопытных и изумленных лица, смотревших на нас.

— Вы плохо поняли волю богини, — сказал я на телугу, — великая Кали послала меня вам в наказание за

* Осторожность никогда не мешает.

ваши грехи. Эй, держите руки вверх! А ты, — прибавил я, обращаясь к моряку, который как-то подозрительно нагнулся, словно готовый кинуться на меня, — ты, черный шакал, не делай из себя пантеры! Прежде, чем ты успеешь прыгнуть, ты съешь пять пуль, да будут прокляты пять поколений твоих предков!

Хозяин кабачка был первым, обретшим вновь дар речи. Мне показалось, что он думал одну минуту юркнуть под стойку, но своевременно понял, что я успею его пристрелить на половине этого жеста.

— О, саиб! — произнес он угодливо. — О, высокорожденный! Никто из нас не помышлял причинить вред ни высокопочтенному, ни цветку лотоса!

За «цветок лотоса» я был бы готов простить ему многое: но дело было слишком серьезно. Я, впрочем, не забывал, что трактирщик согласился на всю комбинацию без особого энтузиазма.

Не выпуская из правой руки револьвера, я левой перенес, одну за другой, и поставил на стойку, две поданные нам чашки, в которых стыло кофе с молоком; мне было приятно заметить, что я не пролил ни капли.

— Или вы выпьете это зелье, — сказал я решительно, — или я вас превращу в сито, на выбор.

Оба предпочли проглотить свою микстуру. Как я и предполагал, это было какое-то сильное и быстро действующее снотворное средство. Не прошло и пяти минут, как моряк свалился у стойки, а купец, найдя в себе силу доплестись до ближайшего столика, уронил голову на его отполированную поверхность и погрузился в глубокий сон.

— Ну, сын крокодила, — сказал я кабатчику, взяв Марину под руку левой рукой, — оставайся на месте и не высовывай носа из комнаты, если не хочешь отправиться к богине Дурге раньше, чем свершится мера лет твоих. И знай, что белые люди следят за твоей грязной лавочкой, и, если в ней прольется кровь, заставят тебя заплатить твоею.

Дождь перестал, и только лужи поблескивали на асфальте. Первая наша мысль была подальше отойти от страшного места.

Я не решался больше удерживать Марину, чтобы не рисковать столкнуться с ее отцом. У меня не хватило смелости ее поцеловать: я лишь на мгновение привлек к груди хрупкую фигурку, чувствуя, что ради ее счастья и спокойствия готов в любую минуту умереть худшей из смертей.

— Я не прошу вас о встрече: увидимся, когда случай захочет...

Серое пальто, темнорусая головка с волной кудрей, падающих на плечи, превратились в неясное пятно и растворились в полном сырости воздухе, среди высоких домов...

***

Когда через пару дней, при встрече с Ле Генном, я рассказал ему всю историю, он задумчиво покачал головой.

— Жаль, что вы не сообщили мне сразу. Кафе «Под солнцем Индии» у нас на плохом счету. Но двойка, которую вы видели, это, так сказать, гастролеры. Они выехали вчера в Англию — мы не имели повода их задержать, хотя и предупредили лондонскую полицию. Французские подданные... И, конечно, вы правильно угадали: секта тугов-душителей. Эти россказни, что, мол, тугов больше нет, это все разговоры для бедных. Вам ли мне говорить, что культ богини Кали, богини смерти, ничуть не исчез в Индии? А туги, в конце концов, только самая последовательная часть поклонников кровавой Дурги, сознающая, что она требует непрестанных человеческих жертв... Жуткая это вещь — женственные божества! Каких только ужасов они с собою не несут, каждое на свой лад. Кали, Кивела, Астарта... опять-таки, если вы возьмете древнемонгольскую мифологию...

Наш разговор перешел на академические темы, интересные для нас обоих, но вряд ли для читателя, которого не буду утомлять пересказом.

ЛИЦО КОШМАРА

Long sojorn in some other lands appears to act in a different manner. In tropical Africa it seems to be the moral balance that is lost. The conscience is blunted if not destroyed, the veneer of civilisation is stripped off, the white man reverts to savagery. The senseless cruelties... of some of the outlying officials of the Congo Free State are not mere coincidences.

Frederic H.Sawyer. «The inhabitants of the Philippines» *

Однажды вечером, когда я прощался с Ле Генном после веселого ужина с ним и его женой, он спросил меня, не могу ли я оказать ему одну услугу, и, на мой утвердительный ответ, достал из письменного стола тетрадь в кожаной обложке.

— Если бы вы были любезны проглядеть эту рукопись, я был бы вам искренно благодарен. Она составлена по-русски и может иметь некоторое значение. Конечно, я мог бы поручить это дело нашему официальному переводчику, но мне думается, что если вы мне коротко расскажете содержание, этого будет вполне довольно, а ваше мнение представляет для меня специальный интерес. Вы ведь кое-что понимаете в подобных материях... Нет, нет ничего спешного, дорогой друг. Просто пробегите ее к следующему разу, когда соберетесь к нам зайти. А заходите поскорее, совершенно независимо от этого, — мы всегда рады вас видеть.

Заинтригованный разговором, я засел за тетрадь на следующий же день после обеда, так как с утра был занят другим. И вот, что я прочел.

* Долгое пребывание в некоторых иных странах действует по-другому. В тропической Африке, видимо, утрачивается моральное равновесие. Совесть притупляется, если не атрофируется; налет цивилизации стирается; белый человек превращается в дикаря. Бессмысленная жестокость известной части чиновников в Свободном Государстве Конго, отнюдь не представляет собою случайное явление. Фредерик Сойер. «Жители Филиппин».

***

«Хочу попробовать набросать на бумаге то, что меня беспокоит и мучит последнее время, в надежде, что, может быть, это поможет мне самому лучше во всем разобраться. Все равно, я не способен сейчас думать ни о чем ином. И, пожалуй, лучше начать сначала, иначе будет непонятно читать, а кто знает... И потом, с чего, собственно, следовало бы начать?

Я по происхождению донской казак с хутора Черная Балка, около станицы Новоандреевской. Надо, впрочем, сказать, что среди казаков мне приходилось бывать в течение жизни очень мало. Мои родители погибли, когда я был еще совсем мал, при трагических обстоятельствах, о которых мне было бы тяжело здесь говорить. Дядя по матери, Павел Савельевич Лыков, заслуженный офицер, сумел устроить меня в кадетский корпус, вместе с которым я был позже вывезен заграницу. Оказавшись через несколько лет во Франции, я окончил здесь университет в Монпелье, благодаря полученной мной от одного русского учреждения стипендии, и мне удалось поступить на службу в колонии, куда в тот момент сравнительно охотно принимали иностранцев и где открывались возможности карьеры, для русского эмигранта в метрополии совершенно немыслимые.

Когда я оглядываю мысленно те три года, которые я провел во Французской Экваториальной Африке, я могу различить в них три периода. Первый, когда я был полон энтузиазма и все трудности мне представлялись пустяками, а радость видеть странные и чужие края меня захватывала целиком. Второй, когда мной стали овладевать скука и беспокойство, типичное для европейца под тропиками, особенно если он изолирован от общества других белых людей. И третий, когда началась та печальная история, в результате которой я навсегда оставил колонии.

В служебном отношении я не мог пожаловаться на свою судьбу. Случай сделал меня помощником администратора в области Улоту, на крайнем юге фран-

цузских владений в Африке, и, после скорого отъезда моего начальника в Европу, я остался единственным представителем власти над огромной территорией. Тот факт, что я быстро приобрел знание языка и обычаев местного племени, сильно отличающихся от таковых окружающих его туземцев, превращал меня в своего рода авторитет, а то, что в моем районе не бывало беспорядков, налоги вносились в срок, и вообще я умел ладить с туземцами, обеспечивало мне хорошие отношения с начальством.

Племя валоту, жителей страны Улоту, является самой северной ветвью бесчисленного народа банту. По некоторым толкованиям, его имя означает «красивые люди», и должен признать, оно более или менее им подходит. От негров суданской расы и соседних с ними негров вольта они отличаются высоким ростом, более светлой кожей и более правильным телосложением. Некоторые пытались объяснить это португальской и испанской кровью в их жилах, но мне эта гипотеза кажется более чем сомнительной, хотя португальцы и испанцы и имели с ними давние торговые сношения. Уж очень обособлена в общем их страна, замкнутая в кругу непроходимых болот и зарослей: вряд ли много белых жило когда-нибудь среди них.

Климат в Улоту убийственный для европейцев, но у меня, к счастью, оказалось железное здоровье. Это не помешало мне, впрочем, получить малярию, которая периодически меня терзала.

Один из ее приступов я, очевидно, перенес и в ту ночь, с которой началась моя трагедия, так как, помню, утром я проснулся разбитый и весь покрытый потом, чувствуя на своем плече осторожную руку прислуживавшего мне чернокожего мальчика.

— Проснитесь, господин! — повторял он. — Случилось плохое дело, господин... убийство...

Протирая глаза в тщетных попытках вернуться к сознанию, я спросил, кого и где убили.

— Сели, господин, дочь вождя Фате, из деревни Тиндо.

Сели! Я не раз видел эту девушку, красавицу с любой точки зрения, европейской и туземной, с дразнящей, яркой красотой, заставлявшей всякого оборачиваться, когда ее грациозная фигура скользила по улице деревни ли, по тропинке ли между сорговых полей. Оборачивался и я... Но я твердо поставил себе правилом не иметь никаких романов с негритянками. Я знал, что это сильно повышало мой престиж и что европеец, живущиий с черной женщиной, неизбежно опускается до ее уровня. Да и с моральной стороны, подобные отношения казались мне отвратительными. Притом, во всяком случае, по чисто политическим соображениям, ни брак, ни связь с дочерью вождя, местного нотабля, в моем положении не были возможны, и вызвали бы Бог знает какие осложнения.

Верхом, по большой дороге, мне понадобилось больше часа, чтобы добраться до места преступления. Напрямик, через джунгли, это было бы много быстрее, но лошадь бы там не прошла, и притом... не буду говорить о львах, которые редко нападают на человека, но змеи и всякие отвратительные насекомые не питают никакого особого почтения к двуногому царю природы.

Наконец, конусообразные кровли хижин выросли перед моими глазами. Жилище вождя состояло из целой группы этих примитивных построек. В той из них, где, согласно обычаю, спали две его незамужние дочери, одна из жен вождя — у него их было несколько — нашла утром старшую мертвой, а младшую, до смерти испуганную, сидящей возле ее трупа.

Пригнувшись, я переступил порог хижины, и от зрелища, которое мне предстало, почувствовал тошноту и слабость в коленях: лишь страшным усилием воли я справился с дурнотой, чтобы не уронить себя в глазах туземцев.

Я и посейчас помню все подробности этого безжалостно и свирепо изуродованного юного тела. У девушки были сломаны шейные позвонки и несколько ребер; можно было подумать, что на нее напала горилла; но нет! На нежной темной коже ее шеи и предплечий легко было различить следы человеческих пальцев...

Первым путем к разгадке тайны было допросить ее сестренку, лет двенадцати, вероятно, присутствовавшую при ужасном деле. Она сидела теперь все в том же углу, где ее нашли, спрятав голову в колени.

Я попытался ласково заговорить с ней.

— Расскажи мне, что ты видела, Фуму. Ну, не бойся, тебе не грозит опасность.

Девочка подняла на меня глаза, полные нечеловеческого ужаса.

— Я ничего не видела, господин! Я ничего не знаю! — и, с громким всхлипыванием, она опять скрыла лицо в руках и пригнулась к земле.

Все мои усилия добиться от нее иного ответа остались тщетными.

По опыту я знал, что убийцу надо искать в ближайшем кругу жертвы. Я не мог, однако, заподозрить в преступлении отца Сели. На это имелся ряд соображений. Во-первых, всякая девушка представляет у негров большую коммерческую ценность, а такая красавица, как Сели, еще большую, чем другие. По местным обычаям жених платит отцу выкуп — калым, как сказали бы у нас на Кавказе, или вено, как говорили на древней Руси. С другой стороны, старый вождь, казалось, был искренне убит смертью дочери. И, наконец, стоило бросить взгляд на его желтую морщинистую кожу и трясущиеся тощие руки, чтобы понять, что он не мог быть физически совершителем злодеяния.

Мои подозрения направились по другому руслу. У Сели был официальный жених, молодой воин — валоту давно уже ни с кем не воевали, но это название остается и служит чем-то вроде почетного титула, — из богатой семьи, по имени Бопи. Я велел его позвать.

Мне поставили на площади, в тени большого дерева, грубо сколоченный деревянный стол, хранившийся в деревне специально на случай приезда начальства, и я уселся за ним на скамье. Когда обвиняемый появился передо мной, мне показалось, что между мною и солнцем воздвиглась черная башня.

Я часто встречал Бопи прежде, но тогда на его лице неизменно играла добродушная белозубая улыбка, составляющая лучшее украшение и обаяние негритянской расы. Теперь оно было мрачным, как ночь. Бопи был гигант лет двадцати, более черный, чем большинство его соплеменников, и на вид весь сплетенный из стальных мускулов.

Первые же вопросы как будто формально доказывали невиновность подозреваемого. Выяснилось, что Бопи провел всю ночь в хижине на другом краю деревни, за азартной игрой, нечто вроде костей, с несколькими молодыми людьми, дружно подтверждавшими, что он не отлучался до рассвета. Да, может быть, он выходил на несколько минут — но никакой речи о том, чтобы он успел дойти до двора вождя Фате и вернуться обратно.

Я слушал хор возбужденных голосов, а мой взор невольно приковывался к громадным кистям рук Бопи, опущенным по его бокам и находившимся на уровне моих глаз... я видел, как эти руки конвульсивно сжимаются в кулаки... таким рукам ничего бы не стоило сломать человеческие позвонки и ребра. Потом мой взгляд скользнул вверх и уперся в зрачки молодого негра; и я вдруг прочел в них такую яростную ненависть, что мне стало тяжело и страшно.

В то же время мой слух уловил какое-то тихое бормотанье у меня за спиной. Я обернулся.

Среди обступивших меня туземцев — тут собралась, почитай, вся деревня — сидел на земле ветхий старик-знахарь. Его острые умные глазки были устремлены на меня, как сверлящий бурав, и мне почудилось, что он отдернул вытянутые в моем направлении пальцы обеих рук. Его беззубый рот непрестанно повторял какое-то заклинание. Я разобрал звуки, но не полностью понял смысл. У негров есть особый язык для колдунов и жрецов, сильно отличающийся от обиходной речи. До меня дошло, что он кого-то проклинает, желая ему страшной болезни, отвержения от лица всех людей и позорной, мучительной гибели... Может быть, он имел в виду убийцу? Но почему его взгляд был неотступно прикован ко мне?

Мне постоянно приходилось быть среди негров, и до сих пор это меня ничуть не стесняло. Но сейчас, когда я обвел глазами черные лица и могучие полуобнаженные торсы, окружавшие меня и словно теснившие со всех сторон, мной завладела такая жуть, что мне до смерти захотелось бежать, бежать во что бы то ни стало бежать, бежать как можно скорее.

Однако я знал, что перед чернокожими никогда нельзя выказывать страха. Резко встав, я приказал стоявшему подле меня помощнику вождя, второму по важности лицу в селении, привести мне лошадь. Тот безропотно повиновался.

Лишь когда я был уже на полпути домой, страх немного отпустил меня, и мои мысли обрели связность и ясность.

Конечно, я не раз слышал о свирепых тайных обществах и кровавых обрядах, существующих среди негров. Но никогда до сих пор я не связывал этих рассказов с моими неграми, простодушными и добрыми. Почему все они явно не хотят, чтобы правда выплыла наружу, почему смотрят на меня с враждой и недоверием, дружно образуя стену молчания, которую у меня нет никакой возможности пробить?

Никакой возможности... но у меня складывался один план, обещавший некоторые шансы на успех.

Уже почти два года мне прислуживал негритенок по имени Кено, которому было сейчас лет четырнадцать. Это был исключительно умный и толковый мальчуган, который не только болтал по-французски, но даже мог с грехом пополам писать, так как я от скуки давал ему время от времени уроки и он ими сумел хорошо воспользоваться. Я думал даже позже отослать его в школу в какой-нибудь из центральных городов, после чего перед ним открылось бы великолепное будущее.

Признаться, я сильно к нему привязался. Ни в чьей преданности я не был так уверен, как в его, и когда я видел его миловидное детское лицо с приветливой и предупредительной улыбкой, у меня на душе становилось легче; все-таки есть около какое-то близкое существо. Кено был родом из той же самой деревни Тиндо, где

произошло убийство, и его мать, которую он нередко навещал, и посейчас там жила. Мне пришла идея послать этого расторопного мальчишку разведать, что говорят между собой негры о страшном происшествии.

Он с готовностью схватился за этот проект, понимая, что я не оставлю его без награды, и отпросился уйти этим же вечером, когда я лягу спать, и не буду нуждаться в его услугах, обещая на завтра вернуться к обеду.

Кено нашли на рассвете, у околицы деревни, куда он шел... Труп мальчика лежал поперек большого поломанного дерева, возле самой дорожки; шея с раздробленными позвонками гротескно далеко и под неестественно прямым уклоном вытягивалась к земле, одна из рук, вывихнутая в плече, едва не была оторвана от туловища...

На этот раз, бесполезно отрицать, я испугался темным паническим ужасом, не поддающимся контролю рассудка или воли. Мне казалось, что за моим слугой придет моя очередь... мне чудилось вокруг нарастающая ненависть... слышались шорохи, крадущиеся шаги, глумливый смех... Через месяц исполнялся срок моего контракта, который я прежде непременно собирался продлить. Правда, после такого скандала, как двойное убийство, оставшееся нераскрытым, моя карьера была бы, пожалуй, кончена. Но я сделал хуже того. Не дожидаясь срока, я бросил свой пост и бежал в ближайший город. Там администратор покачал головой. Однако, он был человек благожелательный, и притом белые в колониях связаны известной круговой порукой. Он записал, что я оставил должность по болезни, и составил мне, во имя моей прежней безупречной службы, наилучший аттестат, с которым я на ближайшем пароходе отбыл во Францию после того, как с истерическим нетерпением прошел все нужные для отъезда формальности.

Должно быть, я в тот момент в самом деле страдал нервным расстройством. В Марселе на меня наводило беспокойство изобилие на улицах негров. Вдобавок, в отеле, где я остановился, произошло убийство... меня не беспокоили, и я даже до сих пор не знаю, кто был убит;

но этого было достаточно, чтобы послать меня сломя голову в Париж, куда я попал как раз к мобилизации: начиналась война.

Фронт и плен со всеми их испытаниями принесли мне, может быть, некоторую пользу. После них воспоминания об Африке поблекли и отступили в даль, и когда после разгрома Германии, я вновь очутился в Париже и кое-как наладил жизнь, я был убежден, что весь этот кошмарный эпизод для меня навсегда закончен.

Я жил в это время в большом здании, составлявшем часть целого блока многоэтажных домов на площади Шамперре, и занимал скромную должность в бюро, достаточно покрывающую мои расходы. Я мог бы устроиться несомненно лучше, если бы согласился вернуться под тропики, и даже менее того, если бы пожелал принять место в министерстве по делам колоний. Но все, что было связано с Африкой, внушало мне непреодолимое отвращение. Я хотел от нее убежать, но она сама нашла меня вновь...

Прошло пять лет с тех пор, как я обосновался в Париже, и вот, однажды рано утром — день был нерабочий по поводу годовщины взятия Бастилии — меня разбудил гомон на лестнице. Выглянув за дверь, я различил, что он идет сверху. Я жил высоко, и надо мной был только один этаж, где занимала маленькую комнату молоденькая негритянка, самое большое лет восемнадцати. Я нередко с ней раскланивался на лестнице и даже обменивался иногда двумя-тремя словами, и знал, что она уроженка Гаити, но с детства живет во Франции, и сейчас работает горничной у одной богатой француженки в нашем же доме. На вид это была простенькая, но довольно хорошенькая девушка, казавшаяся скромной и милой. Недоброе предчувствие охватило меня, когда я заметил, что шум идет из ее комнаты.

Перед ее порогом толпились несколько жильцов и консьержка. Заглянув внутрь, я вдруг снова перенесся обратно на десять лет в далекую страну Улоту... Прежний ужас снова был перед моими глазами. Смуглое тело в позе нестерпимой муки простиралось среди белых простыней;

смятое одеяло тянулось по полу, и его почти касалась откинутая вниз тонкая и темная обнаженная нога... Бессильно закинутая назад курчавая голова открывала взгляду шею, на которой отпечатались знаки чьей-то беспощадной железной хватки.

Я потерял язык и оцепенел от волнения, и прежде чем я пришел в себя, за моей спиной раздался голос только что явившегося полицейского, предлагавшего всем посторонним выйти. Разбитый, потрясенный, я вернулся в свою комнату.

Снова судьба ставит меня перед лицом той же самой жуткой проблемы! Может быть, потому, что в первый раз я не исполнил свой долг и, как трус, бежал от ее разрешения? Может быть, на мне лежит обязанность хотя бы теперь довести дело до конца, раскрыть тайну, найти виновных?

Гаити... Сколько раз я слышал и читал, что на этом райском острове свили себе гнездо самые жестокие и мрачные суеверия, вывезенные с черного материка... Не представляют ли эти два убийства случайные звенья цепи, один обряд, сохранившийся в Экваториальной Африке и в Вест-Индии? Или существует некая секта, связанная в этих разных концах мира, и я натыкаюсь второй раз на ее проявления? Культ вуду и древняя религия банту?... Я кое-что знал об этом, но этого не было достаточно. Необходимо было прежде всего глубже заняться этим вопросом.

***

Дня через два после этого страшного утра, вечером, когда я только что возвратился с работы, в мою дверь легонько постучали. На пороге стоял высокий худощавый блондин лет двадцати семи, который вежливо поклонился и, назвав себя — полицейский инспектор Ле Генн, — попросил меня предоставить ему несколько минут для разговора. Я ввел его в комнату и предложил садиться.

— Извините меня за беспокойство, — любезным тоном повторил он, опускаясь на стул. — Мне хотелось

задать вам несколько вопросов, поскольку вы были одним из ближайших соседей девушки, погибшей таким трагическим образом. Я подумал, что вы могли, например, что-нибудь слышать, особенно если вы оставляете окно открытым на ночь — что было бы естественным в середине июля, да еще такого жаркого, как в этом году.

Я заметил, что его проницательный взгляд скользнул по оконным рамам, обе створки которых были распахнуты настежь.

— Действительно, — ответил я, — у меня окна на ночь всегда отворены, даже и в более холодную погоду. Но беда в том, что я сплю как убитый, и меня даже в случае нужды очень тяжело разбудить. В ту ночь я ничего не слышал, но это ничего не доказывает; если бы даже в комнате у пострадавшей стреляли из револьвера, я бы, наверное, продолжал спать, как ни в чем не бывало.

Ле Генн с видимым разочарованием кивнул головой.

— Но я хочу поговорить с вами о другом, — продолжал я поспешно и принялся ему с увлечением рассказывать о всем, виденном мною в Африке, и о моих предположениях насчет темной подоплеки, имевшейся, возможно, у всех этих убийств.

Инспектор слушал меня чрезвычайно внимательно и серьезно, не прерывая, но изредка вставляя замечания и вопросы, из которых я не без удивления убедился, что он весьма основательно знаком со всеми первобытными религиями, и с верованиями африканских туземцев, в частности. Меня, помню, несколько смутило, когда он отметил, что ритуальное убийство без пролития крови представляет собой крайне редкое явление.

Когда мой рассказ был окончен, Ле Генн встал, в теплых выражениях поблагодарил меня за «ценные и интересные сообщения», раскланялся и вышел. Что-то мне мало верится, чтобы они сумели раскрыть эту кровавую загадку! На вид этот Ле Генн, положим, не дурак, но, я полагаю, он будет следовать той же тупой полицейской рутине, как и другие чиновники в подобных случаях: а на самом деле перед ними ведь нечто совершенно необычное и требующее особого подхода.

Моим указаниям он, таково по крайней мере мое впечатление, не придал должного значения. Тем хуже для него! Я буду искать самостоятельно и не остановлюсь, пока не дойду до правды.

Делаю эти записи, как часть работы: они мне помогут в дальнейшем не забыть последовательности событий.

***

Не прошло и недели, а мне надо внести дополнение в мои записи. Вчера получил повестку из полиции с предложением явиться в бюро номер такой-то. Пошел туда сегодня. Меня провели в небольшую комнату на третьем этаже, с голыми стенами и с полом, выстланным клеенкой. Ле Генн поднялся мне навстречу из-за длинного стола, занимавшего большую часть помещения:

— Очень вам признателен, господин Шемаханов, за то, что вы откликнулись на мое приглашение, — произнес он со своей неизменной вежливостью; как будто я мог не «откликнуться» на такое приглашение! — Позвольте представить вам моего коллегу, инспектора Мишеля Элимберри.

Рядом с ним у стола стоял невысокий коренастый мужчина с резкими чертами загорелого лица, похожий на испанца.

— Садитесь, пожалуйста, — (он употребил выражение «prenez la peine de vous asseoir», которое мне всегда казалось в высшей степени комичным; возможно ли было бы передать это по-русски как «потрудитесь присесть?») — Я хочу поделиться с вами некоторыми новыми событиями, касающимися нашего дела.

Ле Генн вытащил из кармана пакет американских папирос: мы все трое закурили.

— Два дня назад, — продолжал инспектор, — к нам обратилась за помощью молодая американка из Нового Орлеана, мисс Арабелла Дюпюи, приехавшая недавно во Францию с целью закончить свое образование в Сорбонне. Надо вам сказать, что мадемуазель Дюпюи живет в вашем районе, в верхнем этаже одного

из больших зданий рядом с вашим домом. Конечно, она слышала о происшедшем по соседству убийстве и, видимо, думала о нем. Во всяком случае, когда она, сидя ночью за книгами, услыхала подозрительный шорох за окном, она выглянула на улицу и не растерялась, увидев, что какое-то существо, по виду человек, с невероятной быстротой и ловкостью карабкается по стене в направлении к ее комнате. Мисс Арабелла — девушка с большим мужеством и хладнокровием. Как она рассказала, у нее был под рукой револьвер.

Ле Генн вдруг улыбнулся веселой, почти ребяческой улыбкой: в этот момент ему можно было дать двенадцать лет.

— На мой взгляд французского буржуа, мадемуазель Дюпюи — настоящая американка, девушка из страны чикагских гангстеров, которую ничем не удивишь. Но, как я понял из ее слов, ей, наоборот, Париж рисуется жутким местом, где порядочной молодой барышне опасно выйти одной на улицу, ибо там бродят стада апашей и развратных волокит. Ну, так или иначе, все к лучшему в этом лучшем из миров. Мисс Арабелла полностью сохранила присутствие духа и вместо того, чтобы стрелять, спокойно взяла свой фотографический аппарат, — к слову сказать, великолепная вещица, последняя американская новинка, — и сфотографировала надвигавшееся на нее чудовище при вспышке магния. «Выстрелить я бы всегда успела, — объяснила мне она, — когда он стал бы перелезать через подоконник». Впрочем, до этого не дошло. Испуганное, вероятно, ярким светом, страшилище повернулось и, прыгая с карниза на карниз, скользя по водосточной трубе, цепляясь за неровности камня, исчезло из виду. Студентка подняла тревогу, но ни соседи, ни полиция, прибывшая почти с рекордной быстротой, не смогли обнаружить этого ночного бродягу.

— Но, — в тоне француза послышалась нарастающая напряженность, — мисс Арабелла передала нам пленку из своего аппарата, и мы ее проявили. Снимок получился не очень удачный, что и понятно, если принять во внимание обстановку; но тем не менее... я хотел вас попросить взглянуть на него и высказать ваше мнение.

Ле Генн положил передо мной небольшую фотографическую карточку. Я чувствовал, что мужчины смотрят на меня с любопытством.

Это было лицо человека; но это было не человеческое лицо. Все человеческое было в нем стерто звериной, сатанинской злобой, искажавшей его черты. Снимок был настолько неясен, что я не мог бы даже сказать, было ли это лицо белого или негра; ярость и жестокость смотрели с кусочка картона, словно бы абстрагированные от всего материального, не связанные больше с формой носа или рта... Впрочем, этот рот с оскаленными зубами, эти расширенные глаза... Боже мой, до чего они были ужасны...

У меня было, однако, странное чувство, что эти черты были мне знакомы, но откуда, в этом я не мог отдать себе отчета. Я постарался выразить это ощущение в словах.

Оба инспектора переглянулись.

— Не смею вас больше задерживать, — сказал потом Ле Генн. — Если вы припомните или сообразите, при каких обстоятельствах видели это лицо, вы не откажетесь, надеюсь, нам сообщить...

Но до сих пор мне никакое объяснение не приходит на мысль...

***

В середине глухой ночи я проснулся и вдруг заметил, что стою в центре комнаты... Мертвый белый свет широкой струей входит через открытое окно... Полная луна поднимает свой круглый серебряный щит в небесах, как в те знойные ночи в девственных лесах страны Улоту. Холодный пол под моими ногами напомнил мне, что я босиком и полураздет. Я оглянулся кругом, и тогда...

В двух шагах передо мной стоял ужас... То же кошмарное лицо, какое я видел на фотокарточке в бюро Ле Генна, смотрело на меня в упор... И через мгновение я понял, что стою перед зеркалом.

Все стало вдруг неумолимо ясным. Как будто страшный удар обрушился на меня. Шатаясь, я добрался

до постели и сел. Потом, движимый новой мыслью, я прокрался к окну и выглянул наружу.

Далеко внизу, там, где уличный фонарь бросает на камни круг желтого света, борющегося с бледным светом луны, одинокая человеческая фигура делала десять шагов то в одну, то в другую сторону, время от времени поднимая голову прямо к моему окну.

Они все знают: они следят за мной... Что делать, что делать? Вот уже заря, а я ни на что не могу решиться... Броситься вниз головой туда, на мостовую?..»

***

Было уже почти темно, но я так погрузился в чтение, что даже не догадывался повернуть выключатель. Содержание рукописи, очевидно, сильно подействовало мне на нервы, так как внезапный стук в дверь заставил меня вздрогнуть всем телом.

Совершенно напрасно, конечно. Не дожидаясь ответа, в комнату вошел мой сосед, Димитрий Алексеевич, очень милый и культурный человек, который нередко заходил ко мне поболтать о политике и занять у меня или одолжить мне какую-нибудь газету или книгу.

Я зажег электричество и подставил гостю стул.

— Я вам не помешал? — деликатно спросил он, усаживаясь, и покосился на раскрытую передо мною тетрадь.

— Ничуть, я как раз кончил, — откликнулся я машинально.

— И даже наоборот, — прибавил я, оживляясь и вспомнив, что Димитрий Алексеевич по происхождению донской казак, — вы можете дать мне полезную справку. Скажите, говорит ли вам что-нибудь фамилия Шемаханов?

— Шемаханов? — отозвался после минутного молчания Димитрий Алексеевич, изменившимся голосом, — Шемаханов с хутора Черная Балка? Но разве из них остался еще кто-нибудь на свете? Или вы вспомнили эту старую, эту страшную историю...

— Во всяком случае один какой-то Шемаханов был совсем недавно жив и в Париже, — сообщил я.

— Тогда это, значит, их сын... Он должен быть теперь моих лет, — словно про себя промолвил казак.

— А что это за старая история?

Димитрий Алексеевич улыбнулся.

— Вы ведь хорошо помните «Тихий Дон» Шолохова? Я всегда думал, что основой к эпизоду с матерью Григория Мелехова послужило подлинное событие, разыгравшееся на Дону в 1907 году. Позже, еще в детстве, мне случилось прочесть пачку старых газет с отчетом об этом деле, и они произвели на меня неизгладимое впечатление. Вообразите себе один из самых кровавых и свирепых случаев самосуда, какие имели место в старой России. Жертвой его явились казак Михаил Шемаханов и его жена. У Шемахановых, как бывает в наших местах, много в жилах текло нерусской крови — калмыцкой, татарской, Бог весть, какой еще. И опять же, они были издавна привержены не к православию и не к старой вере, а к одной из темных сект, осколки которых сохранились кое-где среди казаков. К тому же согласию принадлежали и Лыковы, из которых Шемаханов взял себе жену. Не знаю, с чего пошли у них нелады с жителями соседней станицы, только те были твердо убеждены, что Шемахановы «ведьмачат» и наводят им порчу на скот и на людей. И потом, на процессе, их убийцы твердо стояли на этом, и такие подробности приводили, что я, читая, прямо заражался их верой — и ведь умные были, видать, и бывалые люди, а вот... Словом, убили обоих Шемахановых, и как еще убили... и говорить не хочется... а сынишку их, годовалого либо двухлетнего, отмолила у общества одна сердобольная старушка; что с ним потом стало, никогда не слыхал.

Димитрий Алексеевич, глубоко ушедший в воспоминания, покачал головой.

— В царское время к таким делам отношение было суровое. Всех, кто приложил руку к самосуду, заслали на каторгу; не один двор в станице Новоандреевской захирел с той поры. А дом Шемахановых на Черной Балке так и остался пустой... Случилось мне в годы гражданской войны проехать теми краями, еще подростком, вместе с отцом и

несколькими другими казаками; спасались мы от красных... Мрачное, недоброе место! Эх, вы не знаете, как хороша бывает летом наша степь; красивее, может, нет природы на свете, чем наша...

Димитрий Алексеевич, как все казаки, был пламенным поклонником всего, связанного с его родной областью.

— Только вот этот ее угол... Никогда в жизни не видал ничего безотраднее. Огромный овраг, с опасно осыпающимися берегами, точно западня для неосторожных людей и скота... иссохшая, выжженная солнцем, бесплодная земля... черные развалины дома... что-то во всем этом было такое зловещее и тоску навевающее, что не только я, мальчишка, а и мой покойный отец, — а человек он был бесстрашный! — не могли стряхнуть с себя беспокойства. Помню, как жутко выл ветер в этих просторах, какой холод он на нас нагнал вдруг... как сразу потемнело небо в этот вечер... как мы все, не сговариваясь, стали подгонять усталых коней, зафыркавших внезапно, будто вблизи почуяли волка...

***

Я пришел к Ле Генну раньше, чем собирался, и первым делом засыпал его вопросами о судьбе автора прочитанной мною тетради. Он, однако, заставил меня сначала изложить ее содержание, и с особым интересом слушал, когда я повторил ему рассказ Димитрия Алексеевича.

— Ведь вот, я вас не предупредил, — сказал он потом, видимо, упрекая себя за недостаток внимания, — что эта тетрадь лежит у меня чуть не два года. Мне только хотелось кое-что уточнить. Шемаханов сидит в заведении для душевно больных — и между прочим, первоклассном: в клинике моего друга, профессора Морэна, который находит его случай крайне интересным. Впрочем, о выздоровлении не может быть и речи: наоборот, периоды ясности делаются у него все более редкими, начиная с кризиса, который он пережил при аресте (между прочим, мы его сняли с крыши: нелегкая была работа!). В старые годы его сожгли бы, конечно,

на костре; но я не уверен, в глубине души, что для него это не было бы лучше.

Ле Генн глубоко затянулся папиросой.

— Что до его заболевания, — продолжал он, — у меня на этот счет своя теория, и именно относительно нее мне и хотелось с вами посоветоваться. Признаюсь, впрочем, что вы внесли в дело новые данные, которые колеблют ее основания. Я рассуждал так:

Вы знаете, что у европейских народов есть комплекс презрения ко всем цветнокожим. Отмечу с некоторой гордостью, что у французов эта гнусная идеология развита сравнительно мало: зато уж у англосаксов! Что до русских, им это извращение, сколько я могу судить, органически чуждо: их история шла иными путями и они строили свое государство и свою культуру на совершенно другой основе. Однако, по моим наблюдениям, те из русских, которые попадают в европейские колонии, нередко заражаются предрассудками окружающей их западно-европейской среды. И вот тут-то и происходит любопытное явление, имеющее себе аналогии в истории. Вы помните, конечно, о туземцах тихоокеанских островов, которые целыми племенами вымирали от гриппа или кори? У них не было иммунитета, выработанного в Европе многими поколениями. Так и в духовном плане, русский может усвоить вирус нашего западного комплекса превосходства в особо резкой и болезненной форме. Что, на мой взгляд, и произошло с Шемахановым. Он, вдобавок еще, практиковал полное воздержание от сношений с женщинами, что само по себе не всегда безопасно. О нет, — успокоительно добавил Ле Генн, — это бы ему не повредило, отдельно взятое, но в условиях полного одиночества среди туземцев, которых он не то, что презирал, а принуждал себя презирать, в которых не хотел видеть людей, это породило у него анормальное раздвоение личности. В свои периоды лунатизма, он стремился уничтожить именно тех негров, к которым чувствовал в себе любовь или симпатию в сознательной жизни. Мадемуазель Дюпюи — между нами, какая очарова-

тельная девушка! — тоже ведь имеет в себе примесь черной крови. Между прочим, я навел справки, и, несмотря на долгий срок, с успехом: в Марселе, в отеле, где он остановился, убили молодую негритянку. Что для меня явилось неожиданностью, это, что у Шемаханова была, сверх всего, наследственная отягощенность. Век живи, век учись... Я даже не подумал искать в этом направлении.

Ле Генн взглянул на меня и рассмеялся: но его обычно заразительный смех на этот раз звучал безрадостно.

— Не подумайте, что я впал в материализм и рационализм. Без всякого сомнения, в него вселился дьявол. Но дьявол-то не всегда и не во всякого может войти: он вечно ждет и ищет, пока ему не представится подходящая почва...

ШАГИ НА ЛЕСТНИЦЕ

Ночь. Мост. Фонаря свет.
Шаги за спиной. Никого нет.

Владимир Злобин

— Что это с вами сегодня, Таня?

Мелодический голос девушки, с которой я сидел в углу зала Русской Консерватории, звучал какой-то странной рассеянностью, и ее васильковые глаза смотрели, казалось, не на меня и не на шумевшую вокруг вечеринку, а куда-то глубоко внутрь себя. На мой вопрос она только слегка вздрогнула да оправила с тем же отсутствующим видом белокурую волну волос, двумя струями падавших на плечи по бокам нежного овала ее лица.

У нас давно установились товарищеские отношения, хотя за суетой парижской жизни я разве раз в два-три месяца находил время заехать в их дом, где меня встречали очень радушно. Зато гораздо чаще, и со взаимным удовольствием, мы сталкивались на балах и вечерах; и сегодня мне было ужасно приятно различить в толпе ее головку цвета ржаных колосьев. Но почему она словно не в себе? Уже несколько раз она отвечает мне невпопад...

— Как здоровье Никодима Васильевича и Марфы Михайловны? И как идут дела у вашего брата?

— Благодарю вас, мама с папой здоровы. Вася сейчас очень занят, готовится к экзаменам...

Я недовольно покачал головой.

— Будто вас подменили! Меньше месяца назад мы, помню, разговаривали здесь же, на такой вечеринке — и вы были совсем другая; живая, веселая, беззаботная...

Она вдруг быстро взглянула на меня.

— Да, с той вечеринки, с той самой, все и началось, — вырвалось у нее.

— Что началось? — необдуманно и не слишком деликатно спросил я.

По ее чертам стремительно скользнуло беспокойство, точно она выдала себя, — и сомнение — не уйти ли обратно в свою скорлупу? Потом они вдруг осветились ясной дружеской улыбкой — и девушка доверчиво положила свою руку на мою.

На эстраде певица кончила свое выступление, и под звуки вальса я мог без помехи слушать журчавший, как вода быстрого ручья, рассказ. Еще одна странная история!

***

— Я вышла тогда из Консерватории одна и торопилась попасть на метро, пока оно не закроется. Рю де ла Манютансьон, куда я завернула, была в этот час совершенно пустынна, и только у подножия длиннейшей лестницы — знаете, которая ее соединяет с авеню дю Президан Вильсон, — мне попалась одинокая человеческая фигура. Это был молодой мужчина, и он шел навстречу мне. Мы поравнялись под самым фонарем, и я отчетливо увидела его лицо... и сейчас его вижу, как живое... Я никогда в жизни не видела такой красоты и выражения такого страдания... Не отчаяние, не физическая боль, а застывшая горькая скорбь... Кроме лица, я почти ничего не заметила; он, должно быть, был в каком-то длинном черном пальто. Минуту мне казалось, что он со мной заговорит. Но незнакомец промолчал, и я вступила на лестницу. И почти тотчас за моей спиной послышались догоняющие меня шаги. Я невольно пошла быстрее — но шаги эти участились. Внезапно мной овладел беспричинный страх, и я бросилась бежать вверх, туда, где, я знала, ждет меня большая и людная улица.

Все это было как в кошмаре, нереально и полно давящей жути. Бледный свет луны... желтые пятна фонарей среди легкой дымки тумана... все приближа-

ющиеся звуки бега за спиной и оглушительный стук моего собственного сердца...

Безумным усилием я достигла верха лестницы. Все продлилось одну или две минуты, показавшиеся мне вечностью. Я уже слышала шум автомобиля и французские фразы шедшей мимо меня запоздалой пары. Задыхаясь, прижав руку к сердцу, я остановилась и обернулась... Надо сказать, что мне в душе все время, пока я бежала, хотелось оглянуться, и в то же время какой-то внутренний голос меня от этого удерживал. Теперь я обернулась, и... лестница была пуста.

Я своим глазам не поверила. Где же мой преследователь? Свернуть ему было некуда: по бокам высились стены зданий. Вернувшись назад, даже бегом, он, бывший только что у меня за спиной, не успел бы достигнуть и середины лестницы. Поверите ли, я снова спустилась вниз, прождала еще несколько минут и лишь потом, смертельно усталая и потрясенная, направилась в метро.

Признаться, с тех пор я не нахожу покоя. Эта необъяснимая история меня мучила. Я нарочно несколько раз проходила по той же улице, но ничего не видела, что бы мне подсказало какое-нибудь правдоподобное предположение. Правда... я ни разу не попадала туда в полночь, как в первый раз. Ну, теперь скажите, что вы думаете обо всем этом?

Я поколебался одно мгновение, и прежде, чем я успел найти слова, перед Таней склонился какой-то молодой человек, приглашая на танцы.

Она бросила мне извиняющуюся улыбку и смешалась с толпой танцующих. Вскоре ко мне подошел знакомый, и мы вместе отправились в буфет закусить, выпить и поболтать о политике.

Когда я вернулся в зал, я не мог больше отыскать Тани. Очевидно, она ушла домой. Впрочем, так или иначе, стрелка часов перешла за двенадцать, и вечеринка близилась к концу. Через полчаса я с целой компанией друзей выходил из зала, где только что погас свет — предупредительная мера по адресу не торопившейся расходиться публики.

Морозный воздух ожег наши разгоряченные лица и легкие. Не торопясь, шумно смеясь и обмениваясь шутками, мы постепенно добрались до ступеней из серого источенного камня, круто взмывавших вверх, казалось, куда-то бесконечно далеко.

Что это? Еще снизу мы заметили лежавшую на средней площадке человеческую фигуру. Пьяный? Может быть, на той же вечеринке кто-нибудь из русских залил себе за воротник немножко больше, чем мы? Но подойдя ближе я узнал знакомое мне желтое пальто и волосы, золотые, как спелая рожь...

— Разрыв сердца, — сказал вызванный нами доктор, мрачно взглянув еще раз на молодое, бледное как мел лицо со страдальчески закушенной нижней губой, — видно, что она бежала вверх, изо всех сил... чего-нибудь испугалась?

БРЕТОНСКОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ

*Centuplum accipies**.

Стояло ясное, но холодное утро, первое зимнее утро в году. Я вышел из дому без пальто и жалел об этом, поеживаясь под пронзительным ветром. На душе у меня царило безотрадное чувство. И то сказать, к тому было более чем достаточно оснований.

Русское издательство, в котором я работал, приближалось к краху. Как эфемерны вообще все русские начинания за границей, неизбежно зависящие от иностранцев, не понимающих и не желающих понимать наши национальные интересы и желания! В субсидиях, необходимых для продолжения дела, нам отказывали, и деятельность нашего учреждения свертывалась. Перспектива остаться без заработка — одна из самых невеселых, какие выпадают в эмигрантском существовании.

Последнее время никто в нашем бюро не занимался всерьез своими обязанностями, и все ждали только расчета, прикидывая заранее, кто сколько должен получить. В этот день я даже не вышел на работу, рассуждая, что никто не придаст значения моему отсутствию — а впрочем, хоть бы и придали... Вместо того, я решил заняться личными делами.

Признаться, вся эта история была отнюдь не главным, что меня беспокоило. Я думал совсем о другом. Чуть не месяц прошел с тех пор, как я виделся с Мариной в индусском кабачке — и мне не удавалось ее встретить! Из-

* Сторицею воздастся вам.

за нелепого недоразумения с ее отцом, я не мог пойти к ним в дом, а все попытки поймать ее на улице оказывались тщетными, хотя я проводил чуть ли не все свои свободные часы, бродя в районе, где она жила.

Мне казалось почему-то, что если сегодня я ее не встречу, это будет концом. Может быть, она нарочно меня избегает? Длинная, прямая улица около Монпарнаса, тянувшаяся сейчас передо мною, была полна народа, но мне представлялась пустыней; среди всех этих улиц я не находил того единственного, по которому горела жаждой моя душа.

Долгая меланхолическая жалоба слагалась во мне, и я не мог не слышать ее будто откуда-то издалека, подобную грустной песне или рыдающим аккордам музыки. «Вы не хотите больше меня видеть? — хотелось мне сказать ей. — Вам нет нужды бежать от меня! Довольно одного слова, и я никогда больше не попадусь на вашей дороге. Я не хочу вас огорчать, не хочу, чтобы у вас осталось неприятное воспоминание, связанное со мной. Мне легче было бы вырвать себе глаза, вырвать сердце из груди, чем отказаться от вас; но я сделаю это, если вы меня попросите. Только неужели мы не можем расстаться, как друзья, неужели я не имею права с вами попрощаться, неужели вы не захотите мне подарить в последний раз одну улыбку, два-три приветливых слова?»

Окружающее рисовалось мне как в тумане; я все видел, но ничто словно бы не доходило до моего сознания. Недалеко передо мною шел нищий; несколько раз он протягивал прохожим руку, но ему не везло; один за другим отворачивались и проходили мимо. Я обогнал его, и уже отошел было на несколько шагов вперед. Однако, мой рассеянный взгляд скользнул по его длинной, худой фигуре. Он был еще не стар, вряд ли старше сорока лет, но бледное, осунувшееся лицо говорило о перенесенной болезни или долгом голоде. Острая жалость вдруг пронизала мое сердце; я вернулся назад и, пошарив в кармане, протянул ему монету в пятьдесят франков.

Он разразился пространными благодарностями, которые меня смутили.

— Слушайте, — сказал я, — не стоит говорить о таких пустяках. Я на своей шкуре знаю, как это неприятно, когда нет денег.

— Нет, — ответил нищий, — у нас в Бретани...

Его слова меня заинтересовали. «Земляк Ле Генна», — подумал я и перебил его вопросом:

— Так вы бретонец? И говорите по-бретонски?

Нищий отозвался длинной фразой на бретонском языке, и даже, кажется, на том диалекте, иес Леон, который считается самым чистым и правильным из всех наречий кельтической Бретани.

Надо сказать, что я несколько раз брался за изучение бретонского языка, в высшей степени интересного с лингвистической точки зрения, но никогда не мог его вполне осилить. У меня осталось определенное впечатление, что это один из самых трудных языков Европы, по крайней мере из числа арийских. Чего стоит одна перестановка согласных в начале слова, столь сильно дезориентирующая новичка! а богатство глагольных форм!.. Словом, я достиг-таки того, что читаю со словарем; но говорить не умею, тем более, что почти не имел практики.

Тем не менее, я понял или скорее угадал общий смысл произнесенного моим собеседником. Он сказал, примерно, что Бог не оставляет без награды ни одного доброго дела, хотя бы и самого маленького.

— Нет, вы не поняли? — спросил бретонец, с некоторым разочарованием, заметив мое растерянное выражение. Он хотел, вероятно, объяснить, но в этот момент мне показалось, что я заметил в отдалении пальто Марины, и я, пожав ему руку, как равному, простился с ним, и бросился в том направлении.

Напрасная тревога! Это не была Марина... И час, когда, по моим расчетам, я имел шансы ее встретить, уже прошел. Ругаясь про себя на всех знакомых мне языках и всеми самыми гнусными словами, я повернул к вокзалу Монпарнас, и через десять минут уже спускался в метро. Если что-нибудь одно не ладится, всегда уж непременно, точно на зло, к этому присоединяются еще и другие мелкие неприятности!

Задумавшись, я сел в поезд, идущий не в том направлении, какое мне было нужно, и мне пришлось пересесть, когда я спохватился, проехав три остановки; притом, я вышел на неудобной станции, не узловой, так неудачно, что мне пришлось второй раз купить билет...

Потеряв лишние четверть часа, я снова проезжал мимо Монпарнаса, уже в обратную сторону, и в отворившейся двери вагона прямо перед мной вдруг появилась Марина.

В ее глазах отразилось безграничное изумление, но улыбка, которая пробивалась сквозь него, сразу сказала мне, что мои страхи были напрасны и что у меня нет повода к тем жалобам, короб которых я несколько недель носил на сердце.

Какое солнечное чувство озарило мою душу, какое непередаваемое ощущение блаженства, ясности и спокойствия наполнили меня всего, когда она, стоя бок о бок со мной, расспрашивала меня о том, каким чудом я ухитрился попасть в тот самый вагон, в ту самую минуту, когда она войдет?

— Кто вам сказал, что я буду именно здесь в это время?

— Сердце! — ответил я, и на мгновение у меня дыхание остановилось от волнения.

Марина ехала в гости к дяде; я был знаком с ним и его женой только вскользь, по встрече на каком-то собрании, но, в припадке дерзости, решился пойти к ним вместе с ней. Вернее, может быть, будет сказать, что просто не мог в этот момент с ней расстаться. Кто рискнет отнять у голодной собаки кость? Я не стал пробовать этот опыт над самим собой...

Идея оказалась неожиданно удачной. Дядя и тетя Марины — настоящие осколки большой русской аристократии, со всем тем лучшим, что у нее было, приняли меня с приветом и лаской, на которые я никак не смел рассчитывать, переступая их порог.

Они читали мои статьи и слышали раз или два мои выступления с трибуны. Какая это странная вещь, политическая работа! Словно бросаешь семена на волю

ветра... Думаешь, что никто не заметил когда-то наспех написанную и куда-то отосланную, часто далеко за границу, статью, о которой и сам уже давно забыл; а потом вдруг наталкиваешься, совершенно случайно, на человека, которому она, оказывается, понравилась, который о ней думал и говорил со знакомыми, на которого она оказала иногда даже влияние и который тебя встречает как старого друга, едва успеешь назвать ему свое имя.

Для князя и княгини Вилейских мои монархические взгляды и моя антибольшевистская деятельность были лучшим рекомендательным письмом, чем банковская книжка и имя из Готского альманаха. Через несколько минут я с радостью убедился, что мы во всем понимаем друг друга и что я могу без стеснения быть самим собой.

Три или четыре часа, которые я провел здесь подле Марины, были вряд ли не самыми приятными в моей жизни...

Выходя отсюда, я чувствовал, как говорится, что мне море по колено, и был настолько заряжен оптимизмом, что это мне показалось лучшим моментом поехать на службу; если наше дело вправду окончательно развалилось, — рассуждал я, — сейчас я это приму совершенно спокойно и не буду из этого делать трагедии.

Однако, едва я вошел в контору, как уловил носящиеся в воздухе флюиды радостного возбуждения и подметил энергичнейшую активность в работе моих коллег, которые все, старшие и младшие, были на своих местах.

Прежде чем я успел что-нибудь спросить, ко мне с широчайшей улыбкой подошел мой начальник, двигавшийся точно судно, в паруса которого дует на полный ход попутный ветер.

— Вас-то мне и не хватало, дорогой Владимир Андреевич! — сказал он весело, — пойдемте ко мне в кабинет: в связи с расширением нашего издательства нам надо составить новый план, и я хочу, чтобы вы изложили свои соображения насчет вашего отдела... Как, вы еще не знаете? Американцы решили финансировать нашу дея-

тельность: миллионы долларов, батенька! Теперь, конечно, и жалования будем платить не те, что прежде.

И шеф, подхватив меня под руку, двинулся к дверям своей рабочей комнаты.

***

Решительно, это был день встреч в метро! Когда я, усталый, но довольный, собирался сесть в поезд, чтобы ехать домой, на перроне я внезапно столкнулся — ни больше, ни меньше! — с отцом Марины и так растерялся, что подошел к нему с протянутой рукой и даже, боюсь, забыв стереть с лица счастливую улыбку. Он, тоже сбитый с толку неожиданностью, ответил на мое рукопожатие.

Надо было выпутываться из неловкой ситуации.

— Не думаете ли вы, Всеволод Никитич, что в прошлый раз мы оба погорячились? Что до меня, я искренне сожалею об этом инциденте; вы ведь знаете, как я вас глубоко люблю и уважаю...

Мы вместе вошли в подкатившийся с оглушительным лязгом поезд и за двадцать минут совместной езды целиком ликвидировали все имевшие между нами место конфликты.

***

— Извините меня, я на минутку, — сказал Петр Николаевич, прерывая беседу и приближаясь к зазвонившему телефону. — Да, это я, Загорский. Что? Вижу ли я Рудинского? Да он как раз сейчас здесь, у меня. Да, сейчас.

Он повернулся ко мне и протянул мне трубку.

— Здравствуйте, Владимир Андреевич, — долетел до меня знакомый мужской голос. — У меня к вам вот какое дело. Вы помните переводы, которые вы делали в прошлом году для нашей франко-русской Антикоммунистической Лиги? Вы были тогда так любезны, что согласились работать бесплатно, сказав, что слишком

сочувствуете нашему направлению, чтобы требовать денег. Но мы, если вы не забыли, обещали с вами в случае возможности рассчитаться. Сейчас новый директор распорядился подвести все итоги и выплатить наличную задолженность, и вам, по приблизительному подсчету, причитается 50000 франков. Не откажитесь к нам зайти.

***

— Кабы я знал заранее, — думал я, укладываясь спать, — я дал бы бретонцу сто франков. Интересно, что бы тогда было? Но, во всяком случае, грех пожаловаться: я сегодня несомненно сделал самый выгодный гешефт за всю свою жизнь.

КАЗАК ПУГАЧЕВА

— Да-с; есть духи шаловливые, легкие, которым не только ничего не значит врать и паясничать, которые даже находят в том удовольствие, и нарочно, для своей потехи, готовы Бог весть что внушать человеку.

Н.С.Лесков. «На ножах».

Решительно, у меня такое чувство, что я должен поделиться этими фактами с публикой; я просто не имею права сохранять их для себя одного. Сколько людей, даже если считать одних русских эмигрантов, в той или иной форме занимается спиритизмом? Боюсь, их наберется много. Конечно, Церковь, наша родная, православная, и все другие христианские вероисповедания тоже, категорически и сурово запрещают какие бы то ни было упражнения в оккультизме. Но и здесь, как в стольких других вопросах, сколько народу считает этот запрет для себя не обязательным!

Можно было бы сказать: пусть и несут тогда последствия своего поведения. На самом деле, однако, значительная часть ведет себя так просто по легкомыслию, не сознавая толком, с какими силами ведется игра. Вот почему я в конце концов решился написать изложенное ниже предостережение. Конечно, злых духов на любой сеанс со столоверчением, планшетками, медиумами и прочими инфернальными средствами общения с иным миром, является немало. Но все же, если я разоблачу хоть одного из них, и то будет благое дело.

Я сам вел себя не лучше других, когда в тот вечер у Натальи Николаевны согласился принять участие в затеянном сдуру сеансе, имевшем столь трагические последствия. Как же было предвидеть! Поначалу все было весело и вполне банально. Мы сидели, помнится, семеро, за круглым столиком, и слушали голоса из

пространства — в большинстве случаев вздор ужасный, иногда и смешной, и в основном, вероятно, продукт подделки со стороны участников. Так оно и шло, пока не прозвучал, совершенно внезапно, слегка осиплый мужской голос, разом заставивший нас всех вздрогнуть, словно от электрической искры, хотя он и произнес только самые обычные слова:

— Здравия желаю, ваши благородия!

На минуту все растерянно застыли в молчании; потом Наталья Николаевна замирающим от волнения тоном спросила:

— Кто ты, дух?

— Казачий урядник Семен Егоров, — деловито отозвался тот же голос, спокойно и словно бы с ухмылкой.

— Ну, это видно по моей части, по военной, — не разобрать шутливо или всерьез заметил, нарушая вновь возникшую паузу, полковник Георгий Константинович, один из гостей. — Скажи-ка, а какого же ты войска, братец?

— Яицкого, ваше благородие.

— Экая старина! Да ты при каком же царе служил-то?

— Так что при Петре Федоровиче, ваше благородие.

— Петр Федорович? Это когда же? Ведь Петр Великий, помнится, был Петр Алексеевич? — растерянно отнеслась к нам Наталья Николаевна.

— Да нет, это выходит Петр Третий... Подождите-ка... А ты где же воевал, служивый? И что же, на поле брани жизнь довелось окончить? — снова обратился к духу полковник.

— Так что под Оренбургом в 1774 году, ваше благородие!

— Под Оренбургом в 1774 году? Так ведь Петр Третий умер в 1762... Это ты что же, значит Пугачу служил?

— Кому Пугач, а кому Его Царское Величество Государь Петр Федорович! Известное дело, Катьке не служил! — с неожиданной грубостью брякнул в ответ из пространства незримый урядник Семен Егоров и вдруг прибавил грязное, непечатное ругательство.

Мы все замолчали, в полной растерянности.

Но дух не унимался и через несколько минут заговорил снова, на этот раз не дожидаясь приглашения и в тоне явной злобы:

— А ты бы, ваше благородие, чем тут вздором заниматься, шел бы себе домой. Может, там чего бы хорошего увидел.

До нас донесся глумливый смех, и почудилось, точно захлопнулась какая-то дверь. Больше никто не отзывался на вопросы, да и мы были слишком взволнованы, чтобы продолжать сеанс. Зажгли свет, и почти тотчас же полковник встал и начал прощаться.

— Как, неужели вы не останетесь ужинать, Георгий Константинович? — с огорчением вскричала хозяйка. — Ведь я вас с тем и приглашала! И мы бы потом сыграли в бридж... Ну, куда вам торопиться?

— Нет, уж я пойду, извините, — отнекивался побледневший полковник, — знаете, ведь жена сегодня нездорова. Меня уговорила пойти к вам, а сама осталась одна. Вдруг ей станет хуже, а меня нет. Все может быть; вы уж простите...

Наталья Николаевна перестала его удерживать. Все мы знали, что Георгий Константинович страстно любил свою молодую жену, с которой повенчался не более года тому назад.

***

Хотя я и взял вымышленные имена, они, наверное, никого не обманут в парижской русской колонии. В ней еще слишком жива память о трагедии, кровавой и неистовой, разыгравшейся несколько лет назад. Вернувшись к себе, Георгий Константинович застал свою молодую жену в обществе Пети Н., ее бывшего товарища по Русской Гимназии. Очевидно, обстановка была такова, что не допускала сомнений.

Во всяком случае полковник взял револьвер, неизвестно на какой предмет хранившийся у него в ящике письменного стола, и застрелил обоих, а затем покончил самоубийством. Однако, от волнения что ли, рука у него дрогнула, и он пустил себе пулю в сердце так неудачно, что еще целых три дня агонизировал во французском госпитале, и один момент казалось даже, что его удастся

спасти. В течение этого времени, он в бреду много раз повторял имя «Пугачев», сильно сбившее с толку полицию, надеявшуюся на какое-либо признание или объяснение с его стороны.

На самом деле, чтобы понять, надо было присутствовать на спиритическом сеансе, который я описал выше, или знать обо всем, на нем происшедшем. Спешу прибавить, что эту подробность о предсмертных словах полковника я сам узнал лишь случайно, и много позже, почти через год, от моего друга Шарля Ле Генна.

***

Может показаться странным, что никто из нас, бывших в тот раз у Натальи Николаевны, никак не подумал сопоставить страшное событие в семье Георгия Константиновича с нашими оккультными развлечениями. Это одно может в какой-то мере объяснить (конечно, не оправдать!) факт, что, собравшись несколько месяцев спустя, на этот раз в гораздо меньшем числе, в том же доме, мы опять взялись за то же самое.

Присутствовали, кроме меня, только Наталья Николаевна, ее муж со своим братом да Маша, девушка лет двадцати, часто приходившая сюда в гости, очаровательная светлая блондинка среднего роста, чисто русского типа северной красавицы.

Какое-то скверное чувство шевельнулось во мне, когда я вновь услышал голос, в котором я сразу признал, урядника Семена Егорова. Но я постеснялся предложить прервать сеанс, опасаясь обидеть хозяев. Эта глупая, вредная трусость, эта боязнь нарушить условные приличия, которая так глубоко сидит в каждом из нас! Дух, как это ни несообразно, проявил на этот раз большую галантность, и его внимание целиком сконцентрировалось на Маше.

— Что же ты пригорюнилась, лебедушка? — с неожиданной ласковостью спрашивал он. — С твоей-то красотой неписанной, да скучать и тосковать! Смотри, бабья вся радость пока молода, а наплакаться, небось, и под старость

успеешь. Лови счастье, пока в руки дается, не то потом пожалеешь, да уж зря. А старикам да старухам не больно верь: сами тоже грешили, пока удавалось.

Меня покоробило от подобных советов, на мой взгляд, не слишком высокой нравственности. Но на Машу они словно бы произвели впечатление; даже в темноте я заметил, как она задорно тряхнула золотистыми кудрями, точно соглашаясь с этим голосом из потустороннего мира, точно отвечая себе самой на мучивший уже давно вопрос. Теперь пугачевский казак решил, очевидно, заняться мною, чему я был совсем не рад.

— А ты чего, барин, сидишь словно сыч, насупившись? — произнес он тоном сразу и дерзким и вкрадчивым, — Аль тебе лихой человек поперек дороги стал? Так уж будто не знаешь, что сделать! Прикончил, и вся недолга. — И, словно прочитав в моих мыслях, добавил: — А на войне ты что ль не убивал? Где разница? Там за зря человека, которого, глядишь, и не знал совсем, а тут соперника, супротивника... Ну, не хочешь, что ж: оставь ему девушку — да уж тогда не жалуйся. Эх, да мне, кажись, и пора уже! Ну, прощевайте, господа хорошие!

***

Машу я довольно часто встречал, но прежде никогда не задумывался над ее внутренним миром. Она казалась девушкой скрытной и холодной, или по крайней мере сдержанной и не склонной к излишней откровенности. Дочь очень строгих родителей, из бедной и гордой военной семьи, она всегда прекрасно училась, состояла сейчас студенткой какого-то французского института и была далека от всех развлечений и удовольствий, которыми так полон Париж, но которые все требуют немало денег.

Какой неожиданностью было для всех, когда эта примерная девушка вдруг ушла из дома к студенту-французу, о самом существовании которого ее отец и мать знать не знали, ведать не ведали! Другие родители, может быть, отнеслись бы к делу спокойнее: Машины ее прокляли и навсегда отказались ее видеть или хотя

бы о ней слышать. История могла бы иметь и благополучную развязку. Но вышло иначе. Любовник Маши не имел никакого желания на ней жениться и скоро ее бросил. Одна, в обстановке богемной среды, куда она попала, в поисках утешения, она пошла по рукам... То, к чему французы умеют приспосабливаться в силу вековой привычки, — для русских смерть.

Через несколько месяцев я сам — совершенно случайно — встретил ее ночью на бульваре, вдребезги пьяной... Я хотел с ней заговорить, попытаться помочь — но она меня узнала и, должно быть, мой вид вызвал у нее в душе слишком много тягостных воспоминаний, от которых с нее и хмель соскочил. Закрыв лицо руками, она бросилась бежать и исчезла за углом...

***

Мне бы, верно, тоже несладко пришлось, вздумай я исполнить совет пугачевца. Но я этого не сделаю. Пусть кто другой выполняет указания, идущие из ада, через каких бы агентов они ни передавались! Однако я хочу предостеречь других: если они при занятии спиритизмом столкнутся с духом урядника Семена Егорова, казака Яицкого войска и приспешника Емельяна Пугачева, пусть остерегаются! Его появление может иметь зловещие последствия.

В БЕЛЕСОМ ТУМАНЕ

И когда ты смеешься над верой,
Над тобой загорается вдруг
Тот неяркий, пурпурово-серый
И когда-то мной виденный круг.

А.Блок

Я нередко видел его на улице — бледное, неподвижное как маска лицо, зачесанная назад грива седых волос, худая, прямая как палка фигура, странная пританцовывающая походка.

Но самое главное в его наружности были глаза, с их неподвижным мертвым блеском, пугающим и в то же время притягивающим. Не удивительно, что он мне часто попадался навстречу: он нанимал большую квартиру неподалеку, на бульваре Вожирар.

Я с ним был знаком. Впрочем, кто в русском Париже не знал профессора Фидена? Он входил в число людей, участвовавших в литературных и культурных движениях серебряного века, был в близких отношениях с Блоком и Брюсовым, состоял в членах Религиозно-Философского Общества. Сам Фиден тоже писал стихи и издал два или три томика, в которых сквозь условные приемы символизма пробивалось — или так по крайней мере всегда казалось мне — что-то жуткое, недоговоренное и извращенное.

В Париже он постоянно выступал с докладами, где общего было то, что на треть или четверть они оставались непонятными аудитории. Вразумительная часть касалась вещей вроде древних религий, мистической сути кровавых жертвоприношений, культуры Атлантиды и тому подобных вопросов.

Фиден был из тех лиц, каких всегда окружают творимые вокруг них легенды. О нем говорили много,

но ничего определенного. Ясным представлялось в основе толков одно: в существовании этого внешне почтенного ученого и публициста была какая-то темная страница, нечто скользкое и опасное. Меня все это интриговало, хотя в сущности некий инстинкт подсказывал мне держаться подальше от этого высокого, поджарого старика с металлическим голосом и с фразами безукоризненно правильными, но словно бы не одушевленными и тенью человеческих чувств.

Как-то раз, после одной из его лекций, мы очутились вдвоем в небольшом кафе, и тут-то мои мысли прорвались наружу.

— Профессор, — сказал я, — в вашей жизни есть тайна; и мне хотелось бы ее разгадать.

В зеленых глазах Фидена вдруг, неожиданно для меня, отразился страх; он поспешно их опустил.

— Ну, что вы! — произнес он через минуту. — Что вы! Вспомните лучше рассказ Оскара Уайльда о женщине, тайна которой заключалась в том, что у нее не было никакой тайны.

И, поспешно расплатившись, Виталий Константинович вышел из кафе.

***

Это было вскоре после того, как я стал бывать у Назаровых. Недели существовали для меня лишь ради того дня, когда мне удавалось повидать Марину, и в намеченный день я с утра начинал считать часы, остающиеся для удобного для визита времени. Немудрено, что я регулярно оказывался перед их домом слишком рано и должен был прогуливаться известный срок по окрестным улицам, прежде чем подняться по лестнице, ведшей в мой рай.

Одна из таких прогулок завлекла меня в узкий, даже днем темный переулок — Пассаж де Жергови, окаймленный мрачными, облупленными домами, будто хмурившимися на всякого, чьи шаги нарушали могильную тишину, их обволакивавшую.

Я шел задумчиво и рассеянно, с праздным любопытством, смотря на каменные фасады, словно бы излучавшие пронзительный холод, и невольно вздрогнул вдруг, когда прямо у меня под носом из черного провала низенькой двери здания, к которому я приближался, возникла длинная фигура профессора Фидена.

Машинально я поклонился, но он, переменившись в лице, прошел мимо, избегая вступать в разговор.

Пожав плечами, я продолжал свой путь. В конце концов, это меня совершенно не касалось. А все-таки курьезно, что он тут делал?

***

Прошло несколько недель, когда я неожиданно получил письмо из госпиталя Бруссэ. Подписавший его французский доктор сообщал мне, что находящийся в больнице мсье Фиден, состояние которого опасно, выразил желание меня видеть.

На следующий день я явился туда. Среди белых подушек лицо профессора выглядело восковым и мертвым. Только глаза на этот раз жили интенсивным, точно независимым от остального тела существованием. Сиделка объяснила мне, что больной почти не может говорить — у него какая-то редкая форма удара — и лишь на короткие сроки приходит в себя. Но это был как раз светлый промежуток. Его исхудалая рука потянулась под изголовье и вытащила кошелек, из которого он с усилием извлек железный ключ... Ладонь, откуда я взял небольшой металлический предмет, была ледяной и влажной. Профессор откинул голову назад и опустил веки. По тонким бледным губам скользнула улыбка. Что она выражала? Облегчение? Надежду? Да, но мне почудился в ней, кроме того, оттенок злорадства...

***

Непонятная сила привела меня к знакомому дому в Пассаж де Жергови. Лишь на пороге я поколебался, но

затем спросил у консьержки, опрятной, розовой старушки, не нанимает ли в этом доме комнаты профессор Фиден.

— Его студия наверху по лестнице, налево, — ответила женщина, и в ее взгляде я прочел страх и пытливое любопытство. Я слышал, как она, отвернувшись, пробормотала:

— Hag hon dilivrit diouz ann droug...*

Она не могла знать, что я немного понимаю по-бретонски...

Толкнув дверь, я очутился в квадратной комнате, вроде чулана, не имевшей ни одного окна. Однако в ней темно не было, хотя с неосвещенной лестницы, по которой я пришел, не проникало никакого света, а стоял своеобразный фосфорический полусвет, излучавшийся от парившего, клубившегося в центре комнаты светло-серого тумана... Тумана белесого, словно подернутого плесенью... Не знаю, в какой момент я успел схватить эти детали. Потому что, сразу же переступив порог, я почувствовал вдруг сокрушительный удар в грудь, будто от сильного электрического разряда, и миг спустя оказался лежащим на спине в середине комнаты, с ощущением нестерпимой тошнотной дурноты и липкой, непреодолимой слабости во всех мускулах. Что это?

Последовали минуты непередаваемой тягостности. Я только и могу их сравнить с тем кошмаром, который, помню, меня мучил в детстве, когда у меня бывал жар: когда мне чудилось, будто на потолке возникает узор паутинных линий, который я непременно должен был и ни за что не мог расшифровать...

Надо мной вился пульсирующий, живой, уплотняющийся до степени осязаемости туман. Он постепенно сгущался надо мною и медленно ко мне опускался. Из него тянулись ко мне тонкие нити, щупальцами впивавшиеся в мои виски, глаза, рот...

Непреодолимая, давящая тяжесть падала на меня, лишая всякой энергии к сопротивлению. Память вдруг, как на кинематографической пленке развертывала мне

* И избави нас от лукавого.

все те вещи, какие обременяли мою совесть, начиная от мелких, но некрасивых поступков в детские или юношеские годы и кончая последними днями, всякая ложь, трусость, неблагодарность, какие мне, как всякому человеку, случалось совершить, — но то, что в нормальное время было второстепенным, представало вдруг как грех, преступление, позор, и дальнейшая жизнь рисовалась лишенной смысла и не стоящей борьбы за нее.

Внутренне я сознавал, что надо что-то противопоставить этому гнету, этому жгучему чувству тоски и стыда, но тщетно я пытался вызвать в душе что-либо светлое. Борьба с большевизмом? Научная работа? Все казалось таким ничтожным и суетным...

Пока одна мысль не рассеяла сумерки волной света и тепла. Марина! Ее образ в эту минуту вдруг встал передо мною, еще более лучезарный, чем всегда. Жить, чтобы снова увидеть ее. Чтобы вновь взглянуть в эти волшебные глаза, греющие сердце своей детской веселостью, своим доверием к жизни.

Я оторвал мое тело от пола, приподнялся на локтях, поднимая навалившуюся на грудь ледяную глыбу, вступая в роковой бой, но готовый сопротивляться до конца... Дверь вдруг распахнулась, и за нею я увидел старушку-консьержку и монаха в одежде кармелита с бледным решительным лицом. За ним, на заднем плане, я смутно различал двух молодых ребят в рабочих блузах с разинутыми от испуга ртами.

— Вот, вот смотрите сами, отец Франсуа! Вот что он тут выделывал! — возбужденно говорила старуха.

Собравши силы, я передвинулся ближе к выходу и рывком поднялся на ноги. Должно быть, я пошатнулся, так как один из парней мягко поддержал меня под руку.

Глаза монаха были с ужасом и отвращением обращены в центр комнаты.

— Света! — сказал он тоном приказа. — Больше света!

Второй рабочий включил большой прожектор, который держал в руках. Яркий электрический луч прорезал душную атмосферу, туман, заплясал, разрежаясь, разры-

ваясь на тонкие волокна, превращаясь в прозрачный дым, но как бы продолжая жить.

Кармелит достал из-под рясы кропило и плеснул внутрь помещения, повторяя слова заклятия. Прошло, должно быть, несколько минут; только его бормотание нарушало тишину.

Лишь одна спираль продолжала теперь конвульсивно свиваться и развиваться, отступив в дальний угол. Мерной, твердой поступью монах двинулся туда. Но на мгновение он будто поколебался.

— Господь не хочет смерти грешника... — прошептали его уста. — Но сказано: отойди от меня, сатана...

Движением Распятия, он рассеял туманную спираль. Потом, повернувшись к рабочим, он дал им знак рукой, и в мгновение ока они кинулись сдирать штукатурку со стен, так что в две-три минуты комната была засыпана известкой, и белая пыль от нее наполнила все от пола до потолка.

Я видел еще, как отец Франсуа благословил ведерко с краской, стоявшее у двери...

Потом монах и консьержка обернулись ко мне и ласково потянули меня за собою в ее ложу, где напоили крепким сидром и заботливо удостоверились, что я невредим.

— Срок аренды сегодня кончился, — без конца повторяла консьержка. — А я, отец Франсуа, давно ему сказала, что больше не допущу этого дела у нас в доме. Хочет колдовством заниматься, пусть идет в другое место. Я прямо спать не могла, кусок в горло не лез, как подумаю, что там творится наверху... Ну теперь конец, слава Богу...

***

Фиден умер в этот самый день. Совпадение? Не знаю. Скажу правду, к этой истории мне не хочется возвращаться.

ЛИЦО НА СТЕНЕ

Спать. Уснуть. Как страшно одиноким.
Я не в силах. Отхожу во сны.

Борис Поплавский

— Мне не нравится эта история, Мишель. Не нравится.

— Нет причин преувеличивать, Шарль. Не давай чересчур воли твоему кельтскому воображению. Будем лучше придерживаться фактов.

— И факты хороши. Что-то сатанинское обрушилось на Париж за последний месяц. Я проследил семь случаев потери рассудка при аналогичных обстоятельствах. Тех, для кого это еще не было поздно, я устроил в клинику Морэна, чтобы за ними наблюдать. Но, так или иначе, четверо умерли в первые же два дня; одного врачи признают неизлечимо помешанным. Только двое, мужчина и девушка, подают некоторую надежду.

И пятнадцать мертвых! Все найдены у себя на квартирах, кто в отеле, кто в чердачной комнатушке, один даже в роскошных аппартаментах... но все там оставались в момент несчастья наедине. Необъяснимые смерти! Острое истощение, потеря всех сил и разрыв сердца. «Остановка сердечной деятельности», как выражаются врачи на своем профессиональном жаргоне. Несколько человек были еще живы, когда их обнаружили. И вот тут-то начинается самое загадочное. «Лицо»... — пробормотали двое из них. Какое? Чье? Где? Один сказал, что-то про стену. Тупость наших полицейских: разве они сумеют толком записать, что им говорят! Другой упомянул о «старике». Тоже туман, неясность.

Черные глаза Мишеля Элимберри с непроницаемым спокойствием следят за Ле Генном, который, сжав кулаки, бегает взад и вперед по кабинету, произнося несвязную волну бретонских ругательств; среди них, вслушавшись, можно различить слова mab gast и milliget.*

***

— Мне очень, очень приятно видеть, господин Радулеску, что вам лучше. Профессор Морэн говорит, что хочет вас задержать только на несколько дней, в виде меры предосторожности, но что он, в сущности, уверен, что вы уже вполне оправились.

— Позвольте вас поблагодарить, господин инспектор, за вашу доброту и внимание. И вы, и профессор Морэн, выказали мне столько заботы и ласки, что я всегда сохраню к вам теплое чувство и буду смотреть на вас, как на настоящих друзей.

— Ну что там! Не стоит об этом говорить. Но мне хотелось спросить вас теперь, когда ваше здоровье восстановилось, чем вы сами объясняете этот внезапный приступ нервного расстройства, жертвой которого вы стали?

— Есть ли в нем, в конце концов, что-нибудь удивительное? Если вы задумаетесь над жизнью любого из нас, послевоенных эмигрантов из Восточной Европы, то, право, скорее можно удивляться, как это большинство ухитряется сохранить рассудок! Постоянная нужда, тоска по родине, возмущение всем тем, что сейчас творится у нас, по ту сторону Железного Занавеса, и, главное, одиночество... о, какое полное, какое безотрадное одиночество в чужом для нас мире... Вы ведь не обидитесь на меня? Поверьте, я, как мы все, всегда любил Францию, чувствовал ее культуру, как свою... но здесь... решительно, нам нет места в жизни Запада... Кажется порой — я уверен, это ощущение столь многим знакомо из нашего брата, не только румынам, но и полякам, венграм... да что там! и русским тоже... — кажется порой, что сам Бог нас оставил, предал нас в

* Сын блудницы... проклятый.

жертву миру, где царит дьявол... Есть от чего сойти с ума!

— Вы католик, мсье Радулеску? Я вижу, во всяком случае, что вы верующий...

— Православный. Да, конечно, я верю в душе. Хотя я так давно уже не был в церкви... и так сильно порой поддаешься сомнениям...

Мирон Радулеску, стройный, среднего роста мужчина лет тридцати с правильными чертами смуглого лица, окаймленного каштановыми волосами и небольшой, окладистой бородой, поднимает на Ле Генна темнокарие глаза, в которых тоска на мгновение побеждает обычную сдержанность.

— Я вас попрошу об одной вещи, — продолжает тот. — Не сочтите меня неделикатным: это важно; и профессор Морэн меня заверил, что вы теперь вне опасности... Расскажите мне все, что вы помните об этом вечере, последнем перед заболеванием...

Конвульсивная дрожь проходит по всему телу румына.

— Раз вам это нужно, господин инспектор. Вы знаете, дело было под Новый год. Всегда становится на сердце особенно грустно как раз в эти дни: все кругом веселятся... Засветло еще ничего... но вечером, когда я вернулся в свою мансарду, где царил прямо ледяной холод, совершенное отчаяние меня охватило. Печь затопить мне было нечем, на ужин ничего не было... О, я знал, что все это не так страшно; через день или два я должен был достать немного денег, и дальше, как всегда бывает, жизнь вновь пошла бы на лад... Но тут все мне стало противно. Последнее время я для картин выбирал — как-то само собою — жуткие сюжеты: чудовища, спруты, призраки... и, верно, именно от того у меня нервы развинтились. Я бросился на кровать с мыслью, что хорошо бы сразу умереть и покончить со всем, уткнул голову в подушку в смутной надежде заснуть. И тут вдруг я испытал... но это так трудно рассказать... Присутствие чего-то в комнате; но ведь именно этого, казалось бы, мне и хотелось! Однако нет: я нуждался в живом существе, в теплоте. А это было нечто неживое и по-ледяному холодное. Я оторвал голову от наволочки, посмотрел кругом... В

темноте на стене напротив обрисовалось в каком-то мертвенном голубом свете лицо...

Ле Генн с подлинным состраданием смотрел на то, как у его собеседника капельки пота, которого тот не замечал, медленно катились по лбу — вот-вот они попадут в глаза... Прервать, тем не менее, он не решался, только сжал нервно пальцы обеих рук у себя на коленях.

— Это было лицо старика, с огромной белой бородой, с голым черепом, с густыми пучками седых бровей... но все, все это мне рисуется, как сон (или это и был сон?). Что я запомнил навсегда, это глаза, как угли, как буравы... горящие, как, говорят, глаза волков ночью в степи... Вслед за этим... меня, я знаю, нашли наутро без сознания. Но в полубессознательность я, очевидно, впал сразу. Все остальное — как бред. Нестерпимая, неописуемая мука: будто из меня вырывали жизнь, все мои силы, мою личность, субстанцию моего я. Все члены, все нервы, сердце, мозг разрывались в непереносимой агонии... Больше я ничего не могу прибавить...

— Мне тяжело налагать на вас такое испытание, мсье Радулеску, но... вы художник, и талантливый. Могли бы вы изобразить на полотне то, что вы видели?

В выразительных южных глазах румына вдруг вспыхивает понимание.

— Зачем? Вы... верите, что он существует?

— Затем, чтобы он больше не существовал. Чтобы этот кошмар не посещал других. Существует... в какой мере он существует, это происходит за счет тех, из кого он пьет жизненные силы. Одно я должен вам сказать; перед тем, как браться за это предприятие, необходимо, чтобы вы исповедались и причастились по обрядам вашей церкви, и пока вы не кончите, старайтесь ни в чем не преступать ее закона.

Художник задумчиво склонил голову.

— Спасибо за хороший совет, инспектор. Я и сам думал сходить в наш храм на Жан де Бовэ. Следует поблагодарить Бога за мое спасение. А для вас и для торжества справедливости я выполню ваше поручение как могу лучше.

***

— Итак, мадемуазель Пикар, прежде чем вы окончательно оставите эту клинику, угодно вам будет рассказать мне, что с вами, собственно, случилось? Но откровенно, как священнику на духу! Гм... Я вижу, что вам это мало говорит. Как на сеансе психоанализа!

Николь Пикар была рослая, довольно полная, хорошенькая двадцатилетняя девушка с великолепными белокурыми волосами.

— Вы были одна в вашей комнате? В Сите Университер, в ту ночь. И что произошло?

Студентка стрельнула на Ле Генна быстрым голубым взглядом. «А глаза у девочки умные!» — подумал тот.

— Я вернулась очень поздно, с бала, и в страшно подавленном настроении. Дело в том, что Жак, мой поклонник, студент-математик, мне изменял уже давно, и на этот раз я увидела, что между нами наступил полный разрыв. Может быть, в других обстоятельствах я не придала бы этому большого значения. Но тут както все сложилось одно к одному... Я целый год провела очень весело, танцевала, развлекалась в обществе и теперь, наверное, просто почувствовала реакцию, и жизнь мне показалась бессмысленной и ненужной.

— А ваши занятия в Школе Политических Наук? Вы их, должно быть, запустили?

— Вовсе нет. Я от природы имею неплохие способности. Гулянье своим чередом, но я именно этот год довольно глубоко занималась философией, много читала, спорила о ней, принимала участие в кружках.

— Экзистенциализм? — спросил Ле Генн.

Снова голубые глаза метнули ему быстрый взгляд.

— Да. Сначала я даже увлеклась марксизмом, но скоро разочаровалась. И в конце концов мне стало казаться, что у жизни определенно нет цели...

— Я вас понимаю. Итак?

— Мне было так тяжело в тот вечер... Я не находила себе места и всерьез думала о самоубийстве; мысль открыть газ все прочнее входила мне в голову. И тогда,

ходя из угла в угол, я вдруг увидела на стене горящие глаза... то есть, мне почудилось...

— Только глаза?

— О, это все, что мне врезалось в память. Была, кажется, еще седая борода... Но как все это было противно! Потом... потом я, очевидно, потеряла сознание, и пришла в себя, когда профессор Морэн делал мне впрыскивание.

— Все хорошо, что хорошо кончается, мадемуазель. Ну, а теперь, вы больше не собираетесь покончить с собой?

— Ни за что на свете! Ах, до чего мне сейчас хочется жить! Подумать, что меня могло бы больше не быть... что весь мир исчез бы в черной дыре... Жизнь, любовь, все мелкие и большие радости, как я жадно их сейчас желаю!

На этот раз в ее взгляде сквозит кокетство. «А он недурен, этот инспектор!» — можно прочитать в их задорной бирюзе.

— Рад за вас, мадемуазель. Но скажу вам вот что: одними пустыми развлечениями вы не сумеете утолить жажду вашего сердца. И потому я вам советую лучше перечитать философов идеалистической школы.

— Как странно, — бормочет Николь, — я сама об этом думала. Прежде я их считала пройденным этапом, чем-то безнадежно устаревшим... но, может быть, в них и в самом деле что-то есть?

И, когда она прощается с Ле Генном, жадный вопрос горит в ее душе. Она хочет скорее проверить новую мысль!

***

— Бррр... Может статься, все это вздор, Шарль, — пока ты меня ни в чем не убедил. Но какая богомерзкая харя! Мне почти стало нехорошо, когда я поглядел. Что ты держишь его в шкафу под замком — это я хвалю. Хотя эти кресты на дверцах, святая вода и прочее... Это уж, извини, суеверия, как у старой бабы. Конечно,

ничего не говорю: «у вас в Бретани», как ты любишь повторять, все оно вполне натурально. Ну, а в сердце Парижа, да еще в здании Сюрте, все-таки получается смешно. Ну да, ладно, ладно... Как ты все-таки собираешься его искать? Вот что скажи. Ведь данных у тебя, я вижу, прямо говоря, никаких. Даже допуская, что в Париже — а может быть, на Гималаях? — обитает благообразный дедушка с точь-в-точь такой физиономией, как ты будешь его ловить? С предместьями в нашем городе насчитывается шесть миллионов жителей. В полицейской картотеке его фотографии нет... значит, у тебя в руках нет ровно ничего.

— Ты полагаешь? А что ты скажешь вот об этой карте?

— Дай поглядеть. Что изображают все эти линии и точки?

— Неужели ты не видишь сам? Ни одного случая за Сеной; все на левом берегу. Одиночные заболевания в Ванве и в Монруже; максимум смертности в районе Люксембурга и Монпарнаса.

— Ты думаешь, его местопребывание — где-то в этих окрестностях?

— Уверен. Даю голову на отсечение — недалеко от вокзала Монпарнас.

— Это не так уж много. Может, он вообще не выходит из дому. А главное, хотя бы ты его встретил на бульваре, ты ничего ему не можешь сделать, ни в чем обвинить. Он неуязвим.

— Ну, положим. Ты так убежден, что, порывшись в его биографии, мы не найдем каких-либо закононарушений?

— Разве что мотивы для штрафа, вряд ли для высылки (если это иностранец, на твою удачу). Это тебя удовлетворит?

— Нет. Но у меня есть свой план. Только я хотел бы знать, могу ли я на тебя рассчитывать?

— Что за вопрос, Шарль! Ты меня обижаешь...

С внезапно просиявшими лицами двое мужчин крепко пожимают друг другу руки.

— Борьба может оказаться опасной, тяжелой...

— Еще не хватало, чтобы ты меня попробовал запугать! Бретонская башка! Да ты знаешь, что выделывали мои предки, китоловы из Байонны, когда о твоих еще никто и не слыхал? Мы до Америки добирались за пару веков до Колумба...

***

Это было одно из самых странных и, пожалуй, жутких поручений, какие мне случалось исполнять для Ле Генна. Но с первых же слов, хотя он словно сам колебался мне его доверить, я за него так и уцепился. Мне было скучно, а оно сулило интересное приключение.

На первый взгляд мои функции были несложны. Ле Генн сам приискал и снял для меня на эту ночь комнатушку в отеле вблизи от метро Данфер-Рошеро. В небольшом номере на третьем этаже мебели только и было, что шкаф, постель да пара стульев. К десяти часам вечера Ле Генн появился на пороге, бледный и осунувшийся, держа в руке скромный чемоданчик. Оттуда он извлек и установил на столе большое зеркало старинной работы.

— Желаю удачи, Владимир. Обнимемся на прощанье. Ты... я думаю, мы можем перейти на ты? Давно пора было... отчасти даже в худшем положении, чем я или Элимберри. Я могу действовать прямо из дому — близко. Мишель имеет базу в полицейском участке, в отдельной комнате, понятно. Керестели, правда, тоже расположился в отеле; но он — старый специалист. Да уж теперь поздно менять что-либо. Соблюдай точно инструкции, вот и все.

Между полуночью и часом... Задолго до того, как снопы искр полетели из зеркала, повернутого к стене, я знал, что что-то происходит. Нервное томление в таких делах лучший признак. На этот раз оно было невероятно тяжелым; никогда такого не переживал. Борьба шла внутри меня, хотя я знал, что я защищен зеркалом, что

вся сила нападения направлена на его поверхность. И когда меня вдруг охватило победное ликование, мне стало понятным, что игра выиграна.

Я не вытерпел, и, обогнув стол, взглянул в холодное стекло. Оно отразило круглую комнату, освещенную большой медной лампой и завешанную коврами и драпировками по всем стенам. Но обстановку я так до конца толком и не разглядел.

Все мое внимание было поглощено страшным зрелищем, так и врезавшимся в память. Высокий старик с развевающейся белой бородой метался по комнате, то простирая руки вверх, то закрывая ими лицо, то словно отводя незримые удары. И с каждым его поворотом ослепительная волна света поражала его то с одной, то с другой стороны, всегда с той, куда обращались его дикие глаза. Он не мог остановить убийственную энергию, источавшуюся из него. Обезумев от боли и ужаса, потеряв контроль над злой силой, господином которой он был, он посылал в пространство волны, служившие ему нормально для поглощения чужих жизней, для питания его собственного чудовищного организма. Но они возвращались, направленные на него самого, усиленные и все усиливающиеся в силу действия четырех зеркал, захватывавших его излучения. Высокое тело в длинном темном халате все мучительнее корчилось, точно пронизываемое электрическими токами высокого напряжения. Пока оно не вспыхнуло нестерпимо ярким белым пламенем, обжегшим мои глаза...

Когда я снова обрел способность глядеть, зеркало потемнело. Я был разбит усталостью и, свалившись на кровать, мгновенно заснул...

***

Ле Генн назвал мне имя злого мага — то, которое он носил перед французскими властями. По бумагам ему было 80 лет; он оказался русским, бывшим санов-

ником. Впрочем, с его истинной сущностью все это не имело ничего общего...

В хорошей квартире на авеню дю Мэн консьержка нашла на полу только большую кучу пепла; однако ни деревянная мебель, ни занавески не пострадали; в лампе на столе, когда она проникла в комнату, еще догорало последнее масло.

Бумаги были конфискованы полицией и перешли для изучения в отдел Ле Генна, в архив; о содержании он подробно никому не рассказывал, ссылаясь на то, что это — служебный секрет.

— Le règlement c'est le règlement.*

---

* Порядок есть порядок.

НАВАЖДЕНИЕ

Им помогает черный камень,
Нам — золотой нательный крест...
Н.Гумилев

В это утро инспектор Ле Генн пришел на службу позже обычного, и едва он успел водвориться в своем бюро, как в дверях показалась голова дежурного.

— Вас уже давно ждет дама, господин инспектор.

— Дама? — улыбнулся Ле Генн. — Молодая? Хорошенькая?

— Очень! — восхищенным тоном отозвался полицейский.

— Тогда пригласите ее сейчас же.

Ле Генн не без любопытства поглядывал на вход, перекладывая для виду перед собой какие-то бумаги. Через минуту на пороге остановилась высокая смуглая девушка с курчавыми волосами и полными красными губами, застенчиво вертя в руках кожаную сумочку. С широкой улыбкой инспектор вскочил из-за стола и крепко пожал посетительнице руку.

— Мисс Арабелла! Я ужасно рад вас видеть. Каким чудом вы вспомнили обо мне? Садитесь, ради Бога. Расскажите, как поживаете, как идут ваши занятия?

— Благодарю вас, неплохо. Я окончила курс и готовлюсь защищать диссертацию. Да вот, у меня кажется еще есть приглашения.

Порывшись в сумочке, девушка вытащила оттуда небольшой печатный листок и протянула Ле Генну.

Тот прочел краткое оповещение, что 25 сентября в Сорбонне состоится защита диссертации Арабеллой

Дюпюи на тему «Влияние французской культуры на юге Соединенных Штатов, начиная с 17-го века по наши дни».

Тщательно сложив приглашение, инспектор спрятал его в бумажник.

— Я непременно приду, — сказал он. — Сюжет, действительно, очень интересный. Меня глубоко трогает, мадемуазель, что вы подумали обо мне; будьте уверены, что я не упущу случая вас послушать.

Арабелла смущенно опустила глаза.

— По правде говоря, у меня есть к вам другое дело, инспектор.

— Вот как! — с подчеркнутым разочарованием протянул Ле Генн. — А я-то вообразил себе, что вы просто так вспомнили о моем существовании. Ну, все равно, расскажите, что вас тревожит, и будьте уверены, что я для вас сделаю все, что могу... и немного больше.

Хорошенькое личико мулатки (или она была квартеронкой? — Ле Генн, никогда не живший в Америке, не мог решить этого вопроса) еще больше залилось румянцем. Видно было, что она растерялась, и не знает, как лучше начать.

— Видите ли, у меня есть один поклонник...

— Один? — усмехнулся Ле Генн той задорной мальчишеской улыбкой, которая редко озаряла его лицо и которая придавала ему внезапно неотразимую обаятельность. — Я уверен, что их у вас не меньше дюжины!

Арабелла Дюпюи попыталась удержать ответную улыбку, но это ей не удалось, и через мгновение она звонко рассмеялась.

— Может быть, но только один вызывает затруднения.

Она видела, что инспектор теперь весь превратился в слух и следит за ее словами с профессиональным вниманием; с другой стороны, все ее смущение растаяло как дым перед этим молодым человеком, который, она чувствовала, относится к ней с искренней симпатией.

— Ведь вы не будете смеяться надо мной? — все же спросила она на всякий случай, не без кокетства.

— Мадемуазель, — убежденным тоном отозвался Ле Генн, — такая девушка, как вы, с вашим умом и вашей силой воли, может вызвать у любого мужчины чувство восхищения и уважения... и даже чувства еще более нежные; но мне трудно представить себе, что вы в каких-либо обстоятельствах могли показаться смешной. Однако чем же интересен ваш воздыхатель? Что он из себя представляет?

— Во-первых, надо вам сказать, что он чернокожий; и не такой, как я, а в самом деле совсем черный. О нет, не подумайте, что это дикарь; он культурный человек, как мы с вами. Уже около года, как он ухаживает за мною; и он мне сказал, что я должна ему принадлежать, и что он этого добьется любою ценою. Не сочтите меня суеверной, инспектор, но я видела случаи, у нас в Луизиане, когда мужчины прибегали к колдовству... все это, может быть, объясняется вполне естественными причинами; но результаты бывают страшные...

Серые глаза Ле Генна не выразили ни удивления, ни иронии; он понимающе и деловито кивнул.

— Вы бы желали, чтобы я за ним наблюдал и принял бы меры, если бы заметил что-либо подозрительное? Чудесно! Вы мне дадите его имя и адрес?

Тонкая смуглая рука протянулась через стол; из красного рукава манто выглянула золотистая кисть, и на ладони цвета кофе, куда влили много молока, появился маленький кусочек белого картона.

Девушка на секунду поколебалась.

— Заметьте, что я ни в чем его не обвиняю и не хотела бы причинять ему неприятности. Просто, я боюсь... и, может быть, совершенно напрасно.

— Положитесь на меня, мадемуазель; я буду действовать осторожно и деликатно.

Взор Ле Генна быстро скользнул по визитной карточке:

Docteur Estanislao Sandoval
13 Boulevard de l'Hôpital,
Paris 13-e*

* Доктор Эстанислао Сандоваль 13, Бульвар де Л'Опиталь. Париж, 13-а.

Он спросил неожиданно:

— А каков возраст вашего кавалера?

Арабелла с удивлением вскинула на него глаза.

— Ему самое большое тридцать пять, и даже, я думаю, меньше... А что?

— Не подумайте, что я не хочу оказать вам услугу, мадемуазель Арабелла, — сказал инспектор дружески, — но мне пришло в голову одно сомнение... Может быть, это вполне приличный господин? Поскольку он не слишком стар, достаточно образован, в общем принадлежит к нашему кругу... Что до угроз, какие он позволил себе сделать, — инспектор словно отстранил что-то коротким жестом руки, — когда человек влюблен, нельзя его судить слишком строго. И в данном случае его вполне можно извинить, если он потерял голову.

Арабелла была умная девушка и поняла недосказанный комплимент.

— Убеждены ли вы, что он вам совсем не нравится и никогда не будет нравиться? — докончил инспектор.

Длинные ресницы бросили тень на бронзовые щеки, и смутная улыбка прошла по губам.

— Я в этом уверена, сударь, потому что мне нравится другой...

***

— Доктор, — пробормотал инспектор, когда дверь закрылась за посетительницей, — любопытно, какой специальности? Пойти к нему на прием? Однако, пожалуй, лучше, чтобы он не знал меня в лицо, по крайней мере, для начала. Попросить Элимберри? Неудобно, это не официальное дело. Рудинского? Нет, я боюсь за Владимира; это предприятие рискованное. Гезу Керестели? Он, я полагаю, справится...

Но Ле Генн встретил поклонника Арабеллы скорее, чем думал.

***

— Послушай, Олег, ну почему ты не хочешь рассказать мне откровенно, что с тобою делается? Ведь мы с тобой друзья, и в конце концов, я старше тебя почти на десять лет; как знать, может быть, я сумею тебе что-либо посоветовать. И потом, я тебя уверяю, тебе будет легче, если ты поделишься с кем-нибудь своими заботами. Я же вижу, что ты уже несколько месяцев сам не свой. Ты влюблен? В кого?

В своей маленькой комнатушке, в одном из студенческих отелей старого Латинского Квартала, Олег Мансуров сидел на кровати, опустив локти на колени и погрузив пальцы в густые черные волосы. Я устроился на единственном стуле около шаткого столика и уже с полчаса старался уговорить его объяснить мне, что его мучает. Его сопротивление меня не очень удивляло; я знал по себе, насколько тяжело бывает открыть свое сердце, особенно мужчине перед мужчиной; каждое слово приходится вырывать из себя словно клещами; но знал и то, как сильно это помогáет, когда один раз решишься нарушить молчание.

— Или это замужняя женщина? — кинул я наводящий вопрос.

Мансуров отрицательно помотал головой.

— Русская?

— Нет.

— Француженка?

Не отвечая, студент встал — он был еще выше меня ростом, и мне показалось, что он сейчас ударится о потолок — и взглянул на часы.

— Вот что: пойдем со мной в Сорбонну. Там сегодня защита одной диссертации; она там будет, и я ее тебе покажу.

***

Маленький зал был переполнен, и мы с Мансуровым оказались в разных рядах стульев. Осматриваясь вокруг, я, к своему удивлению, заметил вдалеке инспек-

тора Ле Генна, который с приветливой улыбкой помахал мне рукой.

Протолкаться к нему было невозможно; я отложил это на будущее и принялся пока разглядывать публику. Признаться, мне хотелось угадать самому, кто из присутствующих девушек является симпатией Олега, прежде, чем он мне ее покажет. А здесь собралось порядочно студенток разного типа; одни с развязными и веселыми манерами жанра Сен-Жермен-де-Пре, другие скромные и простые, в стиле барышень из хорошей семьи, третьи деловые и строгие, явно интересующиеся лишь академическими вопросами. Но я напрасно надеялся заметить, на кого мой приятель будет смотреть в зале; я так и не пришел ни к какому выводу и не дождался никакого знака с его стороны до тех пор, как на кафедру вышла молодая, и, как мне показалось, хорошенькая мулатка и начала свою лекцию.

Сперва я слушал рассеянно, но через несколько минут содержание ее доклада меня захватило, и я с жадным вниманием стал ловить ее красивый низкий голос с чуть-чуть необычным для Парижа произношением. Даже и Мансуров, видимо, увлекся рассказом, и слушал, не отрывая глаз от кафедры.

Эпопея Жака Картье... буканьеры, пираты и работорговцы... своеобразные аристократические нравы плантаторов Сен-Луи и Нового Орлеана... и особенно, удивительный мир негров и мулатов французской части южных штатов Америки... все это так живо вставало из плавной речи диссертантки, что я буквально вздрогнул, когда она, довольно неожиданно, кончила говорить и с поклоном опустилась на стул, подле председательствовавшего профессора. Прения закончились на этот раз очень быстро, в атмосфере всеобщего одобрения диссертантки, широко улыбавшейся направо и налево. Я подумал еще раз подойти к Ле Генну, но он казался целиком поглощенным беседой сперва с почтенным пожилым господином, а потом с высоким, элегантным, могучего телосложения негром, и я решил ему не мешать.

Мансуров, которого я было потерял из виду в шуме отодвигаемых стульев и оживленного обмена мнениями, материализовался неожиданно рядом со мной, и мы дружно стали протискиваться к выходу.

— Однако, Олег, — сказал я ему с разочарованием и даже некоторой обидой, — ты так и не показал мне свою возлюбленную. Или она не пришла?

Студент повернулся ко мне; его щеки горели, и черные глаза были полны возбужденного блеска. «Неужели он так сильно переживает всякую защиту диссертации? Экое, подумаешь, событие!» — мелькнуло у меня в голове.

— Как, ты не понял? — произнес он, казалось, с искренним удивлением. — Но ведь это она читала доклад!

***

— Мой дорогой Ле Генн, какая приятная неожиданность! Вы последнее время не частый гость в Сорбонне, хотя и бывший ее ученик. Да, конечно, ваша профессия оставляет вам мало времени... Но сегодня ведь было интересно, правда?

— Очень интересно.

Ле Генн был бы не прочь поздравить героиню вечера, но ему было неловко слишком быстро отойти от профессора Морэна, старого и любимого приятеля. А тот, коренастый, плотный, розовощекий, говорил без умолку.

— Я еще потому чрезвычайно доволен вас видеть, что смогу вас познакомить с одним другом, который меня давно об этом просил. Молодой доктор из Венецуэлы с большими способностями... о, от него можно многого ждать... Да вот и он. Позвольте вам представить моего коллегу и товарища, дорогой инспектор: доктор Эстанислао Сандоваль.

Стремительно обернувшись при этом имени, Ле Генн оказался лицом к лицу с высоким негром, склонившимся в любезном поклоне. Это был типичный африканец, черный, как эбеновое дерево, с курчавыми

как шерсть волосами и толстыми губами, но не лишенный своеобразной красоты, как не мог не подумать мгновенно инспектор. Красоты силы и мужественности. Новый модный пиджак словно бы грозил порваться на широких могучих плечах, самое легкое движение которых дышало мощью; белая рубашка не скрывала объемистую грудную клетку, и когда он выпрямился, то оказался на полголовы выше Ле Генна. Маленькие черные усы оттеняли ослепительную улыбку, открывавшую большие ровные зубы.

— Мне так приятно наконец иметь честь с вами встретиться, господин Ле Генн, — сказал он на безукоризненном французском языке, и в его голосе прозвучал убедительный, теплый оттенок искренности.

— Мне тоже, конечно... Вы обо мне слышали прежде? — в тоне бретонца проскользнуло любопытство.

— Много, и самого лучшего. Но, должен признаться, мой интерес к вам родился с того момента, когда мне случилось прочесть в «Вестнике судебной медицины» две ваших статьи. Одна, помнится, называлась «Шизофрения как тропическая болезнь», а вторая «Случаи применения aquae toffanae в девятнадцатом веке».

Лицо Ле Генна слегка зарумянилось. Мало кто из его знакомых знал за ним ту слабость, что он больше гордился своими статьями, затерянными в различных специальных журналах, чем успехами в полицейских следствиях и погоне за преступниками, и что их недостаточная известность его в глубине души задевала. Нельзя было сделать ему более приятного и убедительного комплимента!

— Вы понимаете, сударь, — продолжал между тем Сандоваль почти извиняющимся тоном, — ваши работы не могли меня не увлечь, поскольку я как раз занимаюсь изысканиями в двух довольно далеких областях: психиатрии и токсикологии. И вы именно о них высказали некоторые новые и крайне оригинальные соображения. Если бы мы могли при случае поболтать обо всем этом...? Профессор, я вижу, про нас совсем забыл.

Негр лукаво скосился в том направлении, где Морэн галантно целовал ручки какой-то дамы в светском туалете, и видимо рассыпался перед ней в любезностях.

— Не будем ему мешать! — усмехнулся Ле Генн, поддаваясь одному из своих приступов беспричинного веселья. Вопреки всему, этот черный доктор ему решительно нравился.

— Поскольку собрание закончено, инспектор, может быть, мы бы пошли куда-нибудь в кафе?

Просторная, ярко освещенная рю дез Эколь, по которой двое мужчин спускались к бульвару Сен-Мишель, представляла богатый выбор пивных и кабаков всякого рода.

— «Ла Шопп Паризьен?» Нет, инспектор, выберем что нибудь немного шикарнее! Да вот, пойдемте сюда, в кафе «Дюпон».

***

— Да, это сказочная страна, наша Венецуэла. Ослепительно белые города ее прибрежий... сотни и сотни километров воды и зелени... Ее леса, ее топи, разливы ее рек... Переплетенные лианами пальмы, царство ягуаров, тапиров, обезьян и муравьев... и люди! Нигде так не перемешались все расы, белая, красная и черная, в прихотливом узоре. Слышали ли вы о неграх бони, бежавших когда-то из рабства в девственный лес и живущих там, отбросив европейскую культуру, к которой было прикоснулись? Я жил среди них. Я познакомился с секретами их колдунов, так же, как и с чарами индейцев-караибов. А фольклор! Какой клад для человека, который бы им занялся! И все это сплетено кастильским языком и испанской традицией, с ее гордостью и вежливостью, с ее суровой красотой... Нет, я не мог бы жить без Южной Америки. Этот край, жестокий и прекрасный, владеет моим сердцем. Я вернусь туда... уже вернулся бы, если бы меня не удерживало в Париже... одно дело...

Черты лица Сандоваля вдруг приняли на мгновение суровое и мрачное выражение, словно потемнели; он отдал себе в этом отчет, и постарался разогнать впечатление, переменив тему.

— Вы немного знаете ведь испанский, инспектор? Когда я думаю о родине, мне приходят на память стихи Мануэля Флореса:

Allá en la soledad, entre las flores,
Nos amamos sin fin a cielo abierto
Y tienen nuestros férvidos amores
La inmensidad soberbia del desierto
Y tiene el bosque voluptuosas sombras
Profundos y selvosos laberintos,
Y grutas perfumadas, con alfombra
De eneldos y tapices de jacintos
Y palmas de soberbios abanicos
Mecidas por los vientos sonorosos
Aves salvajes de carrosos picos
Y lejanos torrentes caudalosos... *

Теперь лицо чернокожего, подернутое дымкой мечты, изменилось по-другому, став словно благороднее и утонченнее, освещенное отблеском мистицизма, как будто он созерцал утраченный рай. Именно тогда, слегка понизив голос, он задал вопрос, заставивший Ле Генна подскочить на месте, хотя он подсознательно ждал его уже давно:

— Арабелла просила у вас защиты против меня?

Прошла минута напряженной, неловкой паузы.

— Ну, доктор Сандоваль... — пробормотал затем бретонец. — Вы, без сомнения, сами понимаете, что недопустимо принуждать женщину против ее воли, насильно...

---

* Там, в одиночестве, среди цветов,
Мы предаемся без меры любви под открытым небом.
И наша пламенная любовь подобна
Гордой безграничности пустыни.
Лес полон отрадными тенями,
Глубокими и густыми лабиринтами,
Насыщенными ароматом гротами
С ковром из камышей и гиацинтов,
Пальмами с роскошными веерами,
Движимыми шумящим ветром,
Дикими птицами, с долгими клювами
И, в отдалении, бурно текущими потоками...

— Что такое вообще любовь, если не подчинение себе чужой воли? Разве всякое обладание не есть насилие?

— Но колдовство! Это уже, во всяком случае...

— Разве любовь всегда не колдовство? Разве мы все, и женщины, и мужчины, не стараемся очаровать, пленить, завоевать любым путем? Где начало волшебства? Взгляд, улыбка... желание в нашей мысли, высказанной или нет, в молитве или заклинании, что мы бормочем... вы сами, инспектор, когда вы ухаживали за той, которая теперь подруга вашей жизни... не было ли в ваших путях магии — о, самой невинной! — но все же?

Ле Генн чувствовал себя сбитым с толку. Слова негра были как будто банальны и не новы; но что-то в его логике парализовало все его возражения. Поэтому он и переменил способ спора.

— Допустим, что приемы внушения и гипноза могут действовать в среде дикарей африканских или южноамериканских дебрей. Но я не сомневаюсь, что такая девушка, как мадемуазель Дюпюи, с ее образованием и воспитанием, с ее твердостью характера, никогда не поддастся чему-либо подобному.

В черных зрачках, превратившихся в темные точки среди белков, блеснувших в свете лампы, выразилось любопытство и вежливое сомнение, словно их обладатель вел интересную дискуссию на отвлеченную научную тему.

— Вы думаете, в самом деле? Но тут многое спорно. С одной стороны, Арабелла принадлежит все же по крови к моей расе — черная кровь всегда сильнее белой. И ее детство знало негритянские песни на старой плантации под Новым Орлеаном... Нет, она не могла порвать целиком со своей средой. С другой же стороны... Знаете ли, настоящие дикари часто умеют бороться с колдовством, именно потому, что оно для них реальная сила. Но те, кто подпал целиком под влияние европейской цивилизации, недостаточно верят в него, чтобы с ним бороться... да и приемов не знают... Не верит их рассудок, внешний, верхний слой; а подсознание хранит память об опыте прежних

поколений в своей глубине. И оно — прекрасная почва для чародейства.

В лице Ле Генна, вероятно, отразился испуг, так как Сандоваль остановился и рассмеялся.

— Я говорю вам все это откровенно, потому что ведь, в конце концов, вы не можете возбудить против меня процесса за занятие чернокнижием? В наше-то время, инспектор! Что бы сказала пресса! К примеру, «Юманите»! Какой запрос в Палате Депутатов... Но, — и он снова перешел к серьезности, и даже короткий спазм прошел по его лицу, — я не уступлю ее другому! Белый, пусть он ищет среди белых... Она одной крови со мной.

Ле Генн повел плечами.

— Для чего вы впутываете сюда расовый вопрос? Я уверен, мадемуазель Дюпюи не придает ему никакого значения, как не придавал бы я... Здесь просто борьба двух мужчин за женщину, вот и все...

— И в этой борьбе все средства допустимы! — отрезал негр, кладя конец разговору.

***

Я чувствовал, что на этот раз Олега не придется убеждать быть откровенным. Он сам горел желанием излить душу и с нетерпением стремился начать свой рассказ.

— Зайдем, выпьем кофе? К Дюпону? Нет, давай в «Шопп Паризьенн», тут будет подешевле.

Вокруг волнами плавал туман от папирос, чужих и наших. Нервным движением Мансуров никак не мог потушить окурок в пепельнице, и я с сочувственным непониманием смотрел на его бледнеющее лицо и судорожно сжимающиеся пальцы.

— Но в чем, собственно, дело, если ты ей тоже нравишься? Что у вас стоит поперек дороги? — недоуменно спросил я.

— Если бы я мог объяснить тебе! Если бы я мог объяснить это себе самому! Мне кажется порой, что я схожу с ума.

— Что еще за вздор!

— Слушай, я постараюсь все рассказать по порядку. Ах, чего бы я не дал за совет, за выход из положения! Я встретил Арабеллу на одном кружке в Сорбонне, пять месяцев назад. Мы разговорились, ну и ... Я ее проводил домой, и она меня пригласила заходить в гости; так мило и просто, по-товарищески! Первые встречи были сплошным удовольствием. Но потом...

Он остановился и проглотил сдавливающий горло ком.

— Однажды вечером я шел в ее отель. Она живет совсем недалеко от меня, около Одеона. Вдруг я почувствовал себя плохо. Что-то отвратительное: тошнота, слабость, головокружение... словом, я повернул обратно... и, придя к себе в комнату, сразу поправился снова. Ладно, мало ли чего бывает. Но то же самое произошло раза три подряд. В последний раз я решил справиться с собой и лучше прийти больным, чем не прийти вовсе. Очень удачно: едва я вошел в ее дом, все как рукой сняло. Но в следующий раз, и вообще потом...

По его лицу прошло страдание.

— Попробуй себе вообразить... Я ее люблю, бесполезно сомневаться. Но когда я около нее, когда я хочу взять ее руку или подойти к ней ближе, меня вдруг охватывает беспричинное отвращение... меня вдруг отталкивает от нее точно какая-то чужая, непонятная сила... Отчего? Откуда это может идти?

Я недоуменно покачал головой.

— Может быть, — рискнул я через минуту, — как американка, она слишком по-другому смотрит на вещи, чем мы? Например, на Россию? Может быть, что-нибудь в ее манерах тебя шокировало, и ты, не отдавая себе в этом отчета...

— Нет, ничего подобного на деле нет. Ты видел Арабеллу: она такая воспитанная, такая деликатная, как немногие девушки в Европе. И наоборот, представь себе, она с большой симпатией относится к русским, не признает большевиков и много меня расспрашивала о России... нет, объяснение не в этом.

— Тогда, — вымолвил я не без колебания, — не мог ли бы это быть расовый инстинкт? Я сам никогда не был в таком положении, но, может быть, то, что она наполовину негритянка...

Кулак Олега ударил по столу с такой силой, что другие посетители кафе с неодобрением повернулись в нашу сторону.

— Как ты можешь только говорить такие вещи! За кого ты меня принимаешь? Ведь мы с тобой русские в конце концов; а когда у русских были подобные предрассудки? Клянусь честью, мне абсолютно наплевать на ее происхождение; и если бы и был в том какой грех, чем же она виновата, что родилась с такой кровью, а не с другой?

— Нет, что за ерунда! — сказал он через минуту, успокаиваясь. — Однако вообрази себе эту муку: я все время дрожу, что она заметит мое странное поведение, — я уже ловил не раз удивление в ее глазах, — и не могу сам преодолеть своего чувства. И если бы это еще было все. — Он провел рукой по лбу. — Три дня тому назад, идя к Арабелле, я вдруг увидел на крыше дома, на улице, через которую переходил... тигра, готовившегося прыгнуть на меня... Что я могу сделать? Смешно, десять раз смешно... Но он был настолько же реален, как вот эти пьяницы вокруг нас, как эта вывеска кино напротив... Вижу как сейчас: он лежал на небольшой пристройке к дому, на черепичной кровле, старой, нуждающейся в починке... лежал, пригнув уши, напружинив лапы... еще миг, и он сбил бы меня с ног страшным ударом своего корпуса... Я невольно отступил назад, запнулся о панель, и свалился так, что не без труда добрался обратно до дому. И кроме того, меня все время преследует дикий, фантастический, но нестерпимо пугающий сон... Ночь за ночью я слышу яростный рокот там-тамов, вижу первобытные спутанные лианами джунгли, вижу головы змей, клыки львов, исполинские фигуры слонов, раскачивающих огромные бивни; и на этом фоне толпу негров, размахивающих копьями,

направленными мне прямо в сердце. Их множество, им нет числа, но у всех них одно лицо... Лицо, которое я никогда не видел наяву, и которое мигом бы узнал... и оно смотрит, с угрозой, ненавистью, с издевательской насмешкой... Причем, во сне я знаю без слов, чего они от меня хотят: чтобы я оставил Арабеллу, отказался от нее. Но будь они прокляты! Я не откажусь никогда в жизни, сколько ее осталось...

Словно истощенный вспышкой, он замолчал, закрыл рукой лицо.

— Ты не пробовал обратиться к доктору? — спросил я, чувствуя все большее беспокойство за своего приятеля.

— Был, — апатично отозвался Олег. — Говорит: переутомление — меньше заниматься, больше спать, делать гимнастику. Но я, наоборот, и так уже запустил занятия, хотя скоро выпускной экзамен... Прописал бром и еще что-то...

Вдруг в глазах Мансурова мелькнул ужас. Я невольно схватил его за руку.

— Что с тобой?

Он отвел взгляд от входа.

— Мне почудилось, что по улице прошел тот самый негр... С каким-то высоким блондином... Нет, честное слово, плохи мои дела. Как бы ты поступил на моем месте?

Я стесненно и сконфуженно сделал неопределенный жест рукой.

— Знаешь, я одно могу тебе посоветовать. Действуй сообразно народной поговорке: кажется, так перекрестись.

К моему изумлению, собеседник посмотрел на меня так, будто я высказал Бог весть какое откровение. Ободренный этим, я продолжал уже увереннее:

— Да, попробуй всегда в этих случаях читать про себя, а то и вслух, короткую молитву. И на ночь тоже... Ты, наверное, не молишься? Сделай опыт не засыпать, не сказав «Отче наш»; я уверен, что ты от этого испытаешь облегчение.

Помимо всякой мистики, — прибавил я про себя, — это на него наверняка повлияет, как самовнушение. И, похоже, уже повлияло — куда быстрее, чем я ждал.

В самом деле, когда Мансуров прощался со мной, в его глазах читалось нетерпение испытать новое средство, на которое он, очевидно, возлагал много надежд.

***

И оно подействовало удивительно удачно!

Через три дня, часов в одиннадцать вечера, когда я читал малайский роман, уже раздевшись и в постели, дверь с бурным стуком отворилась, и ко мне ввалился Олег Мансуров в состоянии радостной экзальтации.

Я не сразу мог понять, что с ним произошло. Постепенно мне удалось, однако, принудить его говорить связно.

— Во-первых, я окончательно убил свой кошмар! В ту же ночь, как мы разговаривали, я перед тем как лечь произнес все молитвы, какие мог припомнить; по крайней мере, полчаса только этим и занимался. И что вышло? Несколько раз сон пытался вернуться. Я слышал где-то далеко-далеко бой там-тамов и рев человеческих голосов... и перед моими глазами начинала рисоваться обычная картина — но бледная, ненастоящая, ну — как бывает фильм, если его смотреть при дневном свете! И она сразу свертывалась и исчезала... Наутро я поехал к одной даме, подруге моей матери (мама в провинции, да я и не хотел бы ее беспокоить), и та мне подарила икону Николая Чудотворца. Была даже растрогана и умилена моим желанием... И на этот раз я спал совершенно спокойно, как убитый. А сегодня я набрался смелости и отправился в гости к Арабелле. Мне начало было делаться плохо, но я уже привык справляться с этим усилием воли. Да что: главное ждало меня впереди. В отеле у Арабеллы к ней надо подниматься по узкой темной лестнице. И там, на середине пути, я увидел скользившего ко мне крокодила. Он полз сверху вниз, с неуклюжими, но гибкими движениями хвоста, цепляясь лапами за деревянные ступеньки; бледный свет лампы в потолке играл на его серой чешуе. Животное, казалось, только что вылезло из воды: мутные капли

отмечали его след по лестнице. Пасть раскрывалась, показывая мне огромные зубы — я никогда их не видал на настолько близком расстоянии. Тогда я перекрестил его со словами: «Отойди от меня, Сатана!» И, когда я сделал шаг вперед, передо мной не было больше ничего: только пятна сырости на ступеньках смутно отмечали контуры тела огромной ящерицы. К Арабелле я вошел ликуя, как победитель. И после того, как я увидел радостный взгляд, которым она меня встретила, вся просияв, — кажется, она сказала что-то вроде: «Ах, вы все таки пришли!» — ничто на свете не могло бы мне помешать схватить ее в объятия и сказать, что я ее люблю и не могу больше жить без нее.

— Нет, Володя, знаешь что: вставай, и пойдем куда-нибудь: надо выпить по такому случаю!

Видя, что сопротивление бесполезно, я поднялся и начал одеваться.

— Право, мы могли бы с выпивкой обождать до свадьбы! — проворчал я все же для порядка.

— А на свадьбе само собой! — хлопнул меня по плечу Олег так сильно, что я пошатнулся. — Благо она не за горами! Сразу после моих экзаменов. И знай заранее: ты должен быть моим шафером! Никаких отговорок!

***

— Владимир Андреевич, вас просят к телефону!

Я оторвал утомленные глаза от корректурных гранок. Бледный свет встающей зари проникал из окна. Телефон в этот час?

Едва я взял трубку, в моем ухе раздался звонкий и отчетливый голос Ле Генна, звучавший с легким возбуждением:

— Меня вызывают в одно место, где произошло что-то необычное. Хотите поехать со мной, Владимир? Я по дороге вам объясню.

Я быстро взвесил обстановку.

— Хорошо, я сейчас освобожусь. Буду вас ждать.

— Через пять-десять минут. Пока!

Я прошел в типографию и окликнул метранпажа.

— Вы можете проглядеть чистый лист, Игнатий Васильевич? Мне сейчас придется уйти. Да, пожалуйста. До обеда я во всяком случае еще зайду.

Свежий воздух приятно опьянял после ночи, проведенной в кабинете редакции. Впрочем, почти тотчас меня окликнули с улицы, и, выйдя из ниши ворот, где я стоял, я вскочил в автомобиль, дверцу которого инспектор Ле Генн распахнул передо мною.

— Теперь Бульвар де Л'Опиталь, 13. Как можно быстрее! — крикнул он шоферу. Машина помчалась.

— Что случилось? — справился я с любопытством.

— Что-то стряслось с Сандовалем. Ты знаешь, кавалером Арабеллы Дюпюи. Да, его консьержка позвонила в полицию, что у него в комнате слышен какой-то странный шум, и дверь не открывают. А оттуда сразу дали знать мне, так как он был под моим наблюдением. Посмотрим, что с ним такое.

Дверь на втором этаже с дощечкой «Docteur Estanislao Sandoval» не сразу поддалась под ударами. Мы прошли через переднюю и замерли на пороге кабинета.

Опрокинутая урна лежала на полу, и из ее медного горлышка еще подымался к потолку голубоватый дымок со сладким запахом. Тяжелый треножник, с которого она свалилась, стоял в центре комнаты, упрямо упершись на свои толстые, широко расставленные ножки. Но то, что оледенило нас, лежало рядом с ним: полуобнаженное тело с великолепным торсом атлета, над которым мерно покачивалась голова огромной змеи, обвивавшей его грудь. На губах доктора виднелась запекшаяся кровь, и его руки, казалось, еще продолжали ловить в воздухе скользкие кольца громадного гада, глядевшего сейчас на нас своими холодными, безжизненными глазами. Не надо было смотреть вблизи, чтобы убедиться, что удав раздавил своей жертве ребра и, вероятно, переломил спинной хребет.

Не знаю, что стал бы делать Ле Генн. Но один из его подчиненных, вошедших в комнату, не выдержал. Он выстрелил через мое плечо, и пуля раздробила голову чудовищной твари в десяти шагах от меня...

***

— Прямо иллюстрация к одному из основных оккультных законов, — говорил через полчаса Ле Генн за столиком кабачка, где мы с ним выпили по две чашки крепчайшего кофе, чтобы немножко поставить на ноги расшатанные нервы, — если волна злого колдовства, раз пущенная в ход, не может поразить врага, она неизбежно возвращается назад, и падает на голову пославшего ее... Волшебник всегда сразу и хозяин, и раб сил, вызванных им к жизни. Это недаром отмечают народные сказки всех стран... Жаль Сандоваля, — продолжал он через минуту изменившимся голосом, — он, в сущности, был славный парень и человек с большими способностями. Но женщины губили и еще лучших мужчин, чем он!

***

«...Гигантский боа-констриктор, привезенный год назад французской экспедицией с верховьев Амазонки, и находившийся в зоологическом саду при Жарден де Плант, ускользнул от надзора сторожей (не выяснено, по чьей небрежности, его клетка не была заперта), проник по крышам в квартиру дома номер 13 на Бульвар де Л'Опиталь, занимаемую доктором Эстанислао Сандовалем, венецуэльским подданным, молодым талантливым врачом, работы которого в области психиатрии и изучения ядов заслужили высокую оценку специалистов. Атаковав при неизвестных обстоятельствах доктора Сандоваля, пресмыкающееся причинило ему тяжелые повреждения, повлекшие за собою смерть. Обеспокоенная консьержка вызвала полицию, взломавшую двери и убившую змею. К сожалению, все попытки

вернуть к жизни доктора Сандоваля были напрасны. Его кончина вызвала глубокое огорчение в кругу ученых, его коллег и друзей, и является тяжелой утратой для его родной страны.»

— Видите, как это выглядит для широкой публики! — невесело ухмыльнулся Ле Генн, показав мне эту заметку в «Фигаро».

— И то сказать: как бы она проглотила правду, если бы ей ее рассказали!

ЕГИПЕТСКИЕ ЧАРЫ

Cine — a deschis piramida si'nlăuntru a intrat?
Michai Eminescu. «Egipetul» *

По своей природе я чужд снобизму и склонен всех попадающихся мне людей расценивать только с точки зрения того, насколько они интересны или симпатичны. Было, однако, одно исключение. Но если я в самом деле гордился знакомством с профессором Алферовым — я имею в виду Григория Александровича Алферова — то это потому, что ведь он являлся специалистом, известным не только во Франции, но и во всем мире, каждому, кто имеет какое-либо отношение к египтологии.

В отличие от большинства русской интеллигенции, профессор Алферов был человеком с твердыми монархическими убеждениями, хотя при том и с величайшей терпимостью к чужим мнениям. При нашей первой встрече — помню, это было в гостях у Павла Игнатьевича Скубова, где собралось тот раз много народу, — он, видимо, не без удовольствия слушал, как я горячо спорил с каким-то левым собеседником, и, когда пришла пора расходиться, пригласил меня непременно как-нибудь зайти к нему домой.

С тех пор я бывал у него нередко, и он относился ко мне всегда с лестным вниманием и симпатией. Один раз я получил от него специальное приглашение и, явившись, застал его квартиру полною многочисленным обществом, в большинстве мне знакомым. Гости — почти все они, видимо, опередили меня всего на

* Кто открыл дверь пирамиды и внутрь вошел? Михай Эминеску.

несколько минут, — ставили себе, должно быть, тот же самый вопрос, что и я, переглядываясь между собою и с любопытством осматривая богато накрытый стол, уставленный бутылками и закусками.

— Что это за пиршество, профессор? — не вытерпела наконец одна из дам. — Мы попали на ваши именины?

— Не именины и не день рождения, милая Наталья Николаевна, — отозвался Алферов, поднимая бокал с вином и опускаясь на свое почетное место. — Но я хочу заодно отпраздновать одно радостное для меня событие и распрощаться с друзьями самое меньшее на несколько месяцев. Я получил официальное назначение участвовать во французской экспедиции в Египет под руководством профессора д'Арневилля. Отъезд состоится не раньше, как через две недели, но я буду все это время, наверное, страшно занят приготовлениями и не смогу уже ни с кем повидаться...

— Поздравляю, дорогой Григорий Александрович! Желаем вам сделать самое что ни на есть сенсационное открытие! — все потянулись чокаться с сиявшим широкой улыбкой ученым.

— Рада за вас, конечно, — говорила Наталья Николаевна, его соседка за обедом, — хотя и удивляюсь, что вы находите более привлекательным общество старых мумий, чем наше!

— Это настолько неверно, что я был бы счастлив вас похитить и увезти с собой в пустыню; но что бы сказал ваш супруг? — отшучивался профессор.

Веселый разговор продолжался под звон бокалов, стук ножей и вилок, среди смеха и острот...

***

Я собирался уже распрощаться с Павлом Игнатьевичем, у которого довольно долго засиделся в этот вечер, когда он удивил меня словами:

— А вы еще не видели профессора Алферова?

— Как? — поразился я. — Разве Григорий Александрович уже вернулся в Париж? Я и не подозревал...

Странно, что он мне не сообщил: раньше бывало он всегда писал в таких случаях.

— Он никого не приглашает и никуда не ходит... Кажется, сильно нездоров, — оправдывающимся тоном поспешил сказать Скубов. — Я сам только случайно узнал об его приезде. Но вы могли бы к нему заглянуть: он вас так любит. Потом расскажете, что с ним такое.

Я не преминул последовать совету Павла Игнатьевича и на следующее утро звонил у большой двери нижнего этажа на Кэ Малакэ. Помню, как раз дожди сменились полосой жары. Квадратный внутренний дворик дремал под беспощадным солнцем июля.

Через несколько минут внутри раздались неуверенные шаги, и сам Алферов показался на пороге.

«Боже мой, как он переменился!» — невольно подумал я. Его лицо было покрыто загаром, но бледность пробивалась через коричневую краску, след солнца песков. Алферов никогда не был полным, но сейчас страшно исхудал. Все это было бы, однако, пустяки, если бы не выражение угрюмой и стоической обреченности, разлитое во всей его фигуре, и не явная слабость; его руки дрожали, и он, казалось, еле держался на ногах.

— Что это с вами, Григорий Александрович? Подцепили малярию? — с сочувствием осведомился я. — Разрешите, я вам помогу, — я подхватил его под руку. — Как жаль, что я вас побеспокоил! Но, может быть, я могу чем-нибудь быть полезен?

Профессор, похоже, был рад посетителю. Он ввел меня в салон, бросился в кресло. Мы разговорились; но мне стоило большого труда убедить его рассказать историю, которая следует ниже. Не буду приводить здесь моих уговоров и его отнекиваний, занявших, довольно долгое время.

***

— Вы знаете историю с гробницей Тутанхамона. Мы все старались о ней не вспоминать; но боюсь, она

подсознательно занимала слишком много места в мыслях у каждого из нас. Однако неудачи, начавшиеся почти сразу, как мы достигли оазиса Вади Аль Маут, не зависели от нас. Мы делали все, что было в человеческих силах, для успеха...

Что-то было неладно с водой в оазисе; все наши феллахи свалились с дизентерией и работали как сонные мухи. Из нас троих, европейцев, самым молодым был корсиканец Контини, любимый ученик Арневилля, и он проявлял невероятную энергию, носясь там и тут, крича, распоряжаясь, сам впрягаясь в физический труд, когда казалось нужным.

Да, тяжелого было много. Но мы про все забыли, и все прямо опьянели от восторга, когда в конце прорытой нами траншеи показалась, обнаженная от песка дверь, ведшая вглубь пирамиды. Еще несколько минут, и мы проникнем в тайну... Однако передовой араб вдруг отложил кирку и к нашему негодованию стал вылезать из ямы наверх.

На все упреки он только пробормотал с перекошенным лицом несколько слов о чарах и о беде, которая постигнет первого, кто нарушит печать пирамиды, о проклятии фараона...

Импульсивный и нетерпеливый Контини без долгих слов сам спрыгнул на его место и взмахом заступа сбил печать, красовавшуюся на двери.

В то же мгновение соскользнувшая сверху с быстротой хищного зверя массивная каменная плита обрушилась ему на голову... Мы глазом моргнуть не успели, а перед нами уже содрогалось в мучительных судорогах тело только что полного жизни молодого, здорового человека, нашего товарища по работе, нашего друга, от которого мы так много ждали... Мы с д'Арневиллем бросились ему на помощь, арабы присоединились к нам... но, когда мы сняли камень, труп уже перестал трепетать... череп был совершенно раздроблен...

Не удивительно, что мы отложили продолжение исследования на завтра. И в эту самую ночь д'Арневилль,

недомогавший уже несколько дней, свалился в жестоком приступе лихорадки. Я ухаживал за ним. Под утро нам обоим стало ясно, что он умирает. Мне хотелось плакать: человек, который так много сделал для науки, незаменимый... и потерять жизнь на пороге новых, может быть, грандиозных открытий!

Его сознание оставалось ясным.

— Алферов, — сказал он мне, — вы останетесь здесь один, чтобы поддержать репутацию Франции и чтобы двинуть вперед наше общее дело... не покидайте вашего поста, что бы не случилось! Я полагаюсь на вас: прощайте.

Он умер как человек науки, просто и мужественно.

На утро, не проспавшись, прямо от его смертного ложа, я согнал рабочих ко входу в пирамиду, своей рукой отвалил плиту. Длинный бесконечный темный проход открылся нам... Я светил перед собой электрическим фонариком, арабы несли факелы. Нам встретилось еще несколько дверей, но они легко поддавались.

В большой зале, куда мы в конце концов проникли, я нагнулся над грандиозным саркофагом — сокровищем для ученого! — для профана тоже, так как в нем хранилось бессчетное золото украшений на тысячелетней иссохшей мумии. Какая-то сила вдруг заставила меня поднять глаза... и тогда я увидел его...

Я вздрогнул всем телом. В первый момент мне показалось, что это — живой человек. Нет, на самом деле это была только статуя в натуральную величину; в одежде древнеегипетского воина, с занесенным мечом в руке, острие которого было направлено прямо на меня.

Надпись на подножии, которую я без труда прочел, гласила, что это — сторож гроба фараона, который неизбежно и неумолимо отомстит всякому осквернителю. И его лицо, подстать словам, носило маску беспощадной жестокости... Ах, это лицо...

Алферов прикрыл глаза и точно бредил, тогда как крупные капли пота густо покрыли его лоб.

— Экспедиция и привезенные ею находки вызвали фурор в научных кругах, — с усилием и вяло докончил

он, — я бы мог получить награду, славу... если бы я жил...

— Но что с вами, Григорий Александрович? Почему же вам не жить? Вы же еще совсем не стары, и энергии у вас хватило бы на десятерых! И сейчас, когда вы добились такого успеха, время ли впадать в уныние! — восклицал я с удивлением.

Профессор поднял опущенные веки и уставил на меня полубезумный взгляд.

— Каждую ночь, с того дня, как я вошел в гробницу фараона, я вижу во сне хранителя его покоя... И он с каждой ночью все ближе придвигается ко мне: страшно медленно... да, медленно, медленно и потому страшно... Теперь остается разве что пять шагов... а потом он всадит свой меч мне в сердце; и это будет смерть, я чувствую, я знаю.

Я приложил все усилия, чтобы успокоить ученого; но я понимал, что этого мало и что надо искать другие средства.

***

Керестели выслушал меня внимательно и с сочувствием, но вид у него был озабоченный.

— Все, что касается египетского колдовства, — область очень трудная. Все в ней загадочно, покрыто мраком; наши обычные приемы действуют слабо и неверно. И сила, сила у них была очень большая, — сказал венгр словно про себя.

— Лучшее, что еще можно сделать, — продолжал он, подумав, — это найти какую-нибудь христианскую реликвию, из рук мученика или настоящего аскета... и потом ваш друг должен ее всегда носить при себе. Я бы даже мог вам дать... у меня хранятся привезенные мне с родины четки кардинала Миндсенти; но вот... в таких делах важно, чтобы святыня подходила к вероисповеданию; а ваш профессор ведь не католик. Подумайте сами...

Я горячо поблагодарил Керестели; я уже знал, куда теперь обращусь.

***

Странно подумать, что меньше чем в сотне километров от Парижа существует такая глушь! Горы, крутые обрывы... бесконечно глубокая долина открывалась теперь из окна вагона; серебристая полоска речки и зеленоватые болота лишь изредка бывали видны на миг среди изумрудных лесов.

Святониколаевскую Пустынь, маленький русский монастырь, приютившийся на одном из этих холмов, я не имел шанса разглядеть из поезда, и лишь признал купу высоких деревьев, за которыми располагалось знакомое мне двухэтажное белое здание, служившее приютом десятку старых монахов.

Через полчаса отец Досифей принимал меня со своим обычным добрым и искренним гостеприимством и, суетясь, угощая, рассказывал свои новости и спрашивал о моих.

Однако, когда я выразил ему свое желание видеть схимника Доримедонта, его вид сразу стал серьезным, и он бросил мне почти испуганный взгляд из под густых белых бровей.

— Уж это не знаю, — произнес он нерешительно, гладя седую бороду, — не очень-то он любит, чтобы его беспокоили. Сердит бывает; может и прогнать... Да вам по какому делу?

— Очень важное дело, батюшка. Можно сказать, о спасении человеческой жизни речь идет. Видите, нарочно из Парижа за тем приехал.

— Ну, коли так, ничего не сделаешь. Попробуем; рискну ему доложить.

Час спустя мы карабкались уже по глухой узенькой тропинке, извилинами подымавшейся по крутому склону горы. Кругом был сущий рай; благоухание цветов наполняло воздух, многоголосое птичье щебетание стояло в ушах. Высокие кусты закрывали вид с обеих сторон, и только иногда, раздвинув их, можно было посмотреть вниз на казавшиеся лиловыми верхушки

деревьев под откосом. Жара стояла невероятная, и мы оба поминутно утирали пот со лба.

— Далеко еще? — не вытерпев, спросил я наконец.

— Почти что пришли уже, — приглушенным голосом отозвался мой спутник.

И правда, через несколько минут всего мы очутились на просторной пологой поляне, окруженной мелколесьем и кустарником. С одной стороны в глубине ее замыкал почти отвесный обрыв, и в его известняковой поверхности жутко чернело отверстие пещеры...

Мы робко приблизились. Отец Досифей, к некоторому моему удивлению, заметно волновался при мысли потревожить старца. Но ему не пришлось и одного слова вымолвить...

На пороге выросла вдруг странная для взгляда фигура — я видел Доримедонта в первый раз в жизни. Пустынник низко пригибался к земле, так что мне прежде всего бросились в глаза широкие плечи, с которых спадала старая, ветхая, и во многих местах порванная ряса, украшенная, как и его клобук, белым изображением черепа и костей, а уже затем его босые ноги, тонувшие в высокой траве лужайки.

Черные, как смоль, хотя схимник был уже очень стар, нерасчесанные волосы и борода густой волной сбегали вниз, нависая чуть не до земли. Когда же он поднял бледное лицо, я невольно глубоко поклонился, не меньше, чем в пояс; темные горящие глаза мне посмотрели точно бы прямо в душу.

— Знаю, чего ты хочешь, — сказал отшельник, благословляя меня издали, — так и быть; помогу. Но ты скажи Григорию Александровичу, что он и сам должен о Боге помнить; не так уж и молод; поретивее бы ему след молиться и поменьше о мирской суете заботиться. Вот, как пришло испытание, так оно и сказывается. Ну, лет пятнадцать он еще проживет.

Он говорил так, будто продолжал только что прерванную беседу, словно я его предупреждал о посещении и заранее рассказал его цель; и это наполнило меня чувством благоговейного ужаса, от которого я онемел.

— Пусть носит и никогда не снимает! — деловито закончил анахорет, протягивая мне обе руки. В его ладонях, выглядывавших из широких и длинных рукавов, я увидел большой деревянный крест, который я, подойдя ближе, почтительно поцеловал.

Через несколько мгновений, не прибавив ничего больше, старик исчез в пещере. Мои глаза, сквозь стоявший там внутри полумрак, различали только грубо сколоченный стол и на стене какой-то образ, перед которым Доримедонт опустился на колени и замер.

Отец Досифей осторожно потянул меня за рукав, шепотом объясняя, что схимник может в таком положении пребывать целые дни и тогда нельзя ему мешать...

***

Я чувствовал себя почти неловко перед лицом горячих благодарностей Алферова, которые тот, казалось, не знал, как и выразить. Но в то же время я не мог сдержать довольной улыбки и не испытывать внутренней радости при виде перемены, происшедшей с ним за несколько дней.

Теперь он помолодел не меньше как на десять лет, и явно испытывал буйный прилив сил и энергии.

В сотый раз он принимался рассказывать мне все ту же историю.

— Несмотря на все надежды, я заснул в эту ночь с чувством обреченности и бесконечной усталости. Накануне клинок уже почти коснулся моей груди... я был уверен, что до рассвета он вонзится мне в сердце.

Доктор мне недавно сказал, что с сердцем у меня нехорошо и надо быть осторожным. Значит, с точки зрения медицины, это будет разрыв сердца на почве переутомления, — сказал я себе с горечью. Что же, наука всему умеет подыскать естественное объяснение... даже самым противоестественным вещам.

Сразу, как я заснул, или так мне представилось, фигура мстителя возникла передо мной, рядом со мной.

Я видел подле своего лица его неумолимо жестокую маску, и на ней выражение дьявольского злорадства; видел, как он занес меч и опустил его на мою грудь...

Раздался звон...

Закрыл я на мгновение глаза или потерял чувства? Во всяком случае, миг спустя я вновь глядел на это лицо, на котором теперь читалось безграничное удивление и яростное разочарование.

Страж гробницы отступил назад, и я увидел, как он с изумлением глядит на обломок оружия у себя в руке, как затем он подобрал что-то с полу...

Дальше я ничего не помню. На утро я проснулся полный бодрости, с волчьим аппетитом, с иррациональной, несказуемой радостью в душе. Все происшедшее после возврата из экспедиции казалось мне сном, диким кошмаром; зато значение моего открытия, достигнутый мною успех, перспективы впереди — все это так и пело во мне.

Да, теперь я могу отдохнуть и собраться с силами, а потом впереди еще столько интересной, замечательной работы! Ведь надо классифицировать все находки, а затем я собираюсь написать научный труд... о, это будет самая важная, самая значительная из всех моих работ. Я в нем изложу мою новую теорию относительно... Но нет, не стоит рассказывать вам заранее. Вы прочтете, когда книга будет издана.

Вообразите себе, что скажет тогда профессор Блюменгартен!

Григорий Александрович весело потирал руки, думая о посрамлении для своего главного соперника в области египтологии.

Мне представлялось, что с темой о только что отведенной от него угрозе покончено совсем. Но он к ней неожиданно вернулся еще раз.

— Можно бы было предположить, что все, что случилось со мной за последнее время, были только галлюцинации, результат нервной депрессии после чрезмерного напряжения и волнений. Но я скажу вам

одну вещь, которая разрушает подобную гипотезу... Вчера я был в музее, где хранится привезенная мной из Египта статуя стража могилы фараона, и хранитель мне со смущением рассказал, что непонятным образом в течение ночи, несколько дней тому назад, поломался меч, который изваяние держало в руке. На утро его нашли разбитым надвое; половина клинка лежала на полу у подножия статуи.

ТАМПЛИЕРЫ

You, mister Marchant, who have penetrated into such wonderful arcana of forbidden...
D.K. Broster. «Couching at the door»* *

Среди русских эмигрантов в Париже женщины заметно интереснее мужчин. Грядущие исследователи, может быть, напишут трактаты о патологии беженской жизни, о тех изменениях, какие постигают психологию людей, оторванных от родины и брошенных в чуждую им среду иностранцев, глубоко отличных от русских характером и воспитанием, да еще, кроме того, в большинстве случаев в среду, им социально неподходящую, с которой у них нет почти ничего общего. Результатом часто является или деклассирование, когда прежний дворянин и офицер способен вести разговор только о клиентах своего такси, о поломках и штрафах, являющихся повседневными терниями его ремесла, или надлом и бессильная озлобленность людей, чьи мысли только и могут с разных точек зрения пережевывать прошлое и слать яростные нелепые анафемы иностранцам, масонам, большевикам и всяким «темным силам», о подлинных особенностях коих у них существует лишь весьма туманное представление.

В области политической работы это ведет к краснобайству, производящему самое тоскливое впечатление на всякого свежего человека. Сойдясь, чтобы обсудить устройство собрания, выпуск газеты, создание новой организации, пять или шесть общественных деятелей с убийственным однообразием, один за другим, начав с

* Вы, мистер Мерчент, вы, который проник в такие изумительные таинства запретного... Д.К. Бюстер. «Лежащее у двери».

деловых предложений или критики, сбиваются затем на воспоминаниях по схеме: «У нас в Галлиполи»... «Когда я командовал полком на австрийском фронте»... или «В кадетском корпусе, где я учился»... Удачно, если у хозяина квартиры есть жена и если она не слишком благоговеет перед своим благоверным: тогда она почти непременно перебьет эту болтовню: «Господа, ведь вы хотели говорить о деле; а так мы за весь вечер ничего не решим».

Принадлежит ли заслуга вечно женственному или особым чертам русской женщины, но парижские дамы, хотя на их плечи тяготы изгнаннической жизни падают с особой остротой, гораздо чаще, чем их супруги, способны поддержать беседу о литературе и искусстве, о жизни и любви вообще, словом, о вещах, о которых испокон веков полагается дискутировать в салонах; и они в этом глубоко правы, так как если бы вместо этого обсуждать поднятие цен, трудность найти работу и тому подобное, было бы в десять раз тяжелее.

Софья Димитриевна была одна из дам, с кем мне особенно приятно было время от времени поболтать, благодаря ее широкой общей культуре, отсутствию какой бы то ни было узости и фанатизма. Ей не пришло бы в голову, например, как некоторым другим, распределять русских писателей в первую очередь по их политическим взглядам, и на основании этого, скажем, ненавидеть Некрасова или Рылеева за то, что они были левыми, и восхищаться Тютчевым или Хомяковым за то, что они были правыми.

Однажды вечером мы сбились на оценку русских поэтов так называемого «серебряного века».

— Мне кажется, — сказала моя собеседница, — что есть вопрос, о котором хотя и очень много писали, но никогда — достаточно исчерпывающе; а он стоил бы специального глубокого анализа. Этот вопрос — прикасание всех тогдашних поэтов к сфере запрещенного и нормально недоступного человеческому разуму. Кажется, почти ни одного не назовешь, кто бы не пред-

принимал экскурсий в сверхчувствительное и сверхъестественное и чьи сочинения не носили бы отпечатка оккультных опытов. И легко заметить, что тут речь идет не об интуитивном проникновении гения в потустороннее, не о тех чувствах, какие могли Лермонтову и Пушкину подсказать вдохновенное богословие «Ангела» и «Пророка».

— Нет, у Брюсова, Блока, Сологуба ощущается мистическое соприкосновение с иными силами, и это прикосновение они, несомненно, купили опасными поисками, магическими приемами, отчасти описанными в их книгах. Я глубоко уверена, что «Огненный ангел» есть не только роман, но и ключ к постигнутым тайнам, о которых автор не решился сказать прямее. Эти arcana, спрятанные у него в уме, требовали выхода — вот он их и вложил в роман из средневековой жизни... при внимательном чтении ищущий найдет там многое; а кто проследит карьеру Триродова в сологубовской прозе, еще больше. Блок был откровеннее других, и о своем мистическом опыте говорил почти открыто...

— А масса их последователей, с меньшим талантом, но иногда с еще большей смелостью бросавшихся на штурм запечатленных врат в страну мрака? Есть стихи и романы этого времени, при чтении которых мороз пробегает по коже... иные написаны или суконным языком или заумным... но, не знаю, как другим, а мне такие-то всего страшнее читать. И если пороешься в биографиях, то и дело находишь подтверждение своим догадкам: безумие, самоубийство, преступление и извращение, ранняя таинственная смерть... Но они определенно кое-что знали, недоступное обыкновенным людям; и это знание они купили дорогой ценой. Следы же исканий видишь везде: с добросовестностью ученых, с пафосом верующих русские интеллигенты обшарили библиотеки, на всех языках мира читали процессы инквизиции, трактаты средневековых схоластов, отрывки философов античности, отчеты этнографов... обхаживали Россию, ища пережитки ведовства и чаро-

действа... Как бы интересно подвести итоги всей проделанной ими работы!

— Но думаете ли вы, — спросил я, — что все это шло под знаком черной магии? Не говоря уже о том, что ими могло руководить просто желание собрать экзотический материал и поразить им читателя, не исключено, что мы имели здесь дело с белой магией, то есть применением власти над спиритическими силами для добра?

— Из таких-то источников белая магия, как у них? — улыбнулась Софья Димитриевна. — Да и применяя к ним изречение: «По делам их познаете их» — получаешь скорее пессимистический вывод. Один был, пожалуй, среди них, кто знал все до глубины секреты зла, но служил только добру; зато он и был сильнее всех... Белая магия — это религия, сила молитвы, а кто из них тогда, кроме Гумилева, умел и мог молиться? Недаром и вера его была христианская и православная: он знал о «черных богах» и помнил, что бороться с ними надо «нательным крестом», и не искал истины в темном откровении древней Атлантиды, в отблесках ее старой и страшной культуры на соседних великих материках, в обрядах Анахуака и преданиях туарегов.

— Послушать вас, остается порадоваться, что от этого периода у нас ничего не осталось и что он не дал еще худших последствий! — воскликнул я.

— Не могу согласиться ни с тем, ни с другим. Почему ничего не осталось? Разве среди нас не живут люди того же круга, принимавшие интимное участие в тогдашних радениях и черных мессах? Стоит ли думать, что они не хранят и не развивают дальше эзотерические учения, бывшие в ходу в те дни? А что до последствий... разве не произошло самое худшее из возможного? Разве их упражнения не вызвали из хаоса страшные силы, залившие Россию кровью, потрясающие мир и всюду истребляющие все светлое, что есть в людях и нациях?

Я замолчал, не находя возражений. С такой точки зрения я никогда еще не смотрел на вещи, и ее странная логичность меня поразила.

— Заметьте еще другое. В истории есть ряд аналогий. Атлантида, по многим легендам, погибла из-за того, что предалась чудовищным культам крови и блуда, и если мы допустим, как считают многие ученые, что кое-что из ее цивилизации продолжало жить у ацтеков и майя, — ее вероучения должны были иметь поистине пугающий характер. Перед великой французской революцией высшее общество было охвачено эпидемией волхований и профанаций, кое-что о которых для нас сохранили мемуары современников и архивы судов; по всей Европе проходила зловещая мистическая волна тайных обществ; падению Рима предшествовали Гелиогабал, мистерии Митры и проникновение в быт Империи ряда невероятных восточных религий, подробности которых малоизвестны, но то, что до нас дошло, нередко просто тошнотворно.Перед трагическими взрывами грубой силы, кровопролитием, порабощением, возвратом к варварству, мы нередко находим картины растления духа и плоти, широко распространяющегося по обреченным мечу странам; словно грозные титаны стоят за завесой тумана и ждут, чтобы голос смертного назвал их роковое имя... Буря, крушение очищает атмосферу; нация возрождается, находя новый моральный идеал; но где-то всегда продолжают храниться откровения тех, кто разнуздал нечистые силы...

— Вы думаете, сохранились и на этот раз?

— Не сомневаюсь. И в России, и в эмиграции. Там — вам легче судить, а здесь... вы, наверно, и сами уже кое о чем слышали?

Я понял намек Софьи Димитриевны.

***

Почти нет русских парижан, которые бы не слышали краем уха о существовании некоего братства с гностическим учением, о котором никто не знает подробностей. О принадлежности к нему писателей, иерархов, профессоров глухо перешептываются, ничего

не решаясь утверждать. О целях и задачах, о путях к их осуществлению молчат вообще.

В начале моего пребывания в Париже мне случилось говорить с литератором, чье имя сплетни ассоциируют с «братством». Беседа постепенно перешла на религиозные вопросы.

— Вы верите в Бога, Рафаил Богданович? — спросил я случайно.

— Как вам сказать... Я верю в великого архитектора вселенной...

Я схватил его испытующий взгляд. Это был пароль; мне осторожно предлагался вопрос, соприкасался ли я в России с неким обществом, с неким учением... о его существовании там я знал, но никогда в него не входил и был принужден промолчать.

***

Размышляя об всем этом, я не заметил, как добрался до метро Аббесс. Парижане из числа моих читателей вспомнят бесконечный спуск, начинающийся от входа и ведущий к платформе, где проходят поезда. Хотя станция снабжена лифтами, должен признаться, что я никогда не могу, если судьба забрасывает меня в эти места, противостоять искушению подняться или спуститься пешком. Странное очарование живет для меня в бессчетных ступенях винтовой лестницы, в ее медлительных поворотах, в холодном сером камне, тускло озаренных мерцающей в вышине лампочкой. Словно я переношусь в заколдованный замок, в одно из тех подземелий средневековья, о которых мы в молодости жадно читали в исторических романах.

Этот ход, ведущий, можно подумать, куда-то к центру земли, обычно бывает совершенно пуст; порой нарушат его молчание быстрые каблучки легконогой девушки или шумный бег какого-нибудь подростка, не находящего, куда истратить избыток энергии, а затем снова надолго водворяется тишина; и если изредка мне

случается встретить здесь одинокого путника, я гляжу на него с невольной симпатией, угадывая в нем такого же романтического мечтателя, как я.

С таким именно чувством взглянул я на молодого человека, сидевшего на каменной скамейке в нише стены, на площадке, расположенной приблизительно в половине лестницы. Его голова склонялась на грудь, сложенные руки лежали на коленях; он, казалось, заснул или был погружен в глубокую задумчивость. Мой взгляд, скользнув по высокому чистому лбу мыслителя, на который падала темнокаштановая прядь волос, по тонким аристократическим чертам с прямым носом и узкими губами, подметил необычную бледность лица... и за этим последовала мысль, что он сидит как-то очень неподвижно и тихо. Я подошел на шаг ближе, и увидел, что весь левый борт его синего пиджака был покрыт запекшейся кровью, красные капли которой успели застыть на полу у его ног.

Когда я, задыхаясь, после долгих, как мне показалось, поисков, остановил контролера, тот сразу перед моими изумленными глазами превратился в двух, потом в трех, и когда я вернулся обратно, чтобы показать свою страшную находку, меня сопровождала уже целая экскурсия, не менее как из пятерых, неизвестно откуда взявшихся кондукторов и билетеров обоего пола.

Не было и речи о том, чтобы я продолжал свое путешествие. Четверть часа спустя я сидел в ближайшем комиссариате и старался ответить на вопросы, задаваемые мне наперекрест комиссаром и инспектором, подозрения которых, я чувствовал, все росли и росли.

— Так вы утверждаете, что не были знакомы с этим господином Любомирским? Он, однако, русский, как и вы, — говорил комиссар, бросая в пепельницу догоревшую сигару.

— Не только не был знаком, но и не знал его имени. В Париже живет много тысяч русских эмигрантов, — ответил я.

— Вы журналист? — вернулся в атаку чиновник, смотря в мои бумаги. — Для каких газет вы пишете? Для советских?

Я почувствовал, что теряю терпение.

— Для русских антикоммунистических газет эмиграции, крайне правого направления, сударь; не усматриваю, впрочем, чтобы это имело отношение к делу. Если я вам кажусь подозрительным, я бы попросил вас позвонить инспектору Ле Генну в Сюрте — вот номера его служебного и домашнего телефонов. Он, я полагаю, не откажется за меня поручиться.

Переглянувшись со своим помощником, комиссар взял протянутый ему мною листок и пошел в соседнюю комнату разговаривать по телефону. Минут через пять он вернулся с прояснившимся лицом.

— Инспектор Ле Генн сказал, что отвечает за вас как за самого себя; извините мои сомнения, сударь; вы помните, долг службы... Не хочу вас задерживать больше. Но если вам угодно немного подождать, инспектор сказал, что выезжает немедленно и будет здесь через десять минут максимум. Он хотел бы видеть вас и расспросить о подробностях.

Действительно, скоро в комнату быстрыми шагами вошел Ле Генн. Он казался взволнованным, что, при его всегдашней выдержке, было вещью необычной, и стал торопливо расспрашивать комиссара о деталях происшествия.

— On voit d'après ses papiers que la victime s'appelait Georges Lubomirsky, — объяснил тот, заканчивая свой рассказ.

— Prince Georges Lubomirsky, * — задумчиво поправил Ле Генн и, оборачиваясь ко мне, предложил мне место в своем автомобиле, с тем, чтобы мы могли поговорить по дороге.

Едва машина тронулась, Ле Генн возбужденно сказал мне:

---

* — Из его бумаг видно, что пострадавшего звали Жорж Любомирский.
— Князь Юрий Любомирский.

— Самый неприятный случай в моей практике. Молодой человек был у меня на заметке... Не потому, чтобы он был в чем-нибудь виновен, а потому, что я имел основание думать, будто ему грозит опасность. И вот... не уберег... Boed ann ifern!* — когда Ле Генн ругался по бретонски, я уже знал, что его недовольство собой и окружающим миром дошло до предела.

— Ma Doue, ma Doue,** — пробормотал он потом с сокрушением. — Сейчас мы увидим, окончательно ли сегодняшний день для меня несчастный... Я послал моего друга, инспектора Элимберри, в дом убитого; я подозреваю, что весь преступный акт был предпринят с целью завладеть некоторыми документами, находившимися у него на квартире... Но еще есть шанс, что мы поспели вовремя... спасибо вам; если бы вы не сослались в комиссариате на меня, я бы не узнал об этом деле так быстро...

Ле Генн повернул руль, как мне показалось, в нарушение всех правил уличного движения, и машина понеслась стрелой.

В маленьком доме на аньерской набережной, он вбежал по узенькой лестнице во второй этаж так быстро, что я на несколько шагов от него отстал. Я слышал его восклицание еще на пороге открывшейся перед ним двери.

— As-tu réussi, Michel?***

Смуглое лицо приземистого баска, которого я уже знал как одного из ближайших сотрудников Ле Генна, выразило ободряющую улыбку.

— У меня такое впечатление, что все бумаги целы, Шарль. Хотя, если верить хозяйке дома, делались какие-то подозрительные попытки на этот счет... Вот, я думаю, то, что ты ищешь — хотя ты знаешь, я по-русски не понимаю ни слова... но там есть кусочки по-французски...

Элимберри протягивал Ле Генну пачку тонких тетрадок в желтой обложке.

Бретонец вытер влажный лоб.

---

* Исчадье адово!

** Боже мой, Боже мой...

***Удалось, Мишель?

Через его плечо я оглядел маленькую студенческую комнатку, опрятно и заботливо прибранную. Порядок нарушала только рукопись на столе, прерванная на середине страницы и прикрытая наполовину каким-то толстым фолиантом. По стенам на полках стояло множество книг, большинство, как я заметил, посвященных русской и французской истории.

— Значит, не все потеряно, — говорил между тем Ле Генн, — я хочу надеяться, что смерть бедного мальчика по меньшей мере не останется не отомщенной. Мой друг, — обратился он ко мне, — могу я вас попросить прочесть все это и передать мне завтра на словах резюме? Но это спешно и важно... Если бы вы завтра зашли ко мне на службу? В час дня или полвторого? Большое спасибо, я буду рассчитывать на вас.

***

Чем дальше я читал дневник князя Юрия Любомирского, тем более я жалел об этой так рано оборвавшейся жизни. Со страниц его записок его образ вставал чрезвычайно светлым и симпатичным. Видно было, что это был серьезный юноша, сосредоточенно работавший над своим предметом, историей, в Сорбонне, вызывавший большой интерес у своих преподавателей, а в остальном — хороший товарищ, умный, чистый и отзывчивый молодой человек.

Ле Генн не дал мне никаких указаний о том, что мне следовало искать, и мое первое впечатление было то, что в существовании Любомирского не было решительно ничего скрытого, темного или подозрительного. Но позднее мне стало казаться, что я нашел в хаосе записей нужную нить, нашел то, что должно было интересовать Ле Генна.

Вот какие заметки привлекли мое внимание:

« *5 декабря.* Немножко волнуюсь. Мне предложили сделать исторический доклад на кружке Духовного Возрождения; тема по моему выбору. Заранее известно, что

будут присутствовать Владыка Вассиан и профессор Коршунов, может быть, еще и другие тузы. Значит, надо подготовиться хорошо, чтобы было глубоко и научно. А с другой стороны, доклад для молодежи, и поэтому необходимо взять увлекательный сюжет. Все бы ничего, но мне дают только 10 дней; а тут еще этот зачет по испанской истории! Но я надеюсь, что его удастся отложить.

7 декабря. Говорил с профессором Мартиньи; старый педант уперся, чтобы я сдавал зачет немедленно. Ничего не поделаешь, но как же быть с докладом на кружке?

8 декабря. Решил сделать так. Возьму тему о тамплиерах, это ново для многих; а читать буду целиком по книжке Lizerand «Le dossier du proce's des templiers», благо я ее недавно читал. Правду сказать, у меня впечатление, что он делает натяжки в пользу храмовников, а факты говорят о другом; но у меня нету времени сейчас говорить свое, а Лизеран — это авторитет. В будущем, может быть, займусь вопросом подробнее.

15 декабря. Доклад оказался настоящим триумфом. Епископ Вассиан меня благодарил и поздравлял, Соломония Максимовна тоже, и многие еще другие. Профессор Коршунов пригласил меня к себе в гости. Про него говорят нехорошие вещи; но я же не девушка и не такой наивный мальчик, чтобы мне было чего бояться. А человек он умный и интересный.

28 декабря. Был у Коршунова. Он меня ужасно хвалил опять за доклад о тамплиерах; он о них, оказывается, очень высокого мнения и считает, что от них пошло много важных движений, культурных и общественных, и что их влияние было благотворным. Так ли? Мне стало казаться, что их влияние, положим, было сильно, но было насквозь темное. Но я почему-то постеснялся сказать профессору. Он приглашал приходить еще.

10 марта. Много читал по вопросу о тамплиерах. Решительно, Лизеран врет. Даже худшие обвинения, выдвигавшиеся против них, ничем не были преувеличены. Позднейшие находки ведь подтвердили практико-

вавшийся у них культ Бафомета. У них, явно, были и противоестественный разврат, и сатанизм, и всякие изуверства. И, что очень интересно, их орден, мне кажется, не умер, а продолжал подспудно существовать, и совершенно неясно, когда их организация угасла, и угасла ли? Потому что некоторые данные говорят за то, что она и посейчас существует. Говорил с профессором Фонтенаком об этой теме, как о теме для диссертации. Он сперва вроде увлекся, а потом задумался и сказал, что она слишком опасна, вызовет вражду и неприятности, и потому он на нее не согласен. Что за трусость!

15 марта. Был у Коршунова. У меня ощущение, будто я стою на пороге важного открытия. Тут есть тайная и страшная организация с особым эзотерическим учением. Коршунов в ней и хочет меня тоже втянуть. Я делаю вид, будто согласен, потому что хочу распутать все до конца.

19 марта. Я был прав! Нет больше сомнений. И в кружке кое-кто с этой организацией связан — например, Демьянов. И потом: ряд происшествий в кружках 2-3 года назад связаны с этим. Когда пропала Лиза Сергеева, и ее никогда не нашли... когда Маша Рустамова покончила с собой... и, может быть, когда Василий Левенгоф сошел с ума...

22 марта. Боже мой! Я не думал, что это настолько ужасно.Что предпринять? К кому пойти? В полицию? но они так сильны! вдруг я и там попаду на их человека? Не знаю, как быть.

Позже. Я, кажется, нашел выход. Пойду к епископу Вассиану; он связан с кружками и, наверное, сумеет что-нибудь придумать.

23 марта. Говорил с епископом, но впечатление у меня осталось неприятное. Сперва владыка меня на редкость ласково встретил, но когда я стал рассказывать о своих подозрениях, он помрачнел и настойчиво несколько раз переспросил, уверен ли я, что не ошибаюсь, что мне не почудилось, и т.п. В заключение сказал, чтобы я ждал и ничего от себя не делал; он обо всем позаботится. Но у меня что-то не легче на душе.

27 марта. Делается что-то жуткое. Мне кажется, что за мной следят. На днях, когда я шел с рю Лепик, от Нади, я заметил, что за мной какой-то человек идет по пятам, и так до самого метро. А вчера какие-то два подозрительных незнакомца за мной увязались по мосту Леваллуа-Бекон и потом по набережной... я с очень неприятным чувством ускорил шаги и почти вбежал домой. Или мне это чудится? Но тогда я, верно, начинаю с ума сходить... Решительно, надо что-то предпринять, и не откладывая...»

На этих словах обрывался дневник.

Когда в час дня, как было условлено, я прочел эти выдержки по-французски Ле Генну, он ударил кулаком по столу в своем бюро.

— Проклятие! Ни к чему не прицепишься, никаких доказательств... Видно, главные секреты бедный юноша унес с собой в могилу. Если бы только, — продолжал он, словно говоря сам с собой, — я мог проследить, где их гнездо! Но до сих пор ничего не удается. Однако, если Богу будет угодно, Он пошлет мне ключ к тайне... Ему все возможно...

***

— Что с вами, отец Никанор? Вам нездоровится?

Мне было ужасно досадно, что мой духовный отец, которого я после долгих просьб заманил к себе на обед, почти ничего не ел и, казалось, был где-то далеко, таким рассеянным тоном он поддерживал разговор. Священник погладил бороду и улыбнулся своей чарующей детской улыбкой.

— Нет, ничего, — сказал он, словно встряхнувшись, — у меня было вчера одно приключение, которое меня взволновало, и я не могу вполне о нем позабыть.

— Приключение, батюшка? Какое такое, если это не секрет? Вы мне расскажете?

— Что же, можно рассказать. Поздно вечером меня вызвали по телефону и попросили приехать к умирающему

в Монтрейль, подробно указав, как ехать автобусом, а потом дойти пешком. Но я задержался и, не желая опаздывать, нанял такси. Мы приехали в глухое, пустынное место, где при дороге стоит большой дом, на вид полуразваленный и совершенно темный. Я попросил шофера подождать... на стук мне так и не открыли, хотя мне казалось, что я слышу внутри движение, и в одном из окон даже мелькнул на минуту свет. Так и вернулся ни с чем в Париж...

— Что же это означает? — удивился я. — Перепутали, быть может, номер?

— Невозможно. По телефону мне его много раз ясно повторили. Нет, меня это навело на очень нехорошие подозрения... я уже не раз слышал, что тут есть секта сатанистов, которые заманивают священников, чтобы отнять у них Святые Дары и чтобы их подвергнуть всяким издевательствам... Мне тяжело даже подумать, что на свете есть такие люди.

— А какой номер дома, батюшка? — спросил я жадно.

— Что же, и это не секрет. Может быть, мне бы даже следовало предупредить власти, но ведь о чем? Как будто ничего не произошло. Но вы будьте осторожны. Вы ведь уже имели тяжелый опыт...

— Будьте спокойны, отец Никанор.

***

— Я замечаю у вас опасную склонность, мой дорогой Ле Генн, — говорил профессор Морэн, подцепляя на вилку кусок сардинки, — вы ищете в душевных болезнях каких-то загадочных явлений, чуть ли, мне порой кажется, не потусторонних влияний. А между тем вся эта область, я не буду говорить проста и ясна, но все же подчинена единообразным естественным законам, и все в ней объяснимо и постижимо рассудком. Что бы вы сказали, если бы вам так часто приходилось иметь дело со всеми формами безумия, как мне!

Ле Генн слушал с дружеским видом и с тем вежливым вниманием, с каким мы обычно выслушиваем знакомые

и уже ставшие привычными доводы, которые нас решительно ни в чем не убеждают. Лишь последние слова Морэна как будто шевельнули в нем интерес.

— В самом деле, профессор, — сказал он, подливая гостю в рюмку ликер, — у вас бывают такие любопытные случаи! Расскажите мне, что нового за последнее время в вашей практике.

Собравшееся в этот вечер у Ле Генна небольшое общество разбилось на группы, поглощенные каждая своим разговором, и двое мужчин свободно могли продолжать завязавшуюся беседу.

— Вот эпизод в вашем стиле, — улыбнулся психиатр, польщенный просьбой хозяина. — У меня находится сейчас в клинике девятнадцатилетняя девушка из состоятельной семьи, помешавшаяся на занятиях оккультизмом, или точнее сказать, сатанизмом. Вообразите, что она забрала себе в голову, будто 19-го октября должно состояться в Париже явление Люцифера in persona. Причем часть времени она проводит в угнетенном состоянии, плача, что от этого погибнет весь мир и все его обитатели, а другую страстно умоляет меня отпустить ее на этот день на свободу. Самое пикантное во всей истории, это довод, который она приводит: что она является избранной и мистически подготовленной невестой Князя Тьмы, с которой тот должен в этот день соединиться!

К разочарованию врача, Ле Генн не засмеялся. Его быстрые серые глаза были прикованы к календарю на стене: 10 октября:

— Вы давно уже приглашали меня, мой друг, — сказал он после минутного раздумья, — когда-нибудь навестить ваше учреждение. Как вы думаете, если бы завтра? Ну хорошо, тогда послезавтра.

***

— Почему вы делаете вид, что так серьезно со мной разговариваете? — спросила Женевьева. — Ведь вы же знаете, что я сумасшедшая.

Ле Генн не мог не подумать, что белый халат выгодно подчеркивал красоту ее матово смуглого лица, бурной густой шевелюры и огромных глаз, в глубине которых горел неугасимый огонь страдания и отчаяния.

Инспектор улыбнулся располагающей улыбкой.

— Не только я не знаю ничего подобного, мадемуазель, но я определенно знаю совершенно обратное. Вы здесь на короткий срок, — который можно даже заранее точно определить, — из-за легкого функционального расстройства нервной системы; а это совершенно то же самое, как если бы у вас была нарушена работа кишечника или печени. И ваш случай тем более не представляет собой ничего угрожающего, что мы ясно знаем причину и что речь не идет ни о тяжелой наследственности, ни о каком-либо органическом повреждении, а всего-навсего о злоупотреблении наркотиками. С этим, на нынешнем уровне науки, можно покончить в два-три месяца.

— Всякое лечение бесполезно. Как только я смогу, я буду продолжать.

— Вылечить пациента можно и без участия его воли, это чисто терапевтический процесс. Но я решительно не понимаю, мадемуазель, как вы можете желать того, что наносит вам вред и ведет вас к физическим и моральным страданиям, может привести даже к гибели, в здешнем мире и в будущем.

— Есть наслаждения настолько жгучие, настолько бездонные и неслыханные, что ради них не жалко никакой жертвы, — отозвалась девушка, точно в бреду, и странная судорога сладострастия исказила на миг ее черты, — а потом, когда знаешь, что все потеряно, что завтра нет... остается один путь, сгореть скорее в опьянении...

Ле Генн мягко покачал головой.

— Вы еще так молоды, мадемуазель, что вам не известно, что настоящее, единственно ценное человеческое счастье никогда не бывает заключено в бурных наслаждениях. Оно всегда тихо и ясно; никто не может найти счастья в другом, кроме любви к людям, в своем

ли узком кругу семьи и друзей, в более ли широком всех ближних. Тот, кто от него отказывается, никогда не совершит выгодной сделки. Простите меня, что я говорю с вами менторским тоном, как отец или учитель; мои годы не дают мне на это права, но моя профессия отводит мне тяжелый долг судить и наказывать таких же людей, как я. Мне приходится видеть много страдания... понимать его и даже иногда облегчать. Поверьте мне прошу вас, что я вам все это говорю только по искреннему чувству симпатии и желания помочь, и не обижайтесь на меня.

Женевьева молчала, понурив голову и скрыв глаза под стрелами черных ресниц. После минутной паузы бретонец продолжал:

— Мне кажется, говоря о гибели и отчаянии, вы имеете в виду вещи куда более важные, чем привычка к кокаину, от которой, клянусь вам честью, врачи этой клиники могут вас навсегда освободить за пару месяцев. И опять-таки, позвольте вам сказать откровенно мою мысль... Мы, в полиции, люди часто довольно грубые и не на очень высоком культурном уровне. Но даже и мы, если нам случается иметь дело с молодой девушкой, поддавшейся вредному влиянию среды, всегда поймем, что наша обязанность постараться ей помочь, а не толкать ее в бездну... Неужели же вы думаете, что Бог, Который бесконечно мудрее и милостивее любого человека, может сердиться на бедного заблудившегося ребенка? Если вы только к Нему обратитесь с просьбой...

На поднявшемся к нему бледном лице Женевьевы читалась острая боль.

— Не говорите мне о Боге. В моей семье все атеисты, и я никогда не следовала никакой религии, не ходила в церковь... все это мне чуждо...

— Но теперь вы верите в Бога, мадемуазель, — хотя инспектор говорил тихо и мягко, его слова упали тяжело, словно удар молота, — потому что вы верите в Диавола! Пути Господни неисповедимы...

— Даже если бы я захотела... — Женевьева запиналась теперь с робостью маленькой девочки, — ведь все

эти люди... духовенство... они так фанатичны и нетерпимы... И разве я могу рассказать то, что у меня на совести? Нет, никогда!

Ле Генн улыбнулся еще ободрительнее и ласковее, чем раньше.

— Заверяю вас, у вас совсем ложное представление о священниках. И потом, вы вовсе не обязаны немедленно же исповедоваться. Если бы вы мне только разрешили ... я бы пришел другой раз с моим личным другом, отцом Франсуа де Росмадеком из кармелитского ордена. Это милейший человек, сама деликатность и доброта. Мы поговорим вместе, как равные, о всех вопросах, которые вас смущают, в области религии и повседневной жизни. Вы ничего не имели бы против?

Девушка сделала безвольный жест рукой.

— Не сейчас.. Может быть, когда-нибудь позже... Много позже... Но, скажите, — ее лицо вдруг озарилось неожиданной застенчивой улыбкой, — вы еще придете меня повидать? Не знаю почему, вы принесли мне облегчение; не вашими словами, но вашим сочувствием...

Ле Генн поспешно отозвался, предупредительно и сердечно.

— Само собою, если вы мне не запретите, я буду навещать вас не реже раза в неделю, пока вы тут. И, я хотел вам сказать, если этот старый ворчун Морэн вздумает вас чем-нибудь утеснять, то не пугайтесь, а только пожалуйтесь мне. Мы с ним давние приятели, и я знаю способ держать его в руках.

Женевьева не смогла удержаться от тихого мелодического смеха, звук которого продолжал стоять в ушах Ле Генна до самого автобуса, вызывая на его губах счастливую улыбку. У него было впечатление, что он неплохо выполнил свою миссию.

***

Холодный как снег косой дождь бил в лицо словно плетью и безжалостно хлестал безлюдную дорогу и бурую траву, тянувшуюся по сторонам пустырей. Сквозь

влажную пелену я различил железную решетку и за ней большой безобразный дом, похожий на спичечную коробку, поставленную на ребро. По бокам искривленные деревья будто с угрозой поднимали к небу свои лишенные листьев сучья. Среди черных прутьев кустарника терялись узкие тропинки, превратившиеся в небольшие ручейки.

Прижавшись к воротам, я долго смотрел внутрь недоверчивым взглядом, потом обошел вокруг дома, выбрал место поудобнее, и перелез через забор. Тяжелая дверь над невысоким крыльцом была заперта, и массивные стены из серого камня, казавшиеся сплошной ледяной глыбой, такой мороз исходил от них при прикосновении, не представляли никаких отверстий. Высоко над землей виднелись два ряда окон, наглухо закрытых ставнями. Здание, представлялось мне, поворачивало к посетителю сумрачное, враждебное лицо с полуопущенными веками и сжатыми зубами, ощетинившееся подозрением и лукавой ненавистью.

Однако в конце концов я заметил небольшую наружную лесенку, карабкавшуюся почти под крышу. Ее вход был защищен железной калиткой, но я без труда перекинул тело через металлические перила и ступил на ветхие каменные ступеньки, которые издавали под ногами жалобные звуки, наводившие на опасение, что они с минуты на минуту рухнут под моим весом.

Взобравшись наверх, я толкнул низенькую деревянную дверцу, и у меня даже дыхание захватило, когда она неожиданно поддалась. Я очутился на хорах, окружавших продолговатую высокую залу, заполнявшую собой оба этажа здания. Впрочем, я убедился, что галерея невдалеке прерывалась: часть ее была разрушена. Склонившись над перилами, я жадно смотрел вниз, куда отсюда не было никакой возможности проникнуть — я имел странную глупость не захватить с собой веревки.

Там все тонуло во мраке. Мне чудилось, что я разобрал в одном конце нечто вроде алтаря, к которому вели широкие ступени. И вот в углу, неверный луч света,

пробившийся сквозь щели ставен, как будто вырывал из тьмы бархатную занавесь, вероятно прикрывавшую вход в другую комнату.

Я не видел почти ничего; я ничего не слышал в царящем окрест гробовом молчании; я даже не ощущал никакого запаха, кроме еле заметной затхлости стоящего пустым помещения. Но что-то похожее на запах веяло на меня со всех сторон, доносилось снизу, отражалось о стены и потолок. Я явственно чувствовал, что это — скверное место... Я слышал дыхание зла... И внутренний голос говорил мне, что с каждым моментом, пока я здесь остаюсь, в мои легкие и поры проникает тлетворный дух, ядовитые и непреодолимые, гибельные для смертного миазмы...

Уф, как было приятно вновь очутиться по ту сторону забора, на пустынной дороге в Париж! Во Франции, всем известно, кафе и бистро на каждом шагу. Как же бы его не было около столь важного стратегического пункта, как остановка автобуса? Оно так и называлось: «A l'arrêt de l'autobus».* В слабо освещенной большой комнате старик-крестьянин сидел над стаканом белого вина, молодой парень, по виду шофер, пил у стойки аперитив. Я заказал себе кофе и уронил, в надежде завязать беседу:

— Что за погода!

— Да, зимой тут невесело, сударь, — охотно отозвался хозяин, толстый краснолицый мужчина, — другое дело летом, когда все вокруг в зелени...

— Мне-то все равно, — поддержал я нить разговора, — я приезжал из Парижа навестить знакомых, на каких-нибудь два часа. А вот тем, кто остается здесь постоянно... Если, например, жить в том доме на пустыре, с километр направо от вас, воображаю, какая тоска в холодные месяцы!

— Да там никто и не живет, — по лицу кабатчика словно прошла тень, — так только землю зря занимают...

— Нехорошее это место, — вмешался в разговор старик, — весь околоток нам портит.

* «У остановки автобуса».

— Неужели дом стоит пустым? — удивился я. — В нынешнее-то время, когда квартиры так дороги! Кто же владелец?

— А это целая история, сударь. Вот пусть Эжен вам расскажет, — хозяин кивнул на крестьянина, — он здешний старожил.

Старик польщенно покачал головой.

— И то сказать, помню еще те годы, как им владел Лемаршан... Богатейший человек был, сударь! Какие пиры закатывал! И кто к нему только не приезжал из Парижа; говорят, бывали министры, иностранные принцы... И будто выделывали всякое совсем неподобное: такие оргии устраивали, что других бы за это засадили. Потому он и любил это место, что на пустыре, — а тогда тут куда глуше было; и никаких автобусов, конечно, не ходило. Ну, а как Лемаршан умер, он будто бы завещал дом какому-то философскому обществу... Что это за общество, одному Господу Богу известно. Стоит дом пустой, а иной раз, почти всегда к ночи, съезжаются шикарные господа из Парижа, и тогда в нем до рассвета горит яркий свет, слышен шум... а потом все исчезают, и опять на месяцы ни души.

— Умеют поразвлечься эти типы, а? — ввернул шофер. — Наверное, привозят с собой девочек первого сорта, каких мы и не видим?

Старик снова покачал головой, на этот раз неодобрительно.

— Нет, насчет девочек ничего не видал. Кажется, еще хуже. У таких людей вкус не тот, что у нашего брата. Им подавай что-нибудь особенное.

— Ах, прохвосты! — воскликнул шофер то ли с изумлением, то ли с восхищением.

Но в этот момент под окнами трактира показался ярко освещенный автобус; я поспешно заплатил и вышел.

***

— Две координаты скрестились, — сказал мне Ле Генн, — мы знаем место и знаем время. Остается

действовать! — его лицо со сжатыми челюстями выражало непреклонную решимость.

Мы оставили автомобиль в небольшом гараже и сделали километра два пешком.

— Я не знаю, отдаешь ли ты себе отчет в серьезности борьбы, в которую ввязываешься? — говорил в дороге профессор Керестели Ле Генну, — серьезности в двух отношениях. С одной стороны, — ты можешь наткнуться на оппозицию столь важных лиц, на такие закулисные влияния, что вся твоя карьера и даже твой теперешний служебный пост могут оказаться в опасности...

— Будь покоен, старина, все эти соображения никак не могут помешать мне выполнить мой долг и ковырнуть основательно палкой в этом грязном муравейнике, — мрачно бросил инспектор, надвигая шляпу на глаза, чтобы не сорвал резкий ветер.

— С другой, — непоколебимо продолжал венгр, — мы идем сейчас против оккультных сил на самой их вершине; нам предстоит через полчаса или час встретиться с людьми, по уму и знаниям составляющими штаб парижского сатанизма; и это — страшные люди, люди большой мощи и твердой воли ко злу.

— Этот дом? — спросил меня Ле Генн.

Я кивнул, и показал место, где, на мой взгляд, было удобнее перебраться через забор.

***

Густые волны своеобразного дурманящего и возбуждающего аромата стлались над залом, затуманивая свет многочисленных свеч, едва рассеивавших мглу обширного помещения... аромата столь странного, что я не мог сказать, приятен он или нет, ибо в нем перемешивалось сладкое благоухание с оттенками мешающего дышать зловония... К моему удивлению, теснившаяся внизу толпа состояла из одних мужчин... правда, в ней, наряду с почтенными стариками в великолепных костюмах, виднелись молодые люди, в красоте которых было для меня нечто омерзительное и навевающее гадливость.

Жуть охватила меня, когда я узнал в председателе профессора Коршунова, одного из столпов русской колонии в Париже, а в первых рядах публики заметил седую пушистую бороду и почтенное брюшко епископа Вассиана Культяева... Тихим, изумленным шепотом Ле Генн назвал мне и Керестели имена нескольких видных лиц, французов и иностранцев, из числа присутствовавших...

То, что делалось в зале, было отвратительной пародией на христианское богослужение; читались пугающие и запутанные гностические символы веры, произносились кощунственные моления Дьяволу и злым духам, и в кошмарном коротком слове, во время которого у самого их председателя дыхание перехватило от волнения, он напомнил верным о величии нынешнего дня, когда должно свершиться, наконец, их многолетнее упование.

Чувствовалось, что обряд близится к своей кульминационной точке; все большее возбуждение охватило зал. Жрец покинул возвышение и смешался с молящимися.

Вдруг все как один опустились на четвереньки и стали хрюкать, как свиньи... Это не смешно. Я видел, как Керестели поднял руку ко рту и впился в нее зубами, чтобы удержать рвущийся из горла крик ужаса; видел, как Ле Генн, бледный как смерть, забыв об осторожности, перевесился через перила, вцепившись в них руками.

Какое-то облако сгущалось над алтарем, серое, бесформенное... в центре его клубилось что-то черное, словно спутанные щупальца спрута... и из них постепенно образовывалась непередаваемая фигура, в контурах которой угадывались смутные, гротескно искаженные человеческие очертания...

Многим ли приходилось видеть молнию в нескольких шагах перед собой? Ее ослепительное пламя прорезало колеблющийся густой воздух, полный нечистых испарений, и резкий, свежий запах озона ударил по моим ноздрям... при звуке грома, ужасном, как рычание целого сонма львов, но величественном как грозная мелодия, я видел на миг сотню бледных лиц, оторвавшихся от пола... затем все свечи погасли от

дуновения ветра, и в полной тьме стало слышно, как все стремительнее катится с потолка лавина тяжелых камней... дикие, нечеловеческие крики и стоны слились в адский концерт... В моей памяти мелькнуло: «И будет тьма и скрежет зубовный»...

Один за другим мы вихрем слетели с лесенки, от которой под нашими ногами отделялись ступеньки, и, преследуемые диким воем, несшимся за нами по пятам, кинулись бежать изо всех сил... Но прежде чем мы успели достигнуть забора, Ле Генн вдруг споткнулся, поднял руку к груди и упал лицом в землю.

— Шарль! — вырвалось у Керестели. По звуку его голоса я понял впервые, какая глубокая дружба связывала этих двух людей. Прежде чем я успел пошевелиться, профессор держал уже голову Ле Генна у себя на коленях; он быстро расстегнул ему ворот — мелькнул на мгновение золотой крестик — положил руку на сердце. Прошла минута, и венгр с облегчением поднял голову.

— Ничего, он сейчас придет в себя. Боже мой! Что бы я сказал этой славной Аннаик, которая так трогательно угощает меня каждый раз всякими бретонскими лакомствами...

Мы были настолько поглощены заботой о друге, что стоявший кругом грохот сорвавшегося с цепей хаоса перестал доходить до нашего сознания. Лишь теперь мы повернули глаза туда, где стоял дом... и нам представилась бесформенная высокая груда щебня.

***

Я имел некоторое представление о том, что Франция, внешне кажущаяся страной совершенной анархии и ничем не ограниченной свободы, в действительности управляется железной рукой, и что администрация и полиция могут в ней сделать почти все, что угодно. Тем не менее, меня поразило, что такой скандал можно было задушить, и притом настолько полным образом. Ни слова в прессе... молчание во всех официальных кругах... быстрая, эффективная замена всех исчезнувших со

сцены персонажей... Появились только мелкие заметки о том, что в Монтрейле обрушился старый, много лет пустовавший дом... и несколько приличных, почтительных некрологов во французской и русской печати о внезапно скончавшихся деятелях в области политики, искусства и науки. Об обстоятельствах их кончины упоминалось весьма неясно и глухо...

Несколько дней меня удивляло, что жизнь продолжается, как ни в чем не бывало, после того, что я видел своими глазами... Затем меня поглотили прежние повседневные интересы, заботы, мелкие печали и радости. И то сказать — это была не первая странная история, с которой мне привелось столкнуться.

ВО МРАКЕ НОЧИ

Il y a dans la nuit juste avant le petit jour, une heure ou ceux qui ne dorment pas sont touchés par une main venant de quelque région qui pourrait être la demeure des anges du Seigneur ou des anges du Malin.

Jacques Gorbof. «Madamme Sophie»* *

Летние сумерки тихо опускаются на бульвар Мадлен, но жизнь здесь на замедляет своего темпа. Ярко освещенные кафе полны народу, публика теснится у входов в кинематографы, и сплошная людская волна катится по тротуару, тогда как в центре бульвара бесшумно и стремительно проносятся автомобили.

Займемся одной из парочек среди этой веселой толпы. Они идут рука об руку, углубленные в разговор, и хотя оба высокого роста, мужчина все же принужден склонять свою густую светлую шевелюру к иссиня черной прическе своей спутницы.

Ему и ей лет по тридцать; но мужчина, на деле, может быть, старший из двоих, кажется намного моложе своего возраста благодаря открытому простодушному выражению его лица; особенно в минуты, когда его смягчает почти детская улыбка.

Впрочем, сейчас он не улыбается. Ему не до того. Его черты выражают волнение и напряжение, и в тихом голосе слышна сдерживаемая страсть:

— Моя дорогая Вивиана, неужели так должно продолжаться? Вот уже три месяца прошло с нашей первой встречи, и я до сих пор не знаю, где вы живете, не знаю вашей фамилии, не знаю, есть ли у вас семья... Смешно! Мне известны ваши взгляды на литературу, живопись,

* Ночью, перед рассветом, бывает час, когда те, кто не спит, чувствуют прикосновение руки, протянутой из какой-то области, которая служит, быть может, приютом ангелов или демонов. Яков Горбов. «Мадам Софи».

даже философию, известно, какие музеи и театры вы предпочитаете, но самое главное, то, что мне важнее всего, покрыто тьмою... Почему, о почему, вы не хотите быть со мною откровенны? Что за тайна есть в вашей жизни?

Темные глаза вспыхивают из-под длинных черных ресниц, и по ярким чувственным губам пробегает загадочная усмешка.

— Хорошо, Бертран, я не буду вас больше мучить...

Жестом змеиной грации ручка в черной перчатке подает сигнал проезжающему такси.

***

Мужчина поставил пустую рюмку из-под ликера на круглый лакированный столик, рядом с недопитой чашкой кофе, от которого струится еще ароматный дымок, и его рука, словно движимая непреодолимой силой, уверенно обняла женщину, сидевшую рядом с ним на диване, в углу небольшого роскошного салона.

Но она оборвала поцелуй в самом начале и решительно вырвалась из его объятий.

— Нет, подождите немного... Сперва я хочу вам кое-что показать...

Он глубоко вздохнул, шутливо подчеркивая свое разочарование, откинулся глубже назад и небрежным движением взял из коробки на столе длинную тонкую папиросу, не без любопытства следя взглядом за Вивианой, скользнувшей к противоположной стене комнаты.

Гибкая фигура в темном шелковом платье на мгновение остановилась перед изящным секретером... щелкнув, открылся ящик...

Когда она обернулась, в ее руке сверкнула под электрической лампой вороненая сталь револьвера...

— Довольно играть комедию, инспектор Ле Генн. Неужели вы могли рассчитывать, подлый шпик, прельстить меня вашими приемами жандарма третьего класса? Вы годны, самое большее, чтобы соблазнять субреток где-нибудь у вас в Конкарно или Плоэрмеле! Нет, не снимайте левой руки с колен! Я хорошо заметила, в каком кармане лежит ваш револьвер.

Физиономия Ле Генна ничем не выдала волнения. Медленно и бесстрастно он выпустил дым, и, казалось, с интересом следил за его клубами, поднимавшимися к потолку. А женщина говорила, стремительно, горячо, словно боясь, что не успеет высказать все, что нужно.

— Как я ненавижу вас и всех вам подобных! С вашей узкой мелкобуржуазной моралью, с вашей тупостью деревенского кюрэ, с вашими замашками средневекового инквизитора. Это вы, вы довели до самоубийства Жюля Фернандо... ваше ли дело было копаться в личной жизни писателя, которого все его поколение чтило как учителя жизни, как великого мастера красоты и мудрости? Это из-за вас выслали из Франции Рихарда Бергера, ученого, которому вы не достойны расшнуровывать ботинки, открытия которого ваш куцый умишко не в силах даже схватить... человека, дальше проникшего в тайны потустороннего, чем кто-либо из живущих... А Полихрониадес?

Инспектор отвел ото рта папиросу, и пробормотал вялым тоном пресыщенного сноба:

— Моя дорогая... Вы могли заметить, что ваши женские чары на меня действуют слабо. И если я был принужден разыгрывать пылкого влюбленного — что делать! Такое собачье ремесло... Но, ради всего святого не читайте мне лекции об относительности общепринятой морали. Это уже чересчур усыпительно... Заметьте, что и Бодлера и Уайльда я читал, еще когда учился в лицее.

Вивиана вздрогнула, как от удара хлыста, и даже оружие поколебалось в ее поднятой руке.

— Это не лекция, Шарль Ле Генн! Это суд... И он не продлится долго. Сейчас вы заплатите за все мерзости...

Ле Генн сидел все время развалившись, в ленивой, отдыхающей позе. Трудно было уловить моментальное подготовительное движение его левого колена; в ту же секунду оно разогнулось и кинуло его тело вперед броском, похожим на фехтовальный выпад... Сухой, негромкий щелчок выстрела прозвучал у него над головой, и стекло разбитой картины прозвенело за спиною... Со свистом прорезав воздух, ребро его ладони достигло снизу подбо-

родка очаровательной Вивианы ударом, от которого у той ноги мгновенно подкосились, и она упала на пол, как куль белья, и застыла инертной грудой.

Распрямившись, бретонец тяжело перевел дух. Только ожог напомнил ему о папиросе, которую он продолжал сжимать в пальцах, и он швырнул ее прямо на восточный ковер.

Оторвав шнурок от толстой портьеры из красного бархата, Ле Генн связал бесчувственной женщине руки за спиной; потом, поколебавшись минуту, связал и ноги.

Только после этого он направился к телефону и слегка дрожащими пальцами набрал нужный номер.

— Позовите к аппарату инспектора Элимберри, прошу вас... Мишель? Приезжай немедленно ко мне — 3, Вилла Сент-Онорэ д'Эйло... Захвати из наших ребят, кто свободен... Да, не меньше, чем троих... И — не заставляй себя ждать...

***

Проще всего было бы остаться тут же, в салоне. На этом самом диване, откуда он мог держать в поле зрения тело женщины, лежащей на полу.

Но профессиональное любопытство, к которому примешивалось какое-то подсознательное томление, гнало сыщика произвести осмотр квартиры. И, в конце концов, не в силах удержаться, он распахнул дверь комнаты и отправился на исследование.

Несколько комнат не вызвали у него особого интереса. Лишь на некоторых картинах его глаза задержались подольше, да корешки книг привлекли его внимание и заставили его кивнуть головой, будто в подтверждение собственным мыслям.

Зато когда его шаги привели его к продолговатому помещению в конце коридорчика, где не было электрического света, и где он, пользуясь карманным фонариком, нашел и зажег свечи в больших канделябрах, он повел плечами, словно в ознобе, и нервно запустил пальцы в густые волосы.

Часовня? Молельня? Да, это, несомненно, алтарь... Ле Генн принудил себя отдернуть занавеску и увидел в нише в стене пугающее изваяние из черного камня... Свечи черного воска горели ровно, и их пламя устремилось вверх, как лезвия кинжалов, над золотом и чернью массивных подсвечников.

Ему хотелось уйти... Но нет... Он сел, подавляя кричавшую внутри его сердца брезгливость, на скамью у стены, и стал внимательно вглядываться в окружающую обстановку... Комната без окон, с единственной дверью, с черными полированными стенами... Что это за пятно на паркете около алтаря? И почему словно чей-то голос говорит ему издали, словно какая-то тайна старается проникнуть ему в душу?

Усилием воли инспектор сконцентрировал внимание и напряженно ждал; он чувствовал, что сейчас найдет ключ к загадке...

Тогда в его ушах откуда-то издалека прозвучал детский плач... плач маленького ребенка, вдруг захлебнувшийся и замолкший. Галлюцинация? Вот другой голос... лепет протестующего и жалующегося мальчика трех-четырех лет, в котором он мог разобрать отдельные слова... и страшное хрипение, так и ударившее по нервам слушателя. Что это? Звук тяжелых капель, падающих на пол...

— Святой Геноле! Матерь Божия Фольгоэтская! Святая Анна, покровительница Бретани! — липкий пот ручьями заливал лоб сыщика, он чувствовал, что его волосы склеились, и сердце в груди у него сжималось в нестерпимых спазмах.

Громкий, повелительный стук в двери долетел со стороны коридора...

— Что это ты, Шарль? На тебе лица нет! — спросил инспектор Элимберри, за плечами которого на площадке лестницы виднелись дюжие фигуры двух полицейских. В его тоне звучала дружеская ирония, сменившаяся заботливым беспокойством, когда он вгляделся в белую как полотно физиономию своего коллеги.

Пошатываясь, Ле Генн ввел всех троих в салон, и подойдя к столику, налил себе полную чашку ликеру, которую проглотил залпом.

Обернувшись, он встретился глазами с глядевшими на него с полу огненными ненавидящими глазами женщины.

Он понял ритуальное проклятие, которое она шептала.

Что сказать в ответ?

— Мадам... — начал инспектор и остановился. Он вдруг вспомнил, что у него в кармане лежит платок, и жадно прижал тонкий кусок батиста к глазам, корням волос... платок сделался совершенно мокрым...

— Мадам, во Франции редко гильотинируют женщин. Но я лично приложу к этому все усилия...и я от души надеюсь, что для вас будет сделано исключение.

ОДЕРЖИМЫЙ

О, не знай сих страшных снов,
Ты, моя Светлана!

В.А.Жуковский

— Марина, ради Бога, не наклоняйтесь так через перила! Прошу вас...

Тонкая фигура девушки, казалось, парила в воздухе, пронизанная теплыми золотыми лучами жадно целующего ее солнца. Только черная черточка перил отделяла ее от бесконечного простора, за которым вдали открывался горизонт крыш Парижа, труб, просветов дворов, полосок улиц, видных с высоты шестого этажа. Каждый раз, как она перегибалась вперед, чтобы взглянуть на проходящую под ногами узкую улицу, где ползали машины и пешеходы, сердце так и падало у меня в груди. Ничего на свете мне так не хотелось, как подойти и взять ее за руку, — лишь тогда я почувствовал бы себя спокойнее. Но, кусая губы, я остановился у стола в глубине большой, почти роскошной комнаты.

Мне было страшно, что Марина, с той детской грацией, которая кружила мне голову, начнет отбиваться, перевесится еще больше вперед и... Нет, мне про это нестерпимо было и думать...

И кроме того, всегда, когда мне случалось, как сейчас, оставаться с ней наедине, мной овладевала непонятная и непреодолимая робость. Боязнь ее обидеть, боязнь, что она припишет мне дурную мысль, странное преклонение перед нею, как перед идеалом, к которому я недостоин даже приблизиться, делали меня в такие минуты совершенным трусом. И между тем, в

какое бездонное блаженство бросало меня случайное прикосновение ее плеча к моему или беглая теплота ее ладони в моей! Эти невозвратимые мгновения подле нее — мой потерянный рай — было лучшее, что судьба мне подарила за всю мою жизнь...

Я мог стократно повторять себе, что мое волнение бессмысленно; я здесь считанные часы, а без меня сколько времени она проводит на балконе? Уже и так я столько раз принимался говорить ее папе и маме, чтобы они лучше берегли дочь, что они теперь, если я вновь пытался навести разговор на ту же тему, смотрели на меня, как на маньяка, и круто меняли сюжет беседы. Марина, конечно, и им была дорога; но чувствовать с такой остротой и болью может лишь тот, кто любит больше жизни, для кого все на свете сливается в одном существе, бесконечно, беспредельно драгоценном и милом...

Девушка еще больше переваливалась за перила, от чего у меня сердце сжалось и комком скатилось куда-то в пропасть, и ее белая ручка порхнула, как голубок, посылая привет кому-то внизу.

— А знаете, кто к нам идет? — бросила она мне через плечо лукавую улыбку. — Лад!

При виде того, как мое лицо сразу потемнело, словно покрывшись грозовой тучей, ей, наверное, стало меня жалко. Порхнув с балкона через подоконник на пол, в комнату, она пропела:

— C'est très mal d'être jaloux!*

И ее тонкие пальчики легли на мой локоть. В другое время я почувствовал бы себя безмерно счастливым, но сейчас... мое настроение было безнадежно испорчено.

Я думал, что промолчу, но неожиданно для меня слова, которых я не собирался произносить, сами поднялись мне на уста:

— Мариночка, мой цветочек! Каждый миг я готов отдать за вас жизнь и спасение души... Моя любовь к вам всегда была любовью без надежды, и я ничего не мог бы сказать против человека, который любил бы вас

* Это очень нехорошо, быть ревнивым!

так, как я? Но Лад... Разве он способен любить кого-либо, кроме самого себя, кроме своих удовольствий? Он весь полон мрака, к которому вам нехорошо даже прикасаться. Если бы...

Звонок у дверей прервал меня на полуфразе.

***

Что нужно в Париже для того, чтобы называться поэтом? Писать стихи, по мере возможности, хорошие — наивно скажет иной читатель. Отнюдь нет! Куда важнее отпустить достаточной длины лохмы и, непременно, бороду, и пьянствовать в тех же кабаках, где пьют общепризнанные мэтры эмигрантского Парнаса, — при известной ловкости, можно даже пить за их счет.

Пикантной деталью мне представлялось всегда то, что основная масса этой богемы, предающейся юному безудержному разгулу, состоит из людей, давно переваливших самое меньшее за пятьдесят. Поэт Лад был, впрочем, моим ровесником; но во всем остальном прекрасно подходил к среде «Ротонды» и других литературных кафе, самые названия которых мне неизвестны.

Впрочем, если было что замечательное в Арсении Ладе — в миру его звали, собственно, Афанасий Алексеевич Ладошкин, но он избрал себе более звучный литературный псевдоним, которым мы и будем пользоваться — то отнюдь не его бледные декадентские стихи, появлявшиеся время от времени в солидаристском журнале, а его действительно феноменальное женолюбие.

— У меня сейчас пять любовниц, — поведал он мне однажды, — и мне ужасно сложно успевать их всех видеть, не говоря уже об иных затруднениях.

— Зачем же вам это нужно? — спросил я, пожав плечами.

Лад задумчиво поднял глаза к потолку.

— А я и сам не знаю! — сказал он искренне.

Предвижу, что многие из читателей увидят во всем этом только забавное, а то и завидное молодечество.

Но проказы Лада носили, в моих глазах, явно предосудительный характер. Не несли ли они повсюду по его следам боль и страдания? Там разошлись из-за него муж с женой; тут брошенная им девушка покончила с собой; дальше мать и дочь поссорились по его милости и наговорили друг другу жестоких слов, которых они уже не смогут забыть за всю остальную жизнь...

Нет, уж Бог с ними, с удовольствиями, которые покупаются такой ценой!

И мало этого: словно сама судьба грозно шла по пятам любовей поэта Лада. По меньшей мере, трое из его бывших любовниц были найдены зверски убитыми при загадочных обстоятельствах... Замечали ли вы, что дон Жуаны, популярные среди женщин, почти всегда пользуются в мужском кругу общим презрением? Дело тут, вероятно, не только в том, что средний, нормальный мужчина, у которого обычно есть жена, дочь или сестра, испытывает при виде неотразимого ловеласа чувство, какое он мог бы испытать, увидев буйно помешанного, вооруженного топором и выпущенного на людную улицу...

Есть еще и другое. Обыкновенный человек, интерес которого в жизни состоит в том, чтобы своей работой обеспечить свою семью, затем в самой этой его работе и, наконец, в каких-то дорогих для него политических или религиозных идеях, не может подавить в себе гадливости перед двуногим самцом, живущим только для наслаждения и смотрящим на всех проходящих мимо него женщин глазами охотника, глядящего на добычу... «Да он только об этом и думает? — говорит себе заурядный мужчина, когда ему попадается этакий блистательный homme à femmes. — До чего же он все-таки пуст!»

Такова, должен признаться, была и моя гамма чувств перед лицом великолепного образца богемы, каким являлся Лад. Но, может быть, лучше всего будет рассказать по порядку, как я с ним встретился, Случилось это в сырой и холодный зимний вечер, в гостях у одного нового эмигранта, который был не в пример прочим русским, человеком эгоистичным и прижимистым.

Молодой человек моих лет, с которым я только познакомился и который рассказал о себе, что он тоже новый эмигрант, и даже мой земляк, ленинградец, а по профессии писатель, задумчиво сказал, когда мы готовились уже распрощаться и разойтись, что ему, собственно говоря, негде ночевать.

— Да пойдемте ко мне, — предложил я, — а завтра посмотрим, как найти выход из положения.

Ладошкин прожил у меня не одну ночь, а с полгода. И если я был принужден после этого срока его деликатно выгнать, то, в конце концов, что же мне и оставалось делать, когда он, к возмущению всего моего отеля, завел моду приводить к себе на ночь своих любовниц или пьяных собутыльников его артистических оргий?

Мы сохранили, однако, и после этого приятельские отношения и нередко встречались, хотя разница во всех наших взглядах и привычках была огромна. Даже в нашем отношении к спиртным напиткам. Я почти не пью вообще; но — таков уж склад моего организма — в случаях, когда отказываться мне кажется неудобным или мне приходит такая фантазия, могу выпить невероятно много, совершенно не хмелея и сохраняя абсолютную ясность сознания. Лад, наоборот, пил много и имел свойство пьянеть от одной рюмки водки или с одного стакана вина, от чего его язык сразу развязывался. В такие моменты он бывал иногда интересным собеседником.

Как-то раз мы сидели вечером у меня в комнате за бутылкой вина, которую я поставил, чтобы его удержать, так как мне скучно было остаться одному. Не помню уж как, но разговор зашел о любви, и Лад предложил мне определить это слово.

— Это такое чувство, — сказал я медленно, ища выраже-ний, — когда хочется все отдать, ничего не требуя взамен. Это такая бесконечная нежность, когда женщину, как ребенка, хочется держать на руках у сердца, чтобы ее никакая печаль и забота не коснулась, — пусть уж они лучше падают на тебя! Нет, можно передать короче: чувство, когда за человека хочется умереть и когда, умирая за него, умрешь счастливым.

Лад опрокинул в глотку третий стакан и рассмеялся тупым пьяным смехом.

— Ничего подобного, — произнес он слегка заплетающимся языком, — и рядом не лежало! Любовь — это когда хочется женщиной обладать, и чем больше можно ее при этом унизить, тем слаще. Избить, например, тоже очень приятно. Но последнее время меня все это не удовлетворяет: мне хочется убить... это, мне начинает казаться, единственно достойным завершенем для страсти...

Меня передернула дрожь отвращения. Но мне пришло в голову смягчающее вину обстоятельство: то, с какими женщинами он, верно, имеет дело?

— Я могу понять, — сказал я, стараясь подобрать слова помягче, — что, если вы говорите о какой-нибудь проститутке с бульвара, к которой идете со внутренней брезгливостью, уступая своим вожделениям, — хотя я решительно не в силах понять, как можно вообще делать подобные гадости! Но ведь не можете же вы думать такие вещи о порядочных девушках из нашей среды?

В тусклом свете висящей под потолком лампочки Лад поднял ко мне свою рыжую бороду и помутневшие глаза.

— Именно в таких случаях я и испытываю это искушение, и в десять раз сильнее, чем во всех других. Рано или поздно я и того... попробую.

— Знаете что, — сказал я Ладу на прощание, — вам бы не мешало пойти, это уж как вы предпочитаете, на выбор, к доктору-психиатру или к священнику. С такими мыслями, как у вас, вы доиграетесь до плохого...

***

Не я познакомил Лада с Назаровыми. Этого груза у меня на совести не было. И то сказать, я бы никогда не позволил себе ввести субъекта этого жанра в дом, где есть молодая девушка... да и вообще — к приличным людям.

Но, познакомившись с ними где-то на балу, он быстро оценил положение. Евдокия Аркадьевна была женщина еще не старая, жизнерадостная и веселая, и ей льстило

иметь поклонника из литературного мира, вес которого в этом кругу она сильно переоценивала.

Как она могла не замечать, что, говоря ей комплименты, Лад бросал на Марину похотливые взгляды, от которых у меня, когда я присутствовал, кровь кидалась в лицо и кулаки сами собой сжимались? Почему ее муж, человек по натуре резкий и ревнивый, не замечал отношений Лада с его дочерью и женою? Он умел усыпить все подозрения, и не мне было раскрывать им глаза.

Я знал, что Ладошкина сильно подстегивало желание сделать неприятное именно мне. Уже давно с его стороны было заметно какое-то вполне бессмысленное соревнование. Некоторая известность в литературном мире, признание в политических кругах, знакомство с людьми, которые не допустили его и в переднюю — все то, к чему я был равнодушен, но что было результатом моей примерно пятилетней службы монархическому делу, раздражало его мелкое и больное честолюбие. Разве я был виноват, что эмиграция в массе правая, а не левая и что антибольшевик и монархист ей ближе, чем вчерашний комсомолец, прививший к своим невытравленным марксистским воззрениям смутные обрывки эсеровского социализма? Но ему ужасно хотелось сорвать реванш хотя бы в светском мире и показать мне свое превосходство.

Ах, все это было бы мне смешно, если бы я не боялся так за Марину.

Однажды вечером, когда мы вышли от Назаровых вдвоем, я и Лад, я внезапно остановил его на перекрестке, где мы должны были повернуть в разные стороны.

— Если вы только сделаете зло этой девушке, — сказал я ему тихо и быстро, — вы не уйдете от меня даже на краю земли, не спрячетесь даже под землей...

Не стоило этого говорить. Хотя Лад был в душе трусом, это я знал по прежнему опыту, самолюбие побудило его быть наглым. Он ответил мне матерной бранью и, круто повернувшись, исчез за углом улицы.

***

Несколько ночей подряд мне снился один и тот же страшный сон... Я просыпался покрытый холодным потом, с мучительно бьющимся и замирающим сердцем, и, медленно приходя в себя, не мог вспомнить, что мне снилось... Но постепенно я его заучил наизусть. Да и был этот сон коротким и бесформен, и слова не в силах передать его давящий ужас. Легкий силуэт Марины на балконе, высоко над Парижем, и злые, горящие нечистым желанием глаза Лада у нее за спиной. Вот и все. И на этом я пробуждался, разбитый, словно я двенадцать часов таскал кирпичи.

Жизнь шла своим темпом. Я писал, переводил, вел переговоры, присутствовал на собраниях и скрывал агонию, шедшую внутри меня. И однажды утром, развернув французскую газету, прочел в ней: «Une jeune fille tombe du balcon du 6-eme étage devant les yeux d'un éminent poète russ. Monsieur A.Lad nous raconte ces impressions...»*

Кажется, я закружился волчком от нестерпимой боли. Или комната пошла кругом перед моими глазами? Через мгновение туманная пленка заволокла мое сознание: в первый раз в жизни я свалился в обморок...

Благословенна будь природа, не дающая человеку перейти предел посильного ему страдания и посылающая нам смерть или бесчувствие перед лицом скорби, какую нам не по плечу снести!

***

Когда я пришел в себя, я первым делом почувствовал, как тупо ноют лоб и левый висок, ушибленные при падении. Я лежал на каменном полу в середине комнаты. Сознание вернулось ко мне, вместе с воспоминанием обо всем происшедшем; но оно словно было отделено от меня целыми неделями и месяцами. Я мог теперь думать и действовать...

Солоноватая струйка стекла мне в рот с разбитых губ...

---

* «Русская девушка падает с балкона 6-го этажа на глазах выдающегося русского поэта. Господин А.Лад рассказывает нам о своих впечатлениях...»

Кровь... моя кровь... А мне нужна его кровь, нужна во что бы то ни стало...

***

Политическая работа имеет свои плюсы. Моя, может быть, не принесла всех тех результатов, которых я желал. Но, благодаря ей, у меня были друзья, на которых я мог положиться, которые готовы были мне помочь, не спрашивая объяснений и не заставляя себя долго просить.

К числу таких принадлежали новый эмигрант Акоп Погосьян, бывший боец армянского легиона, и старый эмигрант, шофер Димитрий Алексеевич.

Человек, который пьет, сам лишает себя помощи лучшего советника и хранителя: собственного рассудка. Такой человек — легкая добыча для врагов.

Через два дня, поздно вечером, Погосьян выводил из одного из монпарнасских бистро и бережно усаживал в такси вдрызг пьяного, что-то бессвязно бормочущего Лада, которого до того целый час поил у стойки аперитивами и ликерами.

Машина тронулась...

***

Примерно за год до описываемых происшествий, мне случилось сделать одно открытие, показавшееся мне не лишенным интереса. Гуляя в лесу в окрестностях Парижа, я наткнулся на развалины большого дома. Скорее всего, сюда попала одна из случайных бомб, сброшенных во время последней войны с какого-нибудь заблудившегося аэроплана. Не знаю был ли это особняк частного лица или казенное заведение, но только владельцы его явно окончательно забросили, и даже дорожка к нему от недалекого шоссе густо заросла травой.

Единственное, что сохранилось, был обширный погреб, где очевидно, хранились дрова и какой-то строительный материал; сухие как спичка поленья,

доски и куски фанеры и посейчас были свалены в кучу в одном из его углов, в самой глубине.

Было около полуночи, когда направляемое опытной рукой Димитрия Алексеевича такси остановилось недалеко от темных руин, бросавших в изменчивом свете луны причудливые тени на окружавшую их поляну. Под яркими лучами фар, похожих на глаза сказочного чудовища, мы втроем вытянули из автомобиля полубесчувственное тело, которое минуту спустя исчезло в темной дыре полуразвалившейся лестницы, ведущей вниз.

Скоро мотор вновь зашумел, и корпус машины мелькнул во мраке, словно летящая низко над землей птица, и исчез среди тихо шепчущих деревьев, казалось, рассказывающих друг другу страшную сказку.

Я остался в погребе один, у большого, грубо сколоченного стола, на котором валялась дорожная сумка. В десяти шагах к столбу был привязан что-то пьяно мычавший Лад.

Помню, как мною вновь с внезапной силой овладел приступ безумного отчаяния и сознание непоправимой утраты, бросившее меня лицом вниз на грубые доски стола. Но минуту спустя я вновь был во власти той же жажды мести, которой жил последние дни, и которая оттесняла далеко назад все моральные соображения и чувства, какие мне были свойственны в обычном состоянии.

Передо мною на столе горела керосиновая лампа и лежали припасенные на всякий случай несколько свеч. Из сумки я вытащил нож и еще кое-какие инструменты — лучше не входить в подробности. Простая смерть была бы слишком легкой расплатой; мне были нужны муки... какая телесная боль могла сравниться, впрочем, с той, что жгла мне душу?

При первом же прикосновении стали, глаза Лада широко раскрылись, и его взгляд бросил вдруг странное пламя... Голос, который поразил мой слух, не был голосом Афанасия Ладошкина; это был странный и страшный, низкий, вибрирующий голос, полный металлических нот, в котором звучали диссонансы, сливающиеся в своеоб-

разную гармонию... Нет, это было бесполезно пробовать его описать. Это был голос дьявола.

Он говорил мне о том, что я не должен его касаться; он не может освободиться из тела, куда вошел, а физическая боль для него — непереносимое унижение, надолго лишающее его всякой силы. Он говорил, что взамен за то, чтобы я от него отступился, готов дать мне все, что я пожелаю: богатство, могущество, женщин любой красоты... он говорил даже, что создаст для меня или найдет девушку, во всем похожую на Марину... даже, что он вызовет для меня ее душу и даст мне власть над нею; но тут я ему не верю; недаром он отец лжи... О, ужас этого нечеловеческого, леденящего и чарующего голоса, льющегося из бессильного тела одержимого! Это дрожащее пламя лампы и бледные блики луны, словно глядящей в трепете на то, что делается в подземном подвале заброшенного здания в чаще леса...

На мгновение будто колебание коснулось моего сердца. И именно это сразу ожесточило мою волю и заставило меня принять бесповоротное решение.

Я знал несколько фраз и простых движений, имеющих неотвратимую стихийную силу. Все посвященные в грозные тайны оккультизма поймут меня с полуслова, а тех, кто не переступал порог этой страны мрака, я не стану соблазнять и намеком...

Бормоча древние слова, сковывающие духов зла, я быстро перенес к столбу, к ногам извивающейся человеческой формы, связанной крепким канатом, несколько вязанок хвороста, потом стал бросать туда же доски, поленья, пока они не выросли в высокую груду...

И тогда, с проклятием, сжав зубы, я выплеснул исчадью ада в лицо, прямо в лицо, прямо в глаза, жутко мерцающие на позеленевшем лице, все содержимое горящей лампы...

***

В Париж я вернулся пешком. Мне было все равно, я не боялся идти через темные недра леса, где ночью разнуздываются силы, издавна обитавшие в рощах

друидов... Единственное, чего я боялся, это видеть человеческие лица...

Мое собственное, когда я взглянул на него на утро, показалось мне неузнаваемым в рамке полуседых волос... С этого дня мне все дают на десять лет больше моего настоящего возраста... но не все ли равно? Я бы хотел, чтобы это было верно. Страшно подумать, что я могу прожить еще 15-20 лет и даже больше... И еще, если бы я верил, что смерть приносит забвение! Но для меня смерть это суд... А был ли я вправе сделать то, что сделал?

Обугленный труп в подвале разрушенного дома был найден лишь несколько месяцев позже, и о нем писали все газеты; но никто не смог установить личность загадочного мертвеца...

СОДЕРЖАНИЕ

НИКОЛАЙ ПАЛЬЦЕВ. ЦВЕТА ТУМАНА, или НЕСКОЛЬКО СТРОК О «СТРАШНОМ ПАРИЖЕ» И ЕГО АВТОРЕ 3

КОЛДУНЬЯ 9

РУКИ ИЗ ПУСТОТЫ 30

ЛЮБОВЬ МЕРТВЕЦА 36

ХРАНИТЕЛЬ 47

ВАМПИР 51

ДАЧА В ЛЕСУ 65

МЕЛКАЯ НЕЧИСТЬ 70

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ 83

ЗА ГОРОДОМ 88

ДЬЯВОЛ В МЕТРО 112

В БОРЬБЕ С ТРУПОМ 115

ДОПРОС 131

ЛИХО ОДНОГЛАЗОЕ 135

ВОЛШЕБНЫЙ АБАЖУР 149

КАБАЧОК НА УГЛУ 166

ЛИЦО КОШМАРА 172

ШАГИ НА ЛЕСТНИЦЕ 191

БРЕТОНСКОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ 195

КАЗАК ПУГАЧЕВА 202

В БЕЛЕСОМ ТУМАНЕ 208

ЛИЦО НА СТЕНЕ 214

НАВАЖДЕНИЕ 224

ЕГИПЕТСКИЕ ЧАРЫ 244

ТАМПЛИЕРЫ 255

ВО МРАКЕ НОЧИ 280

ОДЕРЖИМЫЙ 286

Владимир РУДИНСКИЙ

СТРАШНЫЙ ПАРИЖ

Редактор Н.Порошина

Художник Е.Кондратенко

Художественный редактор Т.Погудина

Оператор верстки А.Халаджан

Оригинал-макет подготовлен в фирме «Геката»

Подписано в печать 07.06.95 г.
Формат 84×108[1]/32. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 15,96. Тираж 25 000 экз.
Заказ 57217.

Типография АО «Молодая гвардия». Адрес АО: 103030, Москва, Сущевская, 21.

Книги, выходящие в 1995 г.

ЗОР АЛЕФ. БОГ И САТАНА: МЕТОДЫ ВЫСШЕЙ МАГИИ.

12 п.л., переплет 7б (целлофан). 84x108/32.
О методах высшей магии рассказывает Анатолий Руденко-Зор, эксперт оккультных наук, и иерофант высшей магии, самый молодой посвященный на Земле.

В.ЛИНЬКОВА. АЛИНА В ЦАРСТВЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОМ: ПОСОБИЕ ПО РАЗВИТИЮ ВРОЖДЕННОЙ ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ.

15 п.лл., переплет 7б (целлофан), 84x108/32. ИЛЛЮСТРАЦИИ.
Книга является новейшим пособием для детей по развитию у них грамонтности. Зарегистрирована в качестве научно-методического открытия в Министерстве образования г. Москвы.

О СМЕРТИ И БЕССМЕРТИИ: АНТОЛОГИЯ МИРОВОЙ ФИЛОСОФИИ ПО ПРОБЛЕМАМ СМЕРТИ И БЕССМЕРТИЯ.

30 п.л. переплет 7б (целлофан), 70x100/16. ИЛЛЮСТРАЦИИ. Уникальное собрание произведений философов с древнейших времен до сегодняшнего дня - от древнеиндийских «Упанишад» до сочинений Моуди по проблемам смерти и бессмертия.

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ФЕРМЕРА (ХОЗЯИНА И ХОЗЯЙКИ).

25 п.л., переплет 7б (целлофан). 84x108/32. ИЛЛЮСТРАЦИИ. Энциклопедия домашнего хозяйства, в которой собраны сведения о ведении дома, по огородничеству и садоводству, животноводству, хранению продуктов, уходу за одеждой, разведению животных и др.

Е.ТАРАСОВ, Н.КОВАЛЕВА. ПРИКАЖИТЕ СЕБЕ ВЫЖИТЬ.

10 п.л., переплет 7б (целлофан). 84x108/32.
Книга Е. Тарасова и Н.Ковалевой - надежный помощник в тяжелых жизненных обстоятельствах. В ней врачи, авторы известного радиосериала, подсказывают пути преодоления стрессов, а также учат искусству выживания в критических ситуациях на работе, в быту, в семье.

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА ЗДОРОВЬЯ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ.

30 п.л., переплет 7б (целлофан). 70x100/16. ИЛЛЮСТРАЦИИ.
В книге собраны сведения о правилах питания, лечебных травах, физической культуре, вредных привычках, возможностях психологической разгрузки, о поведении на улице, методах самолечения и др.

АЛЕКС СТЮАРТ. НЕЦЕЛОВАННАЯ НЕВЕСТА: СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН.

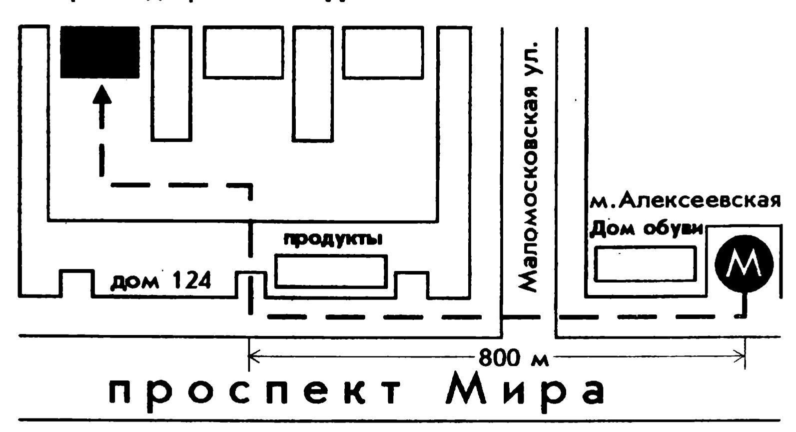
15 п.л., мягкая обложка, 70x100/32.
Прекрасный сентиментальный роман о взаимоотношениях двух молодых людей, неожиданно для самих себя ставших мужем и женой.

Приглашаем к партнерскому участию в совместных изданиях, а также в реализации книжной продукции.

Располагаем качественной полиграфической базой, складом.

На складе издательства «Звонница—МГ» вы можете приобрести оптом и в розницу около 200 наименований книг.

Адрес склада:
Москва, проспект Мира, дом 124, корпус 14.
Телефон: 282-97-54



В.РУДИНСКИЙ

СТРАШНЫЙ ПАРИЖ





ЛЮБОВЬ МЕРТВЕЦА • ЕГИПЕТСКИЕ ЧАРЫ
ЛИЦО КОШМАРА • МЕЛКАЯ НЕЧИСТЬ
ЛИХО ОДНОГЛАЗОЕ • В БОРЬБЕ С ТРУПОМ
ДЬЯВОЛ В МЕТРО • ЛИЦО НА СТЕНЕ
КАЗАК ПУГАЧЕВА • НАВАЖДЕНИЕ
ОДЕРЖИМЫЙ • ВАМПИР

